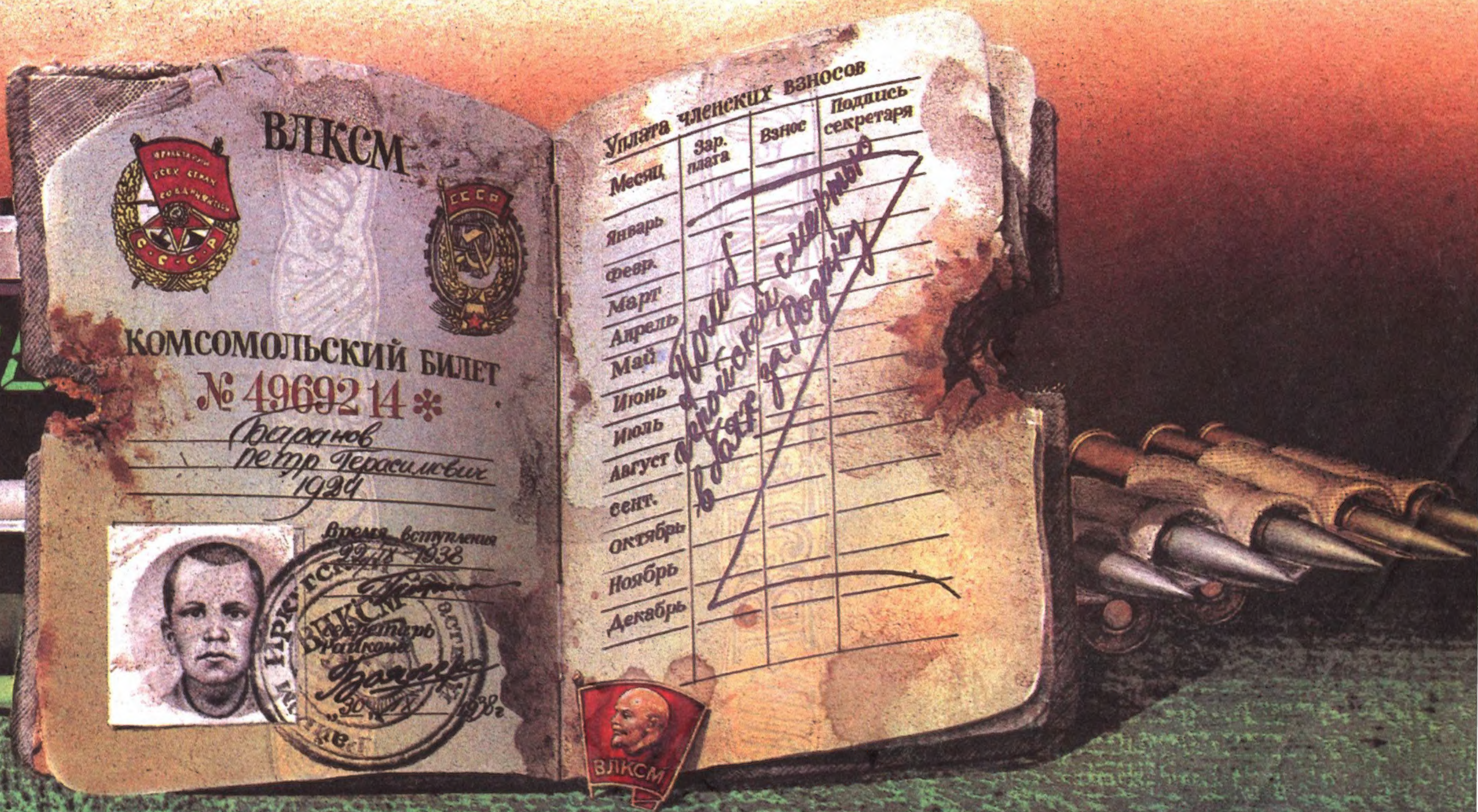


ЮНОСТЬ

10 '88



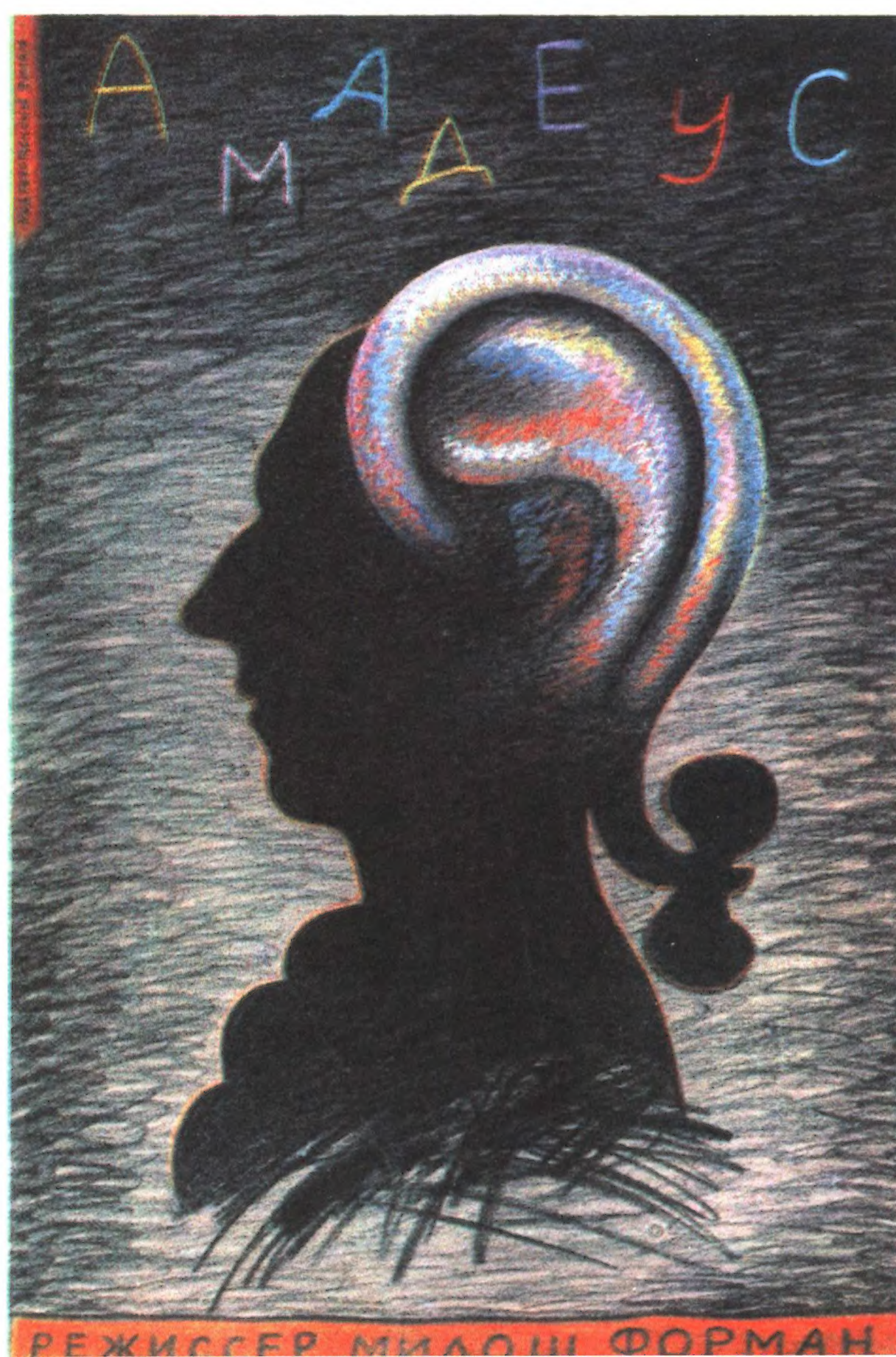
ИМЕЙ СВОЁ „Я“



Т. НЕМКОВА

О плакатах
творческой
лаборатории
художников
«Плацкарт»
читайте
в рубрике
«К нашей вкладке»

И. МАЙСТРОВСКИЙ



ЮНОСТЬ

10⁽⁴⁰¹⁾ '88



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва



Кадр из фильма «Молодая гвардия».
В роли Любови Шевцовой —
Инна Макарова. 1948 г.

**Инна
МАКАРОВА**

БЛАГОДАРЕНИЕ

Отрывки из дневника

17 февраля 1946 года.

Сегодня было мастерство. Как интересно!!! Собственно, ничего еще не показывали, но Сергей Аполлинариевич говорил! И о чем? А ну, догадайтесь-ка? За каникулы во всех инстанциях утвердили экранизацию фадеевской «Молодой гвардии» и... постановку отдали нам. На днях приезжает сам Фадеев, и Сергей Аполлинариевич познакомит нас с ним. Подготовительная работа начнется уже нынче, а летом наши «режиссеры» поедут искать место для съемок. Все это будет происходить параллельно с академическими работами. Главное то, что фильм выйдет на экраны одновременно с утверждением новой школы. Это все очень интересно, ново, грандиозно. И в связи с этим на конец этого месяца или начало марта намечен показ курсового спектакля на сцене Театра киноактера для демонстрации «наших возможностей». Будут нас судить. Страшно!!!

23 февраля 1946 года.

...Молодец все-таки наш Сергей Аполлинариевич! Как он все успевает!!! Очень хочу познакомиться с Фадеевым. Сергей Аполлинариевич рассказывает о нем кучу интересных вещей. Хоть бы он был у нас на показе... Должен же он знать, кому вручает свою «Молодую гвардию». Так много надо читать, что прямо не знаю, когда что делать! Хочу перед показом перечитать «Идиота».

20 апреля 1946 года.

В ночь с семнадцатого на восемнадцатое был прогон. Я играла просто очень хорошо. И вот показ. Народу — ужас. И никого посторонних. По спискам пускали — только министерство и художественный совет. Тамара Федоровна принесла мне полный гарнитур: серьги, кольцо и браслет. Первой шла «Бовари» — средне, успеха меньше, чем в первый раз. Средне прошли даже «Бесы». Следующий — «Идиот». Нарядили меня, натянули драгоценности. Прическа была очень хорошая. И, странная вещь, играла как никогда хорошо!!! Короче говоря, Сергей Аполлинариевич преподнес мне бутылку шампанского!

19 мая 1946 года.

Недавно приехала из института, репетировали «Кармен». Дома бываю только с двенадцати часов ночи до восьми часов утра. Остальное время в институте.

Да, в картине я, наверное, буду играть Валю Борц. Сергей Аполлинариевич говорит, что я похожа на нее. Интересно, как сценарий будет написан? Но это все на будущий год. Самое интересное, что Валя Борц жива и сейчас живет в Москве.

Когда я впервые прочла «Молодую гвардию», мне захотелось играть все роли: от бабушки Веры до Радики Юркина. Что потрясло меня? Все. То, что написан роман с такой чистотой, искренностью. Какая чудесная, верная Клава, Валя Борц, Уля. Нет. Уля не для меня. Она внешне совсем другая, а вот Любка...

Да, ведь Любке надо танцевать, а я так люблю танцевать, я ведь умею... Хотя бы на сцене сыграть.

А монолог в тюрьме? Любка такая разная... Нет, только Любка!

А уже наметили другую исполнительницу. Что же делать?

30 июня 1946 года.

Вчера был экзамен!!! Мучились не зря: последние три дня почти не спали, ночами в институте репетировали. Было два отделения. В первом «Три бойца», «Казаки» и «Гроза». Во втором отделении «Кармен» и «Молодая гвардия».

На экзамене, кроме кинематографистов, были еще Фадеев, Катаев и другие известные люди. Так вот, в финале «Гвардии» я запеваю песню «Дивлюсь я на небо...», и мне отвечает вся тюрьма: и мужская камера, и женская. Фадеев плакал!

В зале плакали. Как свежи еще были в памяти людей годы войны!

Мы долго не уходили. Ждали оценок, да и вообще расхотелось не хотелось. Непрерывные репетиции перед показом, почти круглосуточная занятость, и вдруг — пустота.

Еще шло заседание комиссии, когда ко мне подошел шофер Сергея Аполлинариевича. Подошел и тихо произнес: «Любку ты будешь играть. Фадеев сказал!»

Так и не решившись спросить у мастеров, правда это или случайно брошенное слово, получив свое «отлично», я поехала на каникулы в Новосибирск.

Поехала — это легко сказать, для того, чтобы поехать, надо иметь билет. Билета у меня не было. Я решила действовать так, как, по моему мнению, действовала бы Люба, если бы у нее было срочное задание выехать из пункта «А» до пункта «Б», не имея ничего, кроме одного желания. Чемоданчик я взяла небольшой, надела платье, которое делало меня еще тоньше, и отправилась к пункту «А», т. е. на Ярославский вокзал. Пошла прямо к мягкому вагону скорого поезда, который должен был отправляться через несколько минут.

И я уехала. В этот же день. В «пятьсот-веселом» поезде. Так назывались товарно-пассажирские составы, которые шли с частыми остановками, но перевозили огромное число людей.

Взяли меня к себе проводницы. Они ехали в отдельном вагоне-теплушке, в котором были нары в два этажа, покрытые соломой и тюфяками. И если сидишь на верхней наре у откинутого окна, то блаженней ничего нет, это даже лучше, чем в обычном пассажирском вагоне. Просторно, свежий ветерок влетает в вагон, принося июльские запахи травы, лугов, далеких странствий и неожиданных приключений.

Мои проводницы, бывшие фронтовички, относились ко мне с нежностью почти материнской. Была у них гитара. Одна из проводниц, крупная, с тяжелыми руками, грубоватая на вид женщина, часто пела смешную песню, всерьез переживая ее содержание: «Бедная девица, горем убитая, плачет, рыдает она. Милая мамочка, сердце разбитое, милый не любит меня. Ветер промчался над реченькой быстрою. Тихо журчал ручеек. Там в камышах, между тиной зеленою, женское тело плывет...»

...Возвратилась я в Москву с опозданием. Очень уж хотелось побыть побольше дома. Первый человек, которого я встретила во ВГИКе, был Глеб Романов. Он поступил к нам на третий курс из армии. Глеб буквально налетел на меня:

— Где ты пропадаешь? Мастера уехали за границу. К их приезду надо подготовить несколько сцен. Мы должны немедленно репетировать. Ты — Любка. Это решено!

23 сентября 1946 года.

Поднимаюсь на наш этаж, ну, шум, гам. И что же бы вы думали?

Меня заждались, сегодня решили отправить телеграмму, работа стоит, скоро прибудет Сергей Аполлинариевич, а работа не может начаться из-за меня.

На меня сразу набросились несколько режиссеров. Во всех сценах у меня роль.

По институту нельзя пройти, отовсюду несется: «премьерша», «Любка Шевцова»!

О том, что я буду делать Любку, знают все театральные студии Москвы. Прямо сегодня уже репетировали! Сейчас буду учить текст.

28 сентября 1946 года.

Работаем вовсю. Еще надо на гитаре несколько песен

выучить, которые пела Люба, мне и музыку и слова привезли. Сегодня наш режиссер Победоносцев разбирал со мной свои записи — он работал в Краснодаре, собирал материалы о семье Шевцовых и, в частности, Любе. Сидели часа два. До чего интересно. Господи! Очень боюсь первого показа перед Сергеем Аполлинариевичем!

7 октября 1946 года.

Вчера приезжала Валя Борц и сказала, что сразу подумала, что я буду играть Любку. Говорит, что похожа. Очень устаю, но зато интересно. Да, а «Бедная девица» (из репертуара проводницы) пользуется колоссальным успехом, даже не ожидала такого. Бесконечно просят повторить, грозят, что заставят петь перед Сергеем Аполлинариевичем.

16 октября 1946 года.

Роль очень интересная, даже не ожидала, и... как мне пригодилось, что все эти годы не балбесничала, а играла, все пригодилось — и «Кармен», и «Настасья Филипповна».

Два дня назад приезжала Валя Борц. Забрала меня, Лялю Шагалову (исполнительницу ее роли), Колю Розанцева (режиссера, он ставит сцены Сережки с Валецкой) и исполнителя роли Сергея Тюленина и повезла к себе домой. А меня она все время зовет Любой, потом поправляется. Такой оказали нам прием!!! Вся семья уже все знает про нас. Стол был потрясающий! А мы все голодные, накинулись после репетиции-то!!! Умора! Меня все-таки заставили исполнить «Бедную девицу».

23 октября 1946 года.

Сегодня меня рано отпустили домой, и завтра свободна. Следующий день мастерства будет в понедельник. И это будет решающий день мой, так как решат точно, буду ли я играть Любку. С Любой вообще вопрос трудный, Сергей Аполлинариевич сам еще не знает, как ее делать. Ведь если играть уличную девчонку, то, кроме омерзения, у зрителя ничего не вызовешь, а если не играть этого, то не будет Любки, это же девчонка, которая бежит на танцующих с выщипанными бровками. Надо найти золотую середину, не хлопотать, как говорит Сергей Аполлинариевич на площадке, больше доверять себе, это все очень трудно и сложно. Но надо найти образ и точно его делать. Сейчас буду читать и думать над ролью.

25 ноября 1946 года.

Тамары Федоровны давно не было видно. Она пришла, и сразу ко мне. Мы спрятались за ширму, и она передо мной отплясывала на манер ленинградской шпаны, велела один там выверт запомнить, это ее секрет, и она его мне отдает. Предупредила, чтобы никому не показывала. А к часу завтра опять в театр, так это все интересно, волнующе и страшно!!! Ужас!!!

Времени уже очень мало осталось. Сергей Аполлинариевич сказал, что пятьдесят пять дней. А там Краснодар. Вот и все пока на сегодня.

2 января 1947 года.

Завтра в театр. Репетируем арест Любки. Вчера Сергей Аполлинариевич при всех, собственноручно пытался найти мне прическу. Смех! Завтра буду встречаться с художницей по костюму. Это все с Тамарой Федоровной. Вчера, когда Сергей Аполлинариевич меня причесывал, то второй режиссер сказал — ей бы в цветном кино сниматься. А Сергей Аполлинариевич говорит: да, красок много. Будут, небось, краски: васильковое платье, белые волосы, щеки красные от волнения, глаза в черных накрашенных ресницах, губы тоже чуть подмазаны. Я сейчас и верно дико как в глаза бросаюсь.

Я не знаю, как возникла идея поставить прежде спектакль «Молодая гвардия», но репетиции были перенесены в Театр-студию киноактера, где мы встретились на сцене со старшим поколением киноактеров. Здесь репетиции уже шли в том составе, который играл потом в фильме. Репетировал и студент ГИТИСа Владимир Иванов — Олега Кошевого. Не были вживками Г. Юматов — Анатолий Попов, Б. Битюков — исполнитель роли Ивана Земнухова. С параллельного — Бибиковского, как у нас говорят, курса пришли: Н. Мордюкова — Уля Громова, С. Гурзо — Сережа Тюленин, Г. Мгеладзе — Жора Арутюнянц, В. Тихонов — Володя Осьмухин, Т. Носова — Валя Филатова. Но большинство ролей распределилось между студентами Ге-

расимовской мастерской. Это Л. Шагалова — Валя Борц, Г. Романов — Иван Туркенич, С. Бондарчук — Валько, А. Чемодуров — Василий Левашов, О. Иванова — Надя Тюленина, К. Лучко — тетушка Марина, А. Пунтус — дядя Коля, М. Жарова — Клава Ковалева, М. Крепкогорская — Вырикова, Е. Моргунов — Стахович, Ю. Егоров — Шурка Рейбрандт, Г. Шаповалов — Соликовский.

Роли были не равноценны по значению и объему, но работали все с огромным энтузиазмом, потому что не было схематично написанных образов — за каждым персонажем стоял живой человек во крови и плоти. Сцен в спектакле много, режиссеры над ними трудились разные: Ю. Егоров, С. Самсонов, М. Бегалин, Н. Розанцев, Т. Лиознова, А. Неретник, А. Манасарова, Ю. Победоносцев, Ю. Карасик, И. Секвенс, К. Бабашкин, Н. Фигуровский, В. Беляев, В. Поваров. Каждому режиссеру хотелось репетировать больше, поэтому исполнители главных ролей разрывались на части, чтобы успеть ко всем. С утра до ночи мы не выходили из театра, работая буквально до изнеможения. Моими любимыми сценами были: «Поулочная», «Концерт» и сцена в тюрьме — все они требовали большой затраты физических сил. Сергей Аполлинариевич говорил нам, что если уж браться за танец, то так, чтобы это было без дураков. Во ВГИКе уделяют много внимания движению, есть специальные дисциплины: танец, сценическое движение, пантомима и другие. Но для того чтобы плясать «поулочную», я дополнительно работала с танцовщицей из хора им. Пятницкого, «дробями» занималась до того, что сбивала ноги в кровь, поэтому очень хорошо знаю, какой нелегкий хлеб у наших танцоров в ансамблях.

31 января 1947 года.

Вчера был первый монтировочный прогон. Я, кажется, многим нравлюсь, меня уже актеры поздравляют. Но много, много еще надо делать. Да, ведь двадцать седьмого января был экзамен по мастерству. Приезжал директор, педагоги и смотрели сцены. Я в «поулочной» и с немцами. Получила пять с поздравлениями. Но это еще чепуха. Главное впереди. Всего четыре акта, сорок девять сцен. Сцена вертится. Завтра с десяти часов утра и до одиннадцати ночи в театре. Я стала не любить дневной свет. Ухожу рано, обратно возвращаюсь — опять ночь. Свет от рампы. Очень хорошо!!!

3 февраля 1947 года.

Состоявшаяся в феврале 1947 года на малой сцене Театра-студии киноактера премьера спектакля «Молодая гвардия» была событием театральной жизни. Сцена маленькая. Но художник С. Мандель сумел, использовав два вращающихся круга, сделать так, что между быстро сменяющимися сценами не было перерыва. Спектакль состоял из множества максимально приближенных по своей стилистике к кинематографу эпизодов. И играли мы без грима. Только после того, как одна из опытных актрис сказала мне, что со сцены я выгляжу слишком бледной, я решилась немного тронуть щеки сухими румянами.

Сцена концерта, вернее — испанский танец, перекочевала из «Кармен». Недаром же Фадеев сказал, что Любка — это красдонская Карменсита. Потому там и кастаньеты, и роза, которую я бросала немцам. В сцене концерта немцы усаживались в первые ряды зала впереди зрителя. И когда Иван Туркенич, то есть Глеб Романов, запевал «Степь», мы с Сергеем Гурзо сидели по другую сторону декорации перед задником, на котором были нарисованы степь, далекие терриконы, вечернее небо с белыми стрелками облаков. Ожидая выхода, отдыхали после «поулочной» и всегда с удовольствием слушали, как разливался соловьем Глеб Романов. При взгляде на степь мне становилось грустно, а тут еще: «Ах ты, степь широкая, степь раздольная, ах ты, Волга-матушка...» Но вот Глеб переходил на романс «Расскажи, расскажи, бродяга» — пел, танцевал, сам играл на баяне. И делал это прескрасно. Зрители — настоящие и те, что были одеты в немецкие мундиры, — аплодировали ему горячо. Эти аплодисменты были отличной подготовкой к нашему выходу, и, когда по нарисованному небу начинали пробегать красные всполохи, как бы отражая пожар, охвативший биржу, мы с Сережей были уже наготове. Нет, что и говорить, выходить в испанском платье, с кастаньетами перед целым залом ожидающих тебя зрителей — всегда удовольствие.

15 февраля 1947 года.

Сегодня выходной у меня, а вчера была... премьера!!!

Был Фадеев и режиссеры!!! Я как отыграла, так и убежала в уборную одеваться, а тут меня на сцену вызывают, смотрю — Фадеев, Герасимов, Бабочкин, Роом и другие аплодируют, захожу на сцену еще больше, а потом поздравления и т. д. И еще приятное перед спектаклем: получила аванс четыреста рублей. Завтра получу еще тысячу рублей. Это за репетиционный период. А во вторник смотрит министр, и будем заключать договор. На многое надеяться нельзя. В понедельник спектакль для прессы, а во вторник художественный совет!! И министерство! Очень страшно. Меня эти дни снимают все время для витрин, для заграничных журналов. Да, а позавчера были у Сергея Аполлинариевича (нас на обед пригласили), потом долго сидели в комнате Тамары Федоровны.

26 февраля 1947 года в буфете театра.

В семь часов тридцать минут начнется спектакль. Все эти дни играем для общественности. Звон идет по Москве колоссальный. Нас снимают, рисуют и т. д. Вчера Раневская из Охлопковского театра меня схватила и поздравляла. Успех, кажется, очень большой.

27 февраля 1947 года.

Вчера смотрели из ЦК комсомола и Бабанова. Бабанова, говорят, не поверила, что Любка — моя первая роль, она говорит, что я уже настоящий мастер. А уж я-то вот никогда не думала, что попаду в счастливые соперницы Бабановой.

19 марта 1947 года. Письмо от мамы. Новосибирск.

Здесь меня все поздравляют в связи с твоим успехом. Многие не верили, что ты получила такую роль. Один знакомый вчера пошутил: «Вы теперь уже не имеете права беспокоиться, если нет писем. Из газет узнаете о дочери». И из газет, и по радио, и от знакомых! Я такая счастливая. Разве можно найти человека счастливее меня?

Статья в «Комсомольской правде» написана хорошо. Там нотка грусти, что спектакль ваш недолговечен, что увидят его только немногие. Теперь тебе сняться с таким же успехом, а дальше, если и будут испытания, уже будет не страшно. Жизнь дана не зря. И я даже теперь буду жить с мыслью — не зря было трудно. Земной поклон тем, кто сложил голову в борьбе с врагом, тем, кого вы играете. И перед ними совестно за свое большое счастье.

Чем был вызван такой успех? Думаю, прежде всего тем, что это первое масштабное художественное произведение о молодежи в условиях оккупации. Поражало и изображение врага: несмотря на звериное обличье, это были люди, а не гротеск, как было принято играть раньше.

Зрительный зал небольшой, попасть на наши спектакли было трудно. Приходили известные актеры, писатели, режиссеры. В антрактах и после спектакля нас поздравляли люди, к именам которых я привыкла относиться с огромным уважением. После одного из спектаклей мы сели в троллейбус, за нами вскочил человек и прямо в троллейбусе преподнес мне пирожное, завернутое в белую бумагу, преподнес, как цветы. Это был Михаил Светлов.

22 мая 1947 года.

С утра побежала на съемку, только загримировалась, — меня в группу, а там: столы накрыты, кругом цветы, шампанское, огромный торт и горит сорок одна свеча. Кругом киноаппараты и вся наша группа. Это Сергею Аполлинариевичу исполнился сорок один год. Ждем его. Подъезжает. И только вошел в группу, как на него целый килограмм конфетти, салют, гром, блеск, красота!!! В общем, чествовали его с полчаса. Сергей Аполлинариевич был тронут очень.

В годы учебы и на съемках мне иногда приходилось слышать от Сергея Аполлинариевича слова, очень тогда удивлявшие: мол, мы-то, студенты, без него проживем, а вот он без нас — нет! Казалось бы, наоборот.

Прошли годы, и только теперь мне стала ясна суть этого признания. Речь шла о том, как важно для художника творческое общение с новым, молодым, с еще не окрепшей мыслью, но со свежим мироощущением. Только тот художник современен, кто знает новое поколение и сочувствует ему.

Но тогда мне было легче понять другое — когда в сердцах Сергей Аполлинариевич грозил нам: я вас породил, я вас

и убью. Это мне было понятно и ясно. Сергей Аполлинариевич любил своих учеников. Видел в них то, что посторонний глаз не сразу заметит. На съемках «Молодой гвардии» в павильоне, пока операторы ставили свет, мы, то есть исполнители ролей молодогвардейцев, что-то рассказывали, показывали в лицах, а так как нас было много и все хотели отличиться, то гвалт стоял такой, что Владимир Абрамович Раппопорт — наш главный оператор — хватался за голову... Сергей Аполлинариевич слушал, глаза у него светились тем особым, ему присущим светом, когда он сталкивался с чем-то ему любопытным. Он и сам много и интересно рассказывал, создавая атмосферу творчества и импровизации.

Съемка — дело очень утомительное, физически тяжелое, роли ответственные. Внутреннее напряжение, которое нес сам материал «Молодой гвардии», было настолько сильным, что разрядка была необходима, а, кроме того, атмосфера импровизации держала нас в творческом напряжении. Я думаю, что Сергей Аполлинариевич специально поощрял нас в наших «кручениях» и «верчениях на хвосте»...

24 мая 1947 года.

В первый же день нашего приезда в Краснодар я в сопровождении режиссеров-студентов пошла в дом к Ефросинье Мироновне Шевцовой — матери Любы.

Очень волновалась, и, когда Ефросинья Мироновна меня обняла и поцеловала, я заплакала.

То, что Ефросинья Мироновна так тепло встретила, меня окрылило. В первый день она рассказала, как Люба, купаясь за городом на речке Каменке, однажды решила измерить глубину затопленной шахты, так называемой бездонки. И, забравшись на обрыв с камнем на голове, прыгнула в эту самую бездонку.

Рассказала, как видели наши русские женщины, когда выводили Любу из стен тюрьмы, она сняла с себя курточку и бросила ее женщинам, крикнув: «Вам еще пригодится, носите, а мне уже не надо» — последние слова, которые наши люди слышали от Любы Шевцовой...

17 июня 1947 года.

Снимают дворик Тюлениных. На днях ездила на Донец, это в тридцати километрах. (Здесь у нас Каменка.) Я плавала на другую сторону, конечно, со всеми, не одна. У нас ввели режим: в шесть часов подъем, в семь завтрак, с часу до трех обед...

Недавно приходили все родители, в том числе «моя мама». Она трогательна со мной очень. Сергей Аполлинариевич находит, что я даже на нее похожа. Я Ефросинье Мироновне показывала платья, в которых буду сниматься, ей страшно понравились.

На натурных съемках «Молодой гвардии» я любила смотреть, как снимались эпизоды, в которых я не была занята. Одними из самых интересных сцен фильма мне представляются эпизоды первой встречи наших людей с оккупантами.

В Краснодаре мы жили и работали почти четыре месяца.

Сергей Аполлинариевич нам говорил, что научиться сниматься можно в одном фильме, важно, что ты принесешь с собой на съемочную площадку.

Нам нужно было не столько принести, сколько перенести многое уже сделанное со сцены в павильон и на натуру. А это, оказывается, не так просто.

Рассказывают, что однажды артисты МХАТа после спектакля гуляли в парке и нашли аллею, похожую на декорацию II акта «Месяца в деревне». Решили сыграть сцены. Начали говорить текст и через несколько реплик остановились. Великий режиссер К. С. Станиславский пишет: «Моя идея в обстановке живой природы казалась мне ложью, а еще говорят, что мы довели простоту до натурализма».

Приступая к съемкам «Молодой гвардии», мы были во многом подготовлены. Снимал фильм наш учитель, который знал нас так, как мы себя, конечно, не знали. Но было еще одно, что делало нас способными выразить суть самой жизни наших героев.

«Все прошлое лето, когда началась война, школьники старших классов, мальчики и девочки, как их все еще называли, работали в прилегающих к Краснодару колхозах и совхозах...

Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни во весь голос на ветру с грузовиков в степи, летнюю страду, среди необъятных пшениц... задушевные разговоры и внезапный смех в ночной тиши» — так написано в романе.

Как это понятно, жизнь, знакомая до мелочей... Это были наши сверстники, наши современники.

Но в Краснодаре, в самом городе, в домах и хатах, на встречах с родными молодогвардейцев, в самом воздухе мы ощутили то, что они своими глазами увидели, как «...по яркой степи двигались прямо на них, раскрашенные под цвет древесной лягушки, зеленые немецкие танки».

9 декабря 1947 года.

Я встретила Сергея Аполлинариевича Герасимова в коридоре Театра-студии киноактера. Он шел в пальто, увидев меня, остановился:

— Только что говорил с Иосифом Виссарионовичем!!!

Был Сергей Аполлинариевич взбудоражен.

Оказалось, что, посмотрев первую серию «Молодой гвардии», Сталин сказал, что провала взрослого, партийного подполья в фильме не должно быть, так же как и беспорядочного, панического отступления наших, отступали «на заранее подготовленные позиции и планомерно».

А это значило, что летят из первой серии две самых удавшихся в художественном отношении темы: превосходно сыгранная сцена последнего разговора Шульги и Валько в тюрьме (причем роль Шульги в отличном исполнении Александра Хвыли выпала из фильма вся) и сцена первого появления Любки в фильме...

К этому времени и относится первый рубец — след инфаркта на сердце Сергея Аполлинариевича, перенесенного им на ногах.

Какова же была грозная сила авторитета Сталина и беспрекословного подчинения ему. Поистине: не сотвори себе кумира!

20 октября 1948 года.

Вчера я была в одном месте, где шли обе серии. Вы не представляете, как нас встречали!!! Когда уезжали, толпа стояла на улице и аплодировала. Сейчас на нас действительно огромный спрос, главная беда: идешь по улицам или в метро — моментально узнают, и ходишь, как зверь каменного века.

Я получаю сейчас огромное количество писем.

Вместо заключения.

Осенью 1987 года я была в Краснодаре вместе с группой художественно-публицистического фильма «По следам «Молодой гвардии».

На торжественном митинге, посвященном 45-й годовщине создания в оккупированном Краснодаре подпольной организации, мне предложили выступить от лица всех участников фильма С. А. Герасимова «Молодая гвардия». И мне хочется повторить те слова, которыми я выразила то, что чувствовала всю жизнь. В каких бы фильмах мы ни снимались или будем сниматься (а среди наших ролей были и хорошие, любимые), «Молодая гвардия» всегда будет стоять отдельно, как главное свершение в жизни. Потому что она дала нам не только редкую в актерской жизни честь создавать образы столь полюбившихся всем героев, она дала нам возможность прикоснуться к высокой нравственности народа.

Леонид ИОНИН,
доктор философских наук

ДЕМОКРАТИЯ — ТОЧНАЯ НАУКА

Конференция завершена — конференция продолжается. Об этом было сказано уже тогда, когда XIX Всесоюзная партконференция завершилась. Она стала важным событием общественной жизни страны, ее определяющим фактором. Свидетельством тому повседневная практика, подтверждающая: многие положения конференции уже конкретно воплощаются в дела. Но хотелось бы сказать и о том, что итоги конференции и делегатами и всеми нами были восприняты неоднозначно. Нет, относительно правильности избранного курса сомнений не существует. Коренная реформа экономики, демократизация и гуманизация общественной жизни — курс, не имеющий альтернативы. Но вот **как** идти по этой дороге? На этот вопрос ответы самые разные.

Резолюции были приняты единогласно. Но главное — в том, как они восприняты делегатами. Как известно, разные люди — с разными биографиями, жизненным опытом, мировосприятием — в одних и тех же словах и фразах видят разные вещи. Если бы существовал такой аппарат — мечта вождей и диктаторов: нажал на кнопку — и мозговые извилины у миллионов людей по струночке — тогда бы проблем не было. Но такого аппарата еще, слава богу, не изобрели. Поэтому монолитное голосование — не надо на этот счет обманываться — еще не залог единства действий в направлении одной, даже всеми признанной и принятой цели.

Вырисовываются два основных ответа на вопрос: как двигать дело перестройки? Условно обозначим их как аппаратный ответ и ответ демократический.

Кто делает перестройку?

Цитирую по стенограмме конференции, опубликованной в центральных газетах.

«...Хочется спросить: а кто же, кроме партийных органов, сегодня занимается перестройкой на местах? Неужели это те крикуны, которые выходят на улицы с сомнительными лозунгами и предлагают создать какие-то комиссии, комитеты содействия перестройке, вплоть до создания новой политической партии...»

«Думается, что всякие красивые словосплетения... о «партии перестройки», «партии беспартийных» и всякие шибко революционные призывы «брать власть» (причем непонятно, кому брать и у кого брать) есть не что иное, как либо безответственность и самолюбование, либо далеко не безобидная, хорошо рассчитанная и организованная кампания, в конечном счете ничего общего не имеющая с линией партии на перестройку».

«...А что конкретно могут предложить людям организаторы всевозможных митингов, демонстраций, зачастую ограничивающиеся лишь пустой говорильней? Все эти заступники прав и свобод в своих неумных амбициях как-то забывают о другой важной стороне демократии: обязанности граждан перед обществом. В своих декларациях они почему-то не заостряют внимание людей на необходимости укрепления трудовой и производственной дисциплины, наоборот, потворствуют тем, кто устраивает забастовки, срывает планы нашего ускорения. Нет, эти люди не помогают перестройке, скорее мешают ей, тормозят ее».

Эти высказывания взяты из выступлений партийных ра-

ботников высокого ранга. Разумеется, были и соображения о необходимости поощрять активность масс, прислушиваться к голосу тех же масс, вести за собой массы. Но и накал борьбы с «крикунами» был высок.

Попробуем же разобраться, кто, кроме партийных комитетов, занимается перестройкой на местах, а кроме того, зададимся вопросом: как отделить активность масс от «все-возможных митингов и демонстраций», голос масс от «комитетов содействия перестройке»? Но сначала попробуем четко сформулировать суть приведенных здесь высказываний.

Перестройка — дело партийных коллективов.

Стремление граждан создать свою организацию для более активного проведения перестройки — либо проявление безответственности, либо провокация.

Члены их ограничиваются пустым словоговорением, у них отсутствуют конкретные предложения.

Они забывают об обязанностях граждан перед обществом, которые, если следовать мысли оратора, заключаются в укреплении трудовой и производственной дисциплины.

Они тормозят перестройку.

Ни с одним из этих тезисов по зрелом размышлении согласиться нельзя. Но, поскольку это сказано и повторено неоднократно, приходится выдвигать свои контрдоводы.

Первое: если перестройка останется лишь делом партийных комитетов, она обречена. Она превратится в одно из аппаратных мероприятий, побуждаемых благими намерениями. Любое новое начинание аппарат, в том числе и партийный, «корректирует» в соответствии с собственными потребностями.

Более полувека назад В. И. Ленин писал: «Построить коммунистическое общество руками коммунистов, это — ребячья, совершенно ребячья идея». «В народной массе мы все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ осознает. Без этого коммунистическая партия не будет вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за собою масс и вся машина развалится». Число коммунистов в те далекие времена вряд ли было большим, чем сейчас число партийных работников и членов партийных комитетов разного уровня. И не ребячья ли это затея — совершать перестройку руками партийных комитетов?!

Знак ли безответственности социальные и политические инициативы «снизу»? Конечно, нет. Ответственность ведь состоит не в точном следовании указаниям сверху, а в умении жить своим умом. Она проявляется прежде всего в гражданской активности. Партия за годы перестройки добилась пробуждения этой активности после многих десятилетий спячки. Гражданская активность спала в хрустальном гробу административных предписаний и, слава богу, проснулась. В гражданах проснулась ответственность за судьбу свою и государства.

Заявление же о том, что организации, способствующие перестройке, в значительной мере остались «говорильней», к сожалению, соответствует действительности. Они отрезаны от центров принятия решений, потому что существующий пока политический механизм еще не способен учитывать все многообразие интересов и мнений и соответственно формировать законодательные и исполнительные органы. Средства массовой информации уделяют им все еще мало внимания. Но это беда их, а не вина.

И уж, во всяком случае, несправедливо утверждение о том, что у них отсутствуют конкретные предложения. Передо мной документ: «Общественный наказ партийной конференции», принятый на встрече самостоятельных объединений г. Москвы 5 и 12 июня нынешнего года. В нем сформулирован ряд серьезных и деловых предложений по реформе политического строя нашего общества. В своем основном содержании, точнее, в своей основной тенденции этот документ соответствует принципам реформ, одобренным делегатами конференции. Есть и спорные суждения, согласен. Кому-то они могут показаться слишком радикальными. Но они существуют и заслуживают ответственного обсуждения, а не голословных обвинений.

Говорят о забвении ответственности сторонников гражданских инициатив перед обществом. Вот уж с чем никак невозможно согласиться. Наоборот, они стремятся к ответственности, не желая оставаться безответственными и безответственными исполнителями спускаемых сверху директив. Наш застой в экономике, политике, духовной жизни не объяснить отсутствием трудовой и производственной дисциплины. Наоборот, само ее отсутствие — плод духовного, политического и экономического застоя — «политики» (это

слово можно писать здесь только в кавычках), смыслом и результатом которой стало подавление, уничтожение любого рода самостоятельности и инициативы.

Трудовая и производственная дисциплина — вопрос экономической и производственной организации. Путь к изменению этой организации, как четко показала конференция, может быть только «обходным» — через политическую реформу.

Из рассуждений по поводу предыдущих четырех пунктов ясно, что повышение социально-политической активности разных групп и слоев советского общества не может быть тормозом перестройки. Факты прямого участия граждан в политике — симптом возрождающегося политического сознания, прямой результат перестройки — единственно возможный ответ на призыв партии стать хозяевами в собственном доме. Противостоит это широкое народное движение не партии, не против партии оно направлено, а против все еще не переломленной тенденции аппаратчиков совершить и завершить перестройку сверху, аппаратным путем. Бесперспективность этого пути доказана десятилетиями застоя.

Демократия — точная наука, не в том, конечно, примитивном смысле, что она требует определения воли большинства путем подсчета голосов, а в том смысле, что она предполагает научный анализ противоборствующих социальных сил и интересов, а не ограничивается «благородным негодованием» и «всеобщим энтузиазмом». Поэтому демократия знает ответ на вопрос: у кого брать власть? У аппарата. На это и нацеливает партийная конференция, показавшая, что аппаратная, бюрократическая власть — главный тормоз перестройки.

О «свободе самовыражения»

Полезно разобрать выразительное место из выступления на конференции первого секретаря Кемеровского обкома КПСС тов. В. В. Бакатина. Изменения происходят, говорит он. Но вот вопрос: «Чем измерить эти изменения? *И каждый измеряет в зависимости от собственного понимания перестройки. Но любые мерки мелкобуржуазного, потребительского отношения к социализму, на какие бы глобальные замахы они ни претендовали, все равно останутся мелкими мерками. А подавляющее большинство рабочих коллективов Кузбасса... измеряют перестройку не степенью свободы самовыражения личности вне связи со степенью ответственности за дело, а непосредственно делом, одним делом и только делом.*»

Непонятно, что это за «мерки мелкобуржуазного потребительского отношения к социализму», претендующие на «глобальные замахы». Что конкретно здесь имел в виду оратор? Но главное ясно: пробиваются четкие отождествления и противопоставления.

Свобода самовыражения личности почти приравнивается к мелкобуржуазному, потребительскому отношению к социализму.

Свобода самовыражения противопоставляется делу.

Кто-то может возразить, что, мол, оратор имел в виду не просто самовыражение, а самовыражение «вне ответственности за дело». Но это дополнение бессмысленно. Личность может самовыражаться только в деле. Если, разумеется, это ее кровное, нужное, переживаемое ею дело. Если же дело человеку чуждо, личность в нем не самовыражается и соответственно не в состоянии нести за него ответственность. С этих вот позиций и надо подходить к сформированному выше противопоставлению.

Возьмем такой пример: рабочий трудится на комбайновом или тракторном заводе. Мы сейчас, как известно, производим комбайнов в 16 раз больше, чем в США. Похожее соотношение и по тракторам. Тем не менее производительность труда в сельском хозяйстве у нас составляет лишь 15% от производительности в Соединенных Штатах. Из заводских ворот выходят комбайны низкого качества, в колхозах и совхозах не хватает механизаторов, машины быстро ломаются, запчастей нет. В результате машины разбираются на запчасти или стоят неиспользованными, пока не приходит пора сдавать их в металлолом. «Неисправных комбайнов у нас в хозяйствах столько, что американской промышленности при ее нынешних мощностях по комбайнам удалось бы произвести такое количество машин лишь за 70 лет», — пишет Отто Лацис.

Учитывая такое положение, как может и должен относиться к своему делу рабочий тракторного или комбайнового завода? Можно представить себе три варианта. Первый:

когда в голове у него «дело, одно дело и только дело», то есть, когда рабочий истово и с любовью, соблюдая трудовую и производственную дисциплину, выполняет то, что ему поручено. Этим предлагает оратор измерять степень преданности идеям перестройки? Не значит ли это измерять ее количеством напрасно погубленных сил и переведенных в металлолом материалов?

Возможен другой вариант: рабочий осознает бессмысленность и бесперспективность своего труда. Он махнет на все рукой, станет делать дело абы как, нарушать технологию, что «не лезет» — загонять кувалдой, прогуливать, в общем, разрушать трудовую и производственную дисциплину. Это один из способов отношения к труду и жизни, широко распространившийся в годы застоя. Апофеоз безответственности в условиях, когда ответственность недостижима, одно из проявлений того, что философы называли отчуждением — отчуждением власти и ответственности.

Но вот третий вариант: рабочий осознает бессмысленность своей прежней деятельности и начинает активно выступать за, скажем, изменение технологии, организации производства или вообще за перепрофилирование завода. На этом пути он порой, как показывает опыт, входит в конфликт с руководством предприятия, с партийными органами. Но именно здесь он формируется и самовыражается как личность, осознающая ответственность за собственное дело. Не за «порученное» дело, которое он ранее выполнял как говорящий робот, а за свое кровное, нутром пережитое дело.

«Порученное дело»... Слово найдено. Так любили говорить раньше: «ответственность за порученное дело». Типичный аппаратный оборот. Но сейчас, в свете идеологии самостоятельности и инициативы, этот оборот стал непопулярен. Поэтому в рассуждении, которое мы разбираем, между словами «ответственность» и «дело» зияет дыра. Поставьте «ответственность за порученное дело», и все становится на свои места. Тогда станет понятным, почему отвергается свобода самовыражения личности и почему она отождествляется с «мелкобуржуазными (очевидно, анархистскими? — Л. И.) мерками».

Понять это можно, но принять нельзя. Идея «винтика в машине», не имеющего, да и не желающего свободы самовыражения, отвергнута идеологией перестройки. Отвергнута потому, что именно машинообразная система административно-бюрократического управления, громыхавшая тоже ведь во имя Дела (с самой большой буквы), привела нас на грань экономической катастрофы. Вторая по мощности в мире экономика работает вхолостую, будучи не в состоянии обеспечить уровень жизни, сколько-нибудь сравнимый с другими промышленно развитыми странами. Отвергнута потому, что отсутствие свободы самовыражения личности привело страну на грань духовного и культурного кризиса. Даже «в области балета» мы давно уже не впереди «планеты всей». Отвергнута, наконец, потому, что она противоречит идеалам социализма, представлениям о будущем нашего общества, о природе труда при социализме. Разумеется, не всякая работа способна предоставить личности свободу самовыражения, но человек самовыражается, изменяя свою работу, приводя ее в соответствие с собственными потребностями творчества. Думается, что именно в том, насколько личность свободна выразить себя в деле, и состоит мера перестройки.

Эти абстрактные соображения о творчестве, свободе и самовыражении легко переводимы на язык конкретных фактов.

Так, если школьник и его родители могут выбрать специализированную школу, профиль которой соответствует, скажем, его математическим склонностям, вырастет квалифицированный специалист, который сумеет выразить себя в науке, технике, на производстве. Если выбора нет, он может оказаться неудачником, периодически заваливающим экзамен, скажем, по русскому и литературе, лишенным ощущения собственного «дела».

Если студент-философ может выбирать позицию по отношению к миру, то в этом выражается его личность («Юность» уже писала об этом). Тогда дело миропонимания идет вперед, рождаются новые острые идеи. Если же он прикован как каторжник к тачке к учебнику с обязательным набором формул мировой мудрости, торжествует догма, а мысль сходит на нет.

То же самое с художником, артистом... Но как быть рабочему или служащему? Есть ли у него возможность выбора или трудовая и производственная дисциплина авто-

матически низводят его на роль пассивного исполнителя указаний специалистов и администрации?

Напомню о событиях, развернувшихся в конце прошлого года на Ярославском объединении «Автодизель». Борьба за изменение трудового графика, за ликвидацию «черных суббот» выдвинула лидера из рабочей среды. Имя рабочего Льва Макарова из газет стало известно всей стране. Его также первоначально именовали крикуном и выскочкой, ищущим саморекламы. Все оказалось гораздо серьезнее. Рабочие решили прорвать порочный круг расхлябанности и дурной организации дела — источник «черных суббот». Решили прорвать именно потому, что реально ощутили свободу самовыражения личности, демократическую атмосферу перестройки. И в этом выразилась их ответственность за дело — не за «порученное дело», а дело, добровольно принятое и переживаемое как свое кровное.

О гласности

Здесь я снова должен прибегнуть к цитированию, чтобы выявить еще один настойчиво звучавший на конференции мотив.

«...Журналисты, некоторые газеты свои ошибки, как правило, не признают и за них никакой ответственности не несут. Они себя выдают за главных перестройщиков, пытаются игнорировать партийные органы и противопоставлять им общественность.

...на страницах центральных газет и журналов стали публиковаться необъективные, непроверенные материалы.

Дело доходит до того, что один или два работника прессы начинают давать оценку целому выборному партийному органу».

«...Сегодня в дискуссиях идут прямо-таки перекосы, причем нередко доходящие до абсурда и до прямой фальсификации, а то и оскорбления. Особенно это касается высказываний в адрес партийных работников... Кому это надо? Надо подумать».

«...Тут, видимо, необходимо более твердое руководство и спрос со стороны отделов пропаганды как Центрального Комитета КПСС, так и ЦК компартий союзных республик».

Конечно, упреки журналистам могут быть и обоснованными. Но существуют в конце концов советские законы, и, если фальсификация фактов и оскорбление налицо, фальсификатор и оскорбитель предстанут перед судом, а газета опублзует опровержение. Это не дискуссионный вопрос.

Призывая к дозированной критике, авторы, очевидно, хотели бы, чтобы в сфере гласности установилась бы такая же ситуация, как в промышленном производстве. Всякие мелочи — ширпотреб, общепит и т. п. — выносятся на свободный рынок, отдаются на волю случая: понравится — не понравится, купят — не купят. В то же время в «большой» промышленности производство держится на госзаказе (дающем исчерпывающее задание по валу и номенклатуре) и централизованном распределении как сырья, так и готового продукта. Так и здесь: пусть, мол, ругают отдельных бюрократов, критикуют общественные организации, даже ведомства — пусть выясняют истину в порядке свободной конкуренции. Но «большие» идеи критическому обсуждению не подлежат. Они обязательны, так сказать, по валу и номенклатуре.

Риску продолжить сравнение. Именно существующая практика управления экономикой в условиях монополии производителя и отсутствия рыночных отношений, только лишь и способных определить общественную ценность и цену произведенного, привели к парадоксальным последствиям: промышленность работает на самое себя, ориентируется на самоподдержание и самовоспроизведение, а не на реальные потребности общества. Как чудовищная воронка, она всасывает сокровища недр страны, человеческие силы, ум, изобретательность, но не дает на выходе общественно полезного продукта. Этот механизм детально проанализирован экономистом Вас. Селюниным в журнале «Знамя» (№ 8, 1988). Так же и отсутствие гласного обсуждения и критического анализа проблем политики и идеологии в застойный период породило гигантскую идеологическую «фабрику», продукция которой, как правило, не затрагивала ни ума, ни сердца тех, кому была адресована. Лекторы ездили по городам и весям, работали сети политпросвещения, писались книги в тиши кабинетов, без усталости громыхали ротационные машины... но все это оказывалось более-менее ловким воспроизведением окаменевших догматических формул. И вот сейчас мы заново создаем теорию социалистического обновления, перестраиваем политику и идеологию, так же как перестраиваем, реформируем затратную экономику. В осно-

ве перестройки экономики лежит идея сочетания централизованного планирования с элементами рыночных отношений. Основу перестройки в политико-идеологической сфере составляет возможность творческой дискуссии, свободной конкуренции идей.

Разумеется, сравнение промышленного производства и производства мыслей, «духовного производства» (термин К. Маркса), достаточно условно. Здесь не место вдаваться в теоретические рассуждения, скажу лишь одно: единообразие и унификация, «обязаловка» и «уравниловка» в сфере мысли еще более губительна, чем в производственной сфере.

И надо ли напоминать, что партия завоевывала авторитет и побеждала не путем запрета критики в свой адрес, а путем максимально открытой и честной дискуссии. Аппаратная победа — пиррова победа. Когда восторжествовал «аппаратный критерий истины», когда мысль была переведена на госказак, а точнее — на паяк, на разверстку, сложился культ личности Сталина, а затем его бледный оттиск — «эпоха застоя».

Аппаратный ум

Конечно, с точки зрения объективной я заслуживаю упрека: можно сказать, что выхваченные из контекста цитаты не создают полного представления ни о самих речах, ни об идейном лице ораторов. Это так. Речи полны были деловых соображений о конкретных шагах по совершенствованию экономической и политической жизни, о необходимости организации масс на борьбу за перестройку, о пользе гласности, о повышении авторитета партии и ее руководящей роли и т. д. и т. п. Все эти умные мысли свидетельствовали, что ораторы правильно понимают дело перестройки.

Но тем более выразительно звучали приведенные цитаты. Выхваченные из контекста речи, они выражали более глубокий контекст, так сказать, духовной организации оратора.

Аппаратная организация ума — совсем особая организация. Добираться до нее трудно. Мысль за мыслью надо «снимать», как капустные листья, чтобы добраться до твердой кочерыжки. А «кочерыжка» — вот она. Ее строение можно выразить в нескольких фразах:

— дело верхов — решать, дело низов — выполнять решенное;

— наверху знают все, что знают внизу, и знают гораздо больше;

— несогласие с работником аппарата по конкретному вопросу есть покушение на власть аппарата в целом.

Все эти мысли необязательно осознаются как таковые. О них можно судить косвенно — по реакции. Оборонительная реакция срабатывает неосознанно, как безусловный рефлекс. Формы ее, как мы видели, оказываются чисто аппаратными. Это, с одной стороны, апелляция к высшим аппаратным инстанциям, поиск у них защиты от нападающих. С другой стороны, стремление обвинить критика в покушении на аппарат вообще, более того, на организацию вообще.

Десятилетия культа личности и застоя сформировали аппаратную власть и мозги аппаратного работника, выработали типичные способы реагирования на любой возмущающий факт.

Общество изживает эту тяжелую наследственность, но она не изжита полностью, сказывается постоянно: в лексике, в стиле речи, даже в манере держаться. Внешние свидетельства коммунистической убежденности на деле оказываются проявлением аппаратной лояльности. Высокие слова о целях и идеалах социализма на деле выступают как ритуальные метки, опознавательные знаки принадлежности к аппарату. Ленин называл это «комчванством». Застой — торжество «комчванства». Люди превращались в винтики аппарата, в голую функцию, а их идеи лишались, говоря научным языком, субстанционального содержания. Другими словами, терялся контакт с реальностью, аппарат замыкался в себе и начинал функционировать во имя себя самого.

Избавиться от этого рокового наследия непросто.

Но сейчас в наших руках сильное оружие — решения XIX партийной конференции, постановление июльского Пленума ЦК КПСС «О практической работе по реализации решений XIX Всесоюзной конференции КПСС», где точно обозначены главные направления: осуществление реформы политической системы, внедрение нового хозяйственного механизма, дальнейшая демократизация жизни общества и партии.



Василий
ГАЛЮДКИН

☆☆☆

В самом центре города
Спит дворец блестящий.
На отшибе города
Спит барак пропащий.
Что ж? Дворец на море
Свой откроет зрак!
Кроме грязи, горя,
Что видал барак?
Кирпичам придворным
Снятся мрачный край,
А барак позорный
Сонный видит рай!
Чувствую: столкнутся
Перед злой чертой,
На дуэль сойдутся
Роскошь с нищетой!

Золотое сердце

Женщина сказала: «Помяни
Мужа моего, Петрова Пашку...»
И дала мне в тягостные дни:
Пачку папирос, печенья пачку,
Сваренных вкрутую три яйца,
Яблоко, горячее от зноя...
Не запомнил я ее лица,
Но запомнил сердце золотое!
Что ж, моя сторонка неимущая,
Горсточка товарищей худющая,
Я Петрова Павла помяну,
Не забуду душу ни одну!

☆☆☆

Ивушка, заплавав, наклонилась,
Прикоснулась к штопке на пальто.
Ничего в округе не случилось,
За округой — я не знаю — что.
Те же корни, веточки, верхушки.
Так же плачет смятая листва.
Тот же воздух. Так же выются мушки.
Та же штопка, те же рукава.

☆☆☆

Оглянулся: словно хуторок,
Станция, где три избы и клены,
Где заплакал чуткий ветерок
Потому, что тронулись вагоны!
Русская душа всегда полна
К слабому любовью, к дорогому,
Ибо так устроена она,
Что прожить не может по-другому!

Энск

Что это? Энск... Панельные бараки.
И как молчать? Нет в магазинах мяса.
Горсвалка. Дым... Голодные собаки.
Дворец Советов? И барак? Два класса?
И книжный голод. И квартирный холод.
Нет, я не очернитель: мусор тут!
Я не согласен: Энск — геройский город,
Рискну сказать: заплывший тиною пруд.
Здесь аппарат двуличье засосало:
Говядина — верхам, трудягам — сало.
Где справедливость, равенство? Тоска:
Элите — палтус, а низам — треска.
Безгласный край, где власти прячут язвы:
Владыка местный с браконьером связан!
Что делает с людишками лосось:
Толпой — на площадь, а на кухню — врозь!
Берите с Ильича пример, скотины,
Ульянов не ходил в спецмагазины!
Две касты: общий транспорт, спецгараж...
Дай инвалидам, Энск, один этаж!
Чтоб в мастерских работали калек,
Строй, Энский главк, не только спецаптеки!
Мальчишка ковыряется в носу.
Спешит пропойца за одеколоном.
Не купишь без талонов колбасу,
И масло не отпустят без талонов.
За что я мрачный Энск люблю, как сын?
Мазута сопли — на ветвях ряби!
Как я хочу, чтоб в Энке, сердцу близком,
Был воздух не по блату и запискам!
Что ж, пусть моим словам устроят суд —
Как эпилог — последний довод дерзкий:
Мне кажется, мерещится, что тут
Бродил, роняя слезы, Достоевский!

Бернгардовка

Бернгардовка — с Финляндского вокзала
Доеду ли до этого села,
С которым сила голода связала,
А боль души навеки развела?
Увижу ли Бернгардовку, вокзал
Финляндский, озаренный ранним светом?
Бернгардовка — кто так село назвал,
Что сделал для России немец этот?

Срезки трески

Плечики рыбные, плечики рыбные,
Рыбные плечики, рыбные плечики,
Косточки-срезки трески безобидные,
Вы организм мой, однако, калечите!
Десять копеек — и первое блюдо,
Двадцать копеек — салат и рагу!
Скоро пельмени из этого чуда
К празднику я приготовить смогу!

☆☆☆

Лето такое, что нет надоедливых мух:
Ветер да ветер, плохая погода!
Нет на скамейках дедов и старух:
Дождь за дождем, рассердилась природа!

Спрятал в карман я свой личный свисток —
Сторожу не пригодится «орудие»:
Трест, где дежурю, туман заволок —
Без волокиты и словоблудия!
Если б вожди, как дожди, обложили
Нужды, проблемы, заботы людей,
Мы бы, товарищи, здорово жили
В ясные дни и во время дождей!

Климат такой, что молчит мой свисток.
Климат такой, что тепла нет от печек.
...Чай заварив, я пустил в потолок
Три эскадрильи табачных колечек!

г. Мурманск



Юрий
ЩЕРБАК

ЧЕРНОБЫЛЬ

Документальная
повесть

КНИГА ВТОРАЯ

В этом коллаже использованы снимки
фотокорреспондентов ТАСС
Валерия Зуфарова и Игоря Костина,
удостоенных высших наград
на международных выставках
«Уорлд прессфото» и «Интерпрессфото».

Запустение черновыльских дворов, устланных черными, упавшими на землю яблоками. Кучи хлама на задворках общежитий: выброшенные респираторы, старые вещи, которые «фонят», раскуроченные легковые автомобили с намалеванными на бортах номерами, горы казенных пожелтевших бумаг — остатки ушедшего навсегда «довоенного» мира. И портрет Брежнева, венчающий одну из таких радиоактивных свалок...

Во дворе одного из общежитий я увидел типично черновыльского аборигена: некто в черном бесформенном комбинезоне, шапочке, респираторе, резиновых сапогах, с дозиметром на груди подошел к колонке с водой. Наклонился. И вдруг я распознал очертания женского тела — неуничтожимо прекрасные знаки жизни и любви. Некто сбросил шапочку и респиратор — и золотистые волосы разметались на ветру, засветились на солнце. Незнакомка подставила руку под струю воды и улыбнулась.

Господи, каким гением чистой красоты показалась мне эта обычная женщина здесь, в Чернобыле. Что привело ее сюда? Профессиональный долг, авантюрная страсть к острым ощущениям, любовь?

Женщина в Чернобыле... В большом цехе бывшей черновыльской станции техобслуживания автомобилей была открыта столовая, которую местные остряки окрестили «кормоцехом». Вход в «кормоцех» охраняли дозиметристы, время от времени выгонявшие тех разгильдяев, что приносили сюда со стройплощадки свое «свечение». Потрясала черная одинаковость людей в бушлатах и комбинезонах, ватниках и спецовках, в чепчиках, «афганках» и беретах, молча уминающих свой обед, — у всех были не только одинаковые костюмы, но, казалось, и одинаковые лица, серые от усталости. И в этом угрюмом мире чернорабочих атомной аварии как-то особенно трогательно выглядели милые разгоряченные лица девушек, работавших на кухне.

Весной 1987 года я уже встречал на темных, вымерших улицах Чернобыля влюбленные парочки в стандартной униформе. Интересно будет узнать о судьбе «черновыльских» семей, сложившихся в Зоне, — а таких не одна, — о судьбе их детей. Интересно не только генетикам...

Я знаю женщин, которые делят со своими мужьями все тяготы здешней полупоходной, неустроенной жизни. Но хочу рассказать о женщине, которая живет сейчас в Москве, хотя и продолжает работать на ЧАЭС. Уже в мае позапрошлого года здесь ходили слухи о жене одного из сотрудников АЭС, попавшего в московскую клинику № 6. Женщина эта будто бы пошла работать в ту больницу, чтобы быть рядом с мужем, чтобы облегчить ему страдания. Рассказывали, как после смерти мужа она продолжала ходить по палатам и подбадривать обожженных, страдающих людей, говорить им, что муж держится молодцом и они тоже должны держаться, не падать духом, а эти ребята уже знали, что муж ее умер, — и они плакали, отвернувшись к стенке.

Рассказ этот звучал как легенда, но потом я узнал, что история эта не выдумана. Я разыскал эту женщину и записал ее рассказ.

Эльвира Петровна Ситникова, инженер Чернобыльской АЭС по дозиметрической аппаратуре:

«Мой муж, Анатолий Андреевич Ситников¹, бредил этими атомными станциями. Он говорил: «Ты представляешь — держать в своих руках миллион киловатт!»

Когда началось строительство Чернобыльской АЭС, я осталась в Николаеве, у родственников, а он здесь, в общежитии, жил вместе с Орловым². Как они жили — это невероятно. Я один раз приехала, посмотрела: впроголодь, в ужасных условиях. Но им было не до того — они работали. В 1977 году, когда мы получили квартиру в Припяти, я приехала с дочерью и всегда была рядом с ним. Первый блок в сентябре пускали. Он приходил с работы... Бывало, к стене прислонится, глаза сияющие, а сам аж падает от усталости. Говорит: «Боже мой, что сегодня было... мы держали... три минуты держали блок... А казалось — три года! Мы удержали блок!»

У нас восемь лет машина была, но мы ни разу на юг не съездили. Все ему некогда было. Он не пошел в отпуск и в восемьдесят пятом году — в начале лета был назначен заместителем главного инженера по эксплуатации первого и второго блоков. А потом... потом я через год компенсацию за два отпуска получила...

Все работа и работа. До чего дело доходило: директор в отпуске, главный инженер у нас болен был, замглавного по науке в отъезде. Ситников оставался один. По станции шутки ходили: зачем, мол, администрация, если один Ситников есть. Он не боялся ответственности. Все на себя брал. Подписывал все графики. Но все изучал — дома вечером все перечеркнет, исправит, — только тогда свою подпись поставит. Я уверена, что, если бы у него этот эксперимент шел, ничего бы не было, никакой аварии. Когда пускали четвертый блок, спешили, все графики поломали. Муж выступал против спешки. Тогда первый секретарь горкома Гаманюк по плечу его похлопывает: «Ты парень горячий очень, молодой, успокойся, остепенись, нельзя так».

А в ту ночь... он просто встал да пошел, как всегда это делал. Чисто по-солдатски. Сказал мне, что случилось несчастье, надо быть там. И все...

На следующий день, поздно вечером, когда всех получивших большую дозу увозили в Москву и я прощалась с ним у автобуса, я спросила: «Толя, почему ты в блок пошел?» А он: «Ты пойми, кто лучше меня знал блок? Надо было ребят

¹ А. А. Ситников упоминается в дневнике Ускова.

² Усков в своем дневнике — помните? — говорит и о В. А. Орлове.

выводить. Если бы мы... не предотвратили эту аварию, то Украины бы точно не было, а может быть, и пол-Европы».

28 апреля я была уже в Москве, а на следующий день нашла ту клинику, где муж лежал. Конечно, меня туда не пустили. Я пошла в Минэнерго, в наш главк, и попросила помочь. Мне выписали пропуск.

Я стала работать в больнице. Носила ребятам газеты, выполняла их заказы, что-то им покупала, писала письма. Началась моя жизнь там. Мужу было очень приятно, он сам говорил: «Ты обойди всех ребят, надо их подбодрить». А ребята смеялись: «Вы у нас как мать... Вы нам Припять напоминаете...» Как они ждали, что в Припять вернутся, как ждали...

Я переодевалась в стерильную больничную одежду и ходила по всей клинике, поэтому меня принимали за медперсонал. Заходишь в палату, а там говорят: «Подними его, помоги, дай ему попить». Они такие были беспомощные... Как они умирали...

От мужа скрывала, кто умер. Он говорит: «Что-то не слышно соседа слева». Я говорю: «Да его в блок перевели...» Но он все понимал, все знал. И его переводили с места на место. То на один этаж, то на другой.

Первого мая прилетела сестра мужа, ее вызвали, она дала ему свой костный мозг. У меня такое впечатление, что пересадка костного мозга ускорила... Его организм не признавал никаких вмешательств... Последний вечер я осталась с ним. Это было двадцать третьего мая. Он мучился ужасно, у него был отек легких. Спрашивает: «Который час?» — «Половина одиннадцатого». — «А ты почему не уходишь?» Я говорю: «Да спешить некуда, видишь, как светло на улице». Он говорит: «Ты же понимаешь, что теперь твоя жизнь ценнее, чем моя. Ты должна отдохнуть и завтра идти к ребятам. Они ждут тебя». — «Толя, я же у тебя железная, меня и на тебя, и на ребят хватит, понимаешь?» Он нажимает кнопку и вызывает медсестру. Она ничего не понимает. «Объясните моей жене, — говорит он, — что ей завтра надо идти к ребятам, пусть уходит. Ей надо отдохнуть». Я до половины первого посидела, он уснул, и я ушла.

А утром прибежала, говорю: «Толя, тебя трясет всего», а он: «Ничего. Иди к ребятам, газеты отнеси». Я только газеты разнесла, а его в реанимацию увезли...

Как-то, еще в начале мая, когда сестра его еще лежала в больнице, она мне сказала: «Толя очень переживает, что волосы у него стали выпадать. Лезут прямо клоچьями». Я пошла к нему и говорю: «Ну и чего ты переживаешь из-за своих волос? Зачем они тебе? Давай разберемся четко: в кино ты не ходишь, в театр не ходишь. Сидеть в кабинете или дома работать ты можешь и в берете». Он смотрит на меня: «Это ты правду говоришь?» — «Конечно, правду, сущую правду. Во-первых, посмотришь со стороны: идет лысый человек. Вызывает невольное уважение. Видно, что умный. А во-вторых, я двадцать лет переживала, что ты меня вдруг бросишь, такой красавец, а тут кому ты, кроме меня, нужен будешь?» Он так смеялся, все спрашивал: «Нет, правда? А как же дети?» Я говорю: «Глупый ты какой. Ведь они тебя так любят, зачем им волосы твои». Я старалась отвлечь его от мыслей об аварии: «Толя, вернемся только в Припять, заживем... Я тебе такие туфли на микропоре купила...» А он: «Да, поедem только в Припять...»

Я мужу обо всех ребятах рассказывала. Об Аркадии Ускове, о Чугунове, о других. Я как связная между ними была. Там рядом лежал парень, Саша Кудрявцев. Он уже на поправку шел. У него ожоги сильные были. Я зашла, а его спиртом протирают. Он стесняется: «Не заходи». Я говорю: «Сашенька, ты стесняешься меня? Это же хорошо, значит, ты жить начал. Я завтра к тебе приду, а сегодня газетки положу». Завтра прихожу, а мне говорят: «Нет Саши. Умер...»

Я еле в те дни ходила. Ни спать не могла, ни есть.

А в то утро, когда мужа в реанимацию увезли, я ненадолго отлучилась из больницы, а пришла снова — сиделка в приемном покое говорит, что мой муж умер...

Анатолий Андреевич умер в десять тридцать пять утра...

Я к врачу бросилась: «Василий Данилович, он умер? Мне к нему надо!» — «Нельзя». — «Как нельзя? Он же мой муж!» Махнул рукой: «Пойдемте». Пошли. Я простыню откинула, трогаю его руки, ноги, говорю: «Толя, ты же не имеешь права, ты же не можешь! Ты же не должен! Ты же... Столько энергетика твоя эта дурацкая теряет...» Я уже не ощущала, что мужа теряю, а вот то, что такой

человек уходит... это... это меня бесило. Сколько он бы мог сделать...

На поминках Кедров встал и говорит: «Ребята вас просят, чтобы вы вернулись в больницу. Они сразу почувствовали: что-то случилось, раз вас нет». — «Хорошо, — говорю, — только три дня мне дайте, пока...» И я отвернулась.

После смерти мужа я проработала в больнице больше месяца — до седьмого июля. Заходила к Дятлову, тому, которого винили в аварии... Он был в очень тяжелом состоянии. Я с ним много разговаривала... Потом, когда меня спрашивали про Дятлова, я отвечала, что, если бы все повторилось сначала, я бы все равно пошла к нему. Потому что 20 лет, которые нас связывают, — разве это так просто выбросишь? А что он что-то не так сделал — за это понесет наказание. Не в моей компетенции судить его. Врачи же всех лечат...

Очень горько было ходить на Митинское кладбище... Там поначалу даже цветы с могил убирали. Поставишь — а через два дня цветов нет. Пошли такие разговоры, что у чернобыльцев даже цветы «грязные» на могилах становятся. Приказ будто бы был такой — убирать цветы. Тогда я пошла к Владимиру Губареву, тому, что «Саркофаг» написал. Рассказала ему об этом. После этого перестали цветы убирать...

Не брошу свою «железку»

Миновав милицейскую заставу, мы попали в пустую Припять. Стоят в безмолвии 16-ти и 9-этажные дома, а строительные краны застыли над новостройками — кажется, что работы прерваны на обеденный перерыв. Колхозный рынок при въезде в город превращен в кладбище легковых автомобилей, на котором ржавеют сотни машин — им уже не суждено выйти отсюда. Не видно кошек, собак, даже птиц — и вовсе не иронически звучит парафраз из Гоголя: «Редкая ворона долетит до центра города из соседних полей». Лишь время от времени по центральной площади, где по-прежнему красуется лозунг: «Хай буде атом робітником, а не солдатом!», — промчится бронетранспортер или милицейская патрульная машина.

Я приехал в Припять с Александром Юрьевичем Эсауловым, зампредом Припятского горисполкома, и главным архитектором Припяти Марией Владимировной Проценко. Ей, вложившей столько сил и таланта в убранство родного города, пришлось потом собственноручно вычерчивать схему ограждения Припяти рядами колючей проволоки. Эсаулов и Проценко пошли в здание исполкома — забирать какие-то свои бумаги, я же сел в машину, включил дозиметр, который сразу же засвистел, запел неумолчную песнь радиации, — и на фоне этого «щебета» стал записывать на магнитофон свои впечатления. Было это в первую годовщину аварии.

На клумбе выросли сиротливые желтые гиацинты — Мария Владимировна сорвала их на память об этом дне. В сопровождении милиционеров в серых бушлатах мы вошли в дом по улице Героев Сталинграда, 13, в котором до аварии жила Проценко с мужем и двумя детьми.

В выхоленном за зиму доме стоял мертвящий запах запустения. Отопление отключали, потом включали, и в части квартир батареи лопнули. Вода залила перекрытия, а это значит, что через несколько зим и весен дом будет разорван. На площадке пятого этажа увидели цветной телевизор, кем-то выставленный из квартиры. Двери всех квартир на этажах, за исключением первого, были распахнуты, на некоторых — следы взлома. Распахнуты и дверцы престижных, до абсурда одинаковых во всех квартирах югославских и гдээрзовских «стенок»...

Бывшие жители Припяти рассказывали мне, что, приезжая за вещами, многие недосчитались фотоаппаратов, магнитофонов, радиоаппаратуры. Мародерство, кража радиоактивных вещей, грабеж беззащитного города и окружающих сел — что может быть омерзительнее?

С тяжелым чувством мы вышли на улицу. Если сам город напоминал выставленного на всеобщее обозрение покойника, умиротворенного в своем вечном сне, то посещение дома оставило после себя тошнотворное впечатление вскрытия трупа со всеми натуралистическими подробностями, известными врачам и служителям морга...

Из письма Павла Мочалова, г. Горький:

«Я студент 5-го курса Горьковского политехнического института, физико-технического факультета, специаль-

ность — «АЭСиУ». С 22 июля по 3 сентября я и еще 13 человек, таких же студентов ГПИ, работали в Зоне. Это был отряд добровольцев с необычной производственной практикой. Работали дозиметристами в Чернобыле, на АЭС, но главным образом в Припяти.

Единственным местом в 50-тысячном городе, где спустя 2 месяца после аварии неровно, но постоянно бился тихий пульс некогда кипящей жизни, был городской отдел УВД. Сюда стягивались тысячи нитей — сигнализаторов системы «Скала», а камера предварительного заключения (КПЗ) была самое чистое в радиационном отношении место. Во время нашей работы 2-й и 3-й этажи здания напоминали кадры из фильма об отступлении. Раскрыты все кабинеты, поломаны стулья, везде разбросаны противогазы, респираторы, индивидуальные аптечки, форма с лейтенантскими погонами, литература по криминалистике, картотека с личными делами разных нарушителей, чистые бланки с грифом «совершенно секретно» и много других вещей... Очень четкая, предметная фотография тех трагических событий, немое свидетельство чего-то ужасного, нереального.

Спустя 2 месяца после аварии (а не через 3 дня, как обещали при эвакуации) жителям было разрешено приехать очень ненадолго, чтобы забрать кое-что из личного имущества.

В спецодежде не по размеру, с неумело завязанными респираторами, они подходили к своим родным домам. Редко кто из них не плакал. Надо было видеть, как из-за дрожи в руках они не могли открыть квартиру, как потом хватали первое, что попадалось под руку, со словами: «Померь это». Надо было видеть глаза невесты, когда ее свадебное платье оказалось «грязным». Надо было видеть состояние молодых супругов, когда в их комнате, в общежитии по улице Курчатова, оказалось разбитым окно, и увозить было нечего...

Нередко фон в квартире намного превышал жесткий норматив на вывоз. Приходилось измерять фон где-нибудь в ванной, туалете. Очень немногие вещи укладывались в норматив. Встречались такие люди, кто, выслушав увещевания о вероятности связи радиации и раковых заболеваний («Подумайте о своих детях!»), и все предостережения насчет «грязи» в коврах, насчет повторного контроля на выезде из Зоны (кажется, в Диброве), — выслушав и со всем согласившись, умудрялись каким-то образом вывезти все. О дальнейшей судьбе этих вещей остается только гадать. Были разговоры о сдаче их в комиссионный магазин. Если это так, то это очень страшный факт. К сожалению, дозконтролем на выезде наш отряд не занимался, хотя несколько раз проездом мы бывали там. Можно только сказать, что там были условия для более точных замеров (фон был меньше во много раз), что дозконтроль также проходил очень нервно, ибо на глазах людей забирали их вещи, бросали в железные контейнеры. Иногда с элементами вынужденного вандализма (били дорогую радиоаппаратуру, чтобы не было соблазна на «грязную» вещь).

Попадались и такие жители Припяти, которые, узнав о «загрязненности» своих вещей, брали топор и крушили, «чтобы вам не досталось!». Были и такие, которые совали деньги, водку и думали, что от этого их ковры станут «чище». Но все это единицы, исключения».

В прессе много писалось о героическом труде военнотружеников, дозиметристов, строителей саркофага. Но нигде не встречал я рассказа о работе «низовых» представителей Советской власти — сотрудников Припятского горисполкома, о его председателе А. Веселовском, об А. Эсаулове, М. Боярчук, А. Пухляке, М. Проценко и других, которые непрерывно в течение полутора лет после аварии ездили по служебным делам в свой родной город. Они жили и работали в сквернейших бытовых условиях, зачастую с пренебрежением относились к правилам безопасности и дозиметрическому контролю (так, А. Эсаулов до сентября 1986 года вообще не имел дозиметра), но, невзирая ни на что, делали свое малоприметное, но очень нужное дело.

Обыденность? Бюрократия? Рутинность? Железная инерция Административной Системы? И то, и другое, и третье. Но все-таки какая же обыденность может быть в экстремальных, почти фантастических условиях, в которых не довелось действовать ни одному исполкому, ни одной мэрии в мире? Ведь речь шла о городе, навсегда стертом со всех географических карт, умершем как социальная единица.

Что же касается бюрократии, то она, конечно, была, родимая наша, привычная. Куда же ей деться? Только в Зоне она становилась еще абсурднее.

С человеком, рассказ которого я приведу, я познакомился осенью 1986 года в Ирпене, на первом этаже местного исполкома, давшего приют Припятскому горисполкому. В то время здесь стояли толпы людей, требовавших получения компенсации, решения своих неотложных вопросов. В вестибюле я заметил крепкого мужика лет 45-ти, мнявшего со злостью в руках зимнюю шапку. Мужик тихо матерился. Познакомились.

Александр Иванович Хорошун, бывший житель г. Припяти, ныне проживающий в г. Мегион Тюменской области:

«Я раньше работал на строительстве ЧАЭС, потом там дела пошли плохо, заработки упали — и я уехал в Сибирь на шашку. А жена осталась в Припяти, работала на ЧАЭС. У нас была машина «Запорожец». После эвакуации жена с детьми ехала ко мне через Москву. Ее в Москве «отловили» дозиметристы, положили в больницу. Ключи от гаража и «Запорожца» изъяты. Известное дело — женщина, растерялась, ключи отдала.

Когда я узнал, что можно посетить квартиры и получить деньги за машины, приехал сюда. Капитан Ключко сказал мне, чтобы я снял номера от машины и привез их ему. Еду в Припять. Ключей от гаража нет, гараж закрыт. Ладно. Я прокопал траншею под гараж, снял номера, привез их Ключко. Он требует ключи от гаража и машины. Но ключей нет! Здесь и началось. Он вернул мне номера и потребовал, чтобы я пригнал машину, на что я ответил, что машина не на ходу, аварийная. Ее сын за год до аварии где-то стукнул. Меня направляют к товарищу Польскому — флегматичному молодому человеку, который с недовольным видом взирал на меня. Объясняет, что нужно ждать товарища Печерского, представителя Припятского горисполкома. Печерский потребовал вскрыть гараж. Я снова прорыл траншею, влез в гараж, открыл внутренний запор ножовкой, взятой в гараже, спилил дверные проушины — гараж вскрыт! Номера деталей, узлов машины совпадают! Хотя, между прочим, в гараже довольно высокий уровень, и у меня башка трещит, словно принял 600 граммов. От радиации. Но я тихо радуюсь. Все, кажется, отлично. Но! Теперь надо, чтобы приехала сюда комиссия и оценила машину. Но зачем тогда Польский и Печерский? Кто они? Зачем они? Я их об этом спросил.

Сколько я могу торчать в Диброве? Что мне делать? Я за этого «Запора» отвалил 5100 рублей, я его покупал за «голую» зарплату. Нет у меня и не было нетрудовых доходов. 47 тысяч километров — это не пробег. Да, ремонт нужен, но есть комплект резины, запчасти, лаки-краски, гаражное оборудование. И у меня больно на душе, что я бросаю свою «железку» — попробуй снова ее наживи! Но я понял, что на комиссии я споткнулся — их не заманишь и калачом в гараж. Справку двухгодичной давности о том, что я никого не убил на своей машине, я в Припятской ГАИ не найду, потому что самой Припятской ГАИ уже нет, я еле нашел ее остатки в Зорине. Даже постовые не знали, где ГАИ. Но я все-таки нашел. Начальник был болен, температурил. Принял меня начальник угрозыска. Послушал и сказал, что по идее Польский-Печерский должны были отметить в техталоне НАЛИЧИЕ машины, не входя в радиоактивный гараж, посветив только фонариком.

А в отношении справки, что я никого не задавил (машина-то битая), — это забота угрозыска. Он меня заверил, что я (то есть сын) был бы найден максимум через полгода после совершения ДТП. Я все это доложил Польскому-Печерскому, согласился на 50 процентов износа, в конце согласился даже на 60—70 процентов износа, только чтобы эти мытарства закончить. Поделится своей обидой с секретарем Припятского горисполкома Марией Григорьевной Боярчук. Она меня выслушала, посоветовала все описать и подарила надежду. Спасибо ей! Спасибо капитану милиции Филипповичу — без проволоочки дал мне пропуск в Зону, спасибо старшему на КПП Припять капитану милиции, дежурившему 22 ноября 1986 года, — он без проволоочки допустил меня в гараж. С тем и уезжаю».

Весной 1987 года я получил от А. Хорошуна письмо из Сибири, в котором он рассказывал дальнейшие подробности своей «запорожской одиссеи»:

«Предгорисполкома Припяти Веселовский выслал мне назад техпаспорт и мое заявление и написал, что машину нужно сдавать лично самому владельцу с четвертого апреля. Неужели мне снова надо ехать в Припять? Снова обивать пороги инстанций? Небось придется доставать подъемный

кран, платформу и везти мою машину на сдачу. Где я достану эту технику? Да ведь очень просто вычестить из стоимости машины стоимость побитого кузова, стоимость затрат за использование техники, износ. Остальное выплатить владельцу. Ведь это жуткое дело — вылететь в апреле в Европу. Только в Мегроне желающих вылететь 1708 человек, не считая Нижневартовска, да и в Усть-Каменогорске столько же. Боже, как я не люблю Европу! Я с первого кола строил АЭС и Припять, а мне такое наказание. Хотя бы тыщонки полторы компенсировать из 5100 рублей».

О «соловьях Чернобыля»

В первой части повести, стараясь сохранять максимальную объективность, я писал, что «не медики командуют каналами массовой информации. И самые важные решения принимают также не медики». Это так. Но, будучи допущенными к каналам массовой информации, иные из моих коллег столько всего нагородили, что просто диву даешься. Народ окрестил медицинских златоустов, заполнивших эфир и печатные страницы своим бодрым щебетом, «соловьями Чернобыля». И это о тех, кто должен быть заступником людским, целителем ран не только физических, но и душевных. Ведь здравоохранение наше, вышедшее из медицины земской, получило в наследство высокие и благородные отечественные традиции милосердия и правдолюбия, ответственности перед народом за слова свои и деяния. Видать, растеряла наша официальная медицина все это дореволюционное богатство на казенных путях услужения сильным мира сего, в спецстоловых и прочих местах соприкосновения с кастой «избранных».

Говоря все это, я нисколько не преуменьшаю заслуг тысяч рядовых врачей и медсестер, лаборантов и санитарок, честно выполнявших свой профессиональный и гражданский долг в трудные дни Чернобыля. Но на этот раз речь не о них.

С первых дней аварии телевизионной «звездой» № 1 стал заместитель министра здравоохранения СССР, главный государственный санитарный врач Украины А. М. Касьяненко. Не будучи специалистом по радиационной медицине (помнится, что кандидатскую диссертацию он написал в Днепропетровске на темы некоей болезни, передающейся от коровы к человеку), он уверял своих слушателей, что все прекрасно в этом чернобыльском мире, и чем более пылко уверял, тем меньше верили ему люди. Вот далеко не полные (по газетному изложению) образчики этой «пропаганды»:

«На территории нашей республики в большинстве областей все возвратилось к норме, которая была до аварии... В городе Киеве нет предпосылок для того, чтобы предпринимать какие-либо особые меры... Вызывает удивление стремление некоторых женщин прервать свою беременность. Не имеет под собой реальной почвы и желание некоторых из них выехать на период беременности и родов за пределы Киева и даже нашей республики... Не следует отказываться, как это делают некоторые, от употребления в пищу куриных яиц... Рыбу... в Киевском море, Днепре и Десне... можно спокойно ловить, жарить, варить, употреблять в любом виде...»

А как быть с купанием? Об этом уже писали газеты. Если стоит хорошая погода, если светит солнце, если хорошее настроение (!), то можно идти купаться. Это относится к Киеву, области, за исключением тех районов, где введены ограничения... Ныне здоровью детей ничто не угрожает... Нет оснований отказываться от употребления малины, клубники, черники... Другое дело — смородина и крыжовник. Не рекомендуется их употреблять в свежем виде в Черниговской, Киевской и Житомирской областях... Требование уборки помещений с пылесосом всегда остается в силе».

(Из беседы по республиканскому телевидению заместителя министра здравоохранения СССР А. М. Касьяненко и других специалистов-медиков, «Вечерний Киев», 1 июля 1986 г.)

А вот что говорил А. М. Касьяненко в другом выступлении по республиканскому телевидению («Вечерний Киев», 26 сентября 1986 г.):

«На всей территории республики радиационная обстановка, по сути (!), возвратилась к тому состоянию, которое было до аварии на Чернобыльской АЭС. Гамма-фон практически нормализовался... Специальные исследования рыбы были проведены в Киевском и Каневском водохранилищах, в Десне и Конче. Повода для опасений они не дали. Такое

же положение и с грибами. Нужно лишь быть предельно внимательным и осторожным при их сборе, брать только съедобные грибы. И при этом помнить: грибы быстро портятся, образуя ядовитые вещества...»

Вспоминаю, как этим выступлением заместителя министра были возмущены рядовые врачи Полесского района, ибо прахом пошла вся их разъяснительная профилактическая работа; часть населения района, особенно дети, ринулась в леса по грибы, хотя леса эти, лежащие в полосе выброса, еще «светили»...

Стоит ли удивляться, что в ответ на такие «откровения» посыпались возмущенные письма. Приведу одно из них:

«На кого рассчитана такая информация? Выступая уже дважды, Касьяненко не приводит ни единой цифры, ни одного результата анализов или замеров. Он даже не упоминает об огромной беде, которая затронула такие территории, загрязнила и оставила следы. Из его слов следует, что можно и реакторы взрывать и, видимо, атомные бомбы бросать,— все будет в порядке. Причем основные доводы у него, «я вам говорю, что все в порядке». И все это преподносится на фоне выступлений «Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Літературної України» и многих других источников, где выступают честные ученые и видные деятели, которые называют вещи своими именами, как того требует XXVII съезд партии и сегодняшняя обстановка... Киев, 1 октября 1986 г., ул. Энтузиастов, 29/2, кв. 25, Проклов и еще десять подписей».

Но вершиной творчества киевских «анестезиологов», пытавшихся любой ценой успокоить общественное мнение, стала брошюра В. П. Антонова, начальника управления Минздрава СССР: «Радиационная обстановка и ее социально-психологические аспекты», изданная в прошлом году в Киеве обществом «Знание» тиражом в 92 175 экземпляров. Приведу некоторые откровения автора, представленного «врачом-радиологом»:

«Поскольку в г. Киеве было МЕНЬШЕ ВСЕГО ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТРЕВОГ И БЕСПОКОЙСТВА (здесь и далее выделено мною.— Ю. Щ.) и вместе с тем именно среди его населения циркулировало наибольшее количество тревожных слухов, необоснованных рекомендаций и домыслов, есть необходимость кратко остановиться на радиационной обстановке на его территории. Тем более что численность его населения составляет значительную часть всего населения, **ВОВЛЕЧЕННОГО В СФЕРУ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ТРЕВОГ**.

Между прочим, это закономерное явление, которое можно назвать «психологическим феноменом большого города». ЕГО ПРИЧИНА В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПРОСЛОЙКЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ — ОСНОВНОМ НОСИТЕЛЕ И ИСТОЧНИКЕ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТВРАЩЕНИЯ» К РАДИАЦИИ, воспитанного долготейшей антивоенной, в частности антиядерной, пропагандой. Никто так глубоко не впитал неприязнь к этому новому поражающему фактору, свойственному только ядерному оружию, КОТОРЫЙ ЭМОЦИЯМИ МНОГИХ ЖУРНАЛИСТОВ ОКРАШИВАЕТСЯ В БОЛЕЕ (!!!) МРАЧНЫЕ КРАСКИ, НЕЖЕЛИ БОЛЕЕ ПРИВЫЧНЫЕ ФАКТОРЫ (!), с которыми связаны давно знакомые виды поражений (ранения и ожоги).

Об этом свидетельствуют хорошо известные киевлянам факты невозвращения части школьников к началу учебного года, трудные семейные дилеммы по поводу возвращения детей младших классов, изобретательность в поисках «чистых кормов» за пределами даже республики. О глубине фобических (фобия — боязнь.— Ю. Щ.) реакций свидетельствует также анализ рекламных объявлений граждан по обмену квартир, подтверждающий «падение акций» такого прекрасного города, как Киев, в системе междугородного обмена. Число граждан, желающих въехать в Киев, в 1986 году по сравнению с 1985 годом сократилось на треть, а желающих выехать из Киева — увеличилось в 3 раза».

Итак, главная причина всех неприятностей — интеллигенция! Вот бы нашим минздравовским «анестезиологам» да неграмотный народ! Вмиг бы его успокоили.

Касаясь будущего, автор заявляет: «Еще раз хотим твердо подчеркнуть, что у подавляющего большинства населения ожидать каких-либо осложнений в состоянии здоровья или заболеваний, непосредственно связанных с воздействием радиации, нет никаких реальных оснований. Но, несомненно, главными проблемами являются психологические, последствия которых могут оказаться неизмеримо более неблагоприятными. Имеются основания ожидать опосредованные последствия в виде различных отклонений в показателях

здоровья и даже некоторых заболеваний у той части населения, которая оказалась во власти необоснованных страхов и тревог, во власти радиофобии... Для изучения этих вопросов в результате аварии на ЧАЭС СОЗДАЛИСЬ УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Это, между прочим, и является одним из важных направлений деятельности созданного в Киеве Всесоюзного научного центра радиационной медицины АМН СССР. Мы подчеркиваем это, так как в связи с его созданием циркулировало немало кривотолков и слухов, способствующих психологической напряженности: «Раз создан такой центр, значит, плохи наши дела».

Расправившись с интеллигенцией, антивоенной пропагандой и безосновательными страхами, В. Антонов обращает свой взор к доктору Гейлу:

«Остается прокомментировать напугавшее некоторых граждан заявление Гейла в известном телесте. Во-первых, доктор Гейл гематолог, но никак не специалист в области радиационной безопасности, тем более эксперт, как он был представлен с телеэкрана.

Во-вторых, многие услышали и запомнили количество названных раковых заболеваний, но пропустили мимо ушей — на какую численность населения (?) или на какое количество естественных случаев рака... Во всяком случае, будучи врачом, Гейл ОБЯЗАН БЫЛ с учетом силы психологического воздействия таких заявлений более четко изложить это, подчеркнув необходимость их относительной оценки, но не сделал этого, ТО ЛИ В СИЛУ СВОЕЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ В ЭТИХ ВОПРОСАХ, то ли других причин, которые нам неизвестны».

В апреле 1987 года на пресс-конференции в Минздраве СССР я задал вопрос об отношении киевских медиков к прогнозам доктора Гейла.

Вот что мне ответил заведующий отделом Всесоюзного научного центра радиационной медицины АМН проф. И. А. Лихтарев:

«Декларация каких бы то ни было цифр через эфир о будто бы возрастании в будущем раковых заболеваний без их сопоставления со спонтанным уровнем увеличения болезней от воздействия химических загрязнений, нездорового образа жизни, ухудшения экологической обстановки в промышленных городах — ничего, кроме вреда, принести не может... Вот уже третье поколение японцев там выросло (после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.— Ю. Щ.), а генетических изменений там нет. Ученые много спорят, изучают этот феномен. Однако факт остается фактом. И обо всем этом хорошо известно доктору Гейлу, РЕШИВШЕМУ НА НАШЕМ ГОРЕ СДЕЛАТЬ СВОЕЙ ПЕРСОНЕ НЕПЛОХУЮ РЕКЛАМУ» («Вечерний Киев», 21 апреля 1987 г.).

Итак, мало того, что доктор Гейл некомпетентен, как уверяет нас В. Антонов, медицинский чиновник, не имеющий отношения ни к больным, ни к лаборатории. Оказывается, д-р Гейл еще и делает на нашем горе себе рекламу! Кто же поучает врача Гейла? Профессор Лихтарев, не медик, а физик по профессии (!), не имеющий вообще морального права оценивать врачебные качества д-ра Гейла...

Послушайте, мы когда-нибудь станем нормальными, воспитанными людьми, умеющими вести корректную научную дискуссию, а не лакейски-кухонную свару с приклеиванием ярлыков в стиле сталинских времен? Почему же нравственное чувство людей без медицинских дипломов безошибочно подсказало им, что так нельзя, так неприлично? Вот что написала мне читательница из Киева:

«Я возмущена отношением к профессору Р. Гейлу наших украинских медиков. Ведь это не секрет, что доктор Гейл оказал очень большую помощь нашей стране после чернобыльской аварии. Зачем же поносить его, да еще с такой высокой трибуны? Ведь эту пресс-конференцию слушала вся Украина.

Экономист О. В. Глазова, Киев, Владимирская, 18/2, кв. 46».

Итак, восстановим истину.

Из сообщения ТАСС: «Копенгаген, 31 августа 1986 г. (ТАСС). В здании датского фолькетинга проходит симпозиум по проблеме оказания гуманитарной помощи населению в катастрофических ситуациях. Участники обсуждают вопрос «О праве людей на гуманитарную помощь в свете катастрофы в Чернобыле». Американский врач Р. Гейл весьма высоко отзывался о докладе, представленном советской стороной в МАГАТЭ... Он заявил, что Советский Союз дал неожиданно довольно мрачную оценку последствий аварии в Чернобыле. «Русские считают, что около 150 тысяч человек во всем

мире заболеют раком вследствие чернобыльских событий, из них половина умрет. Эта цифра весьма завышена. Я считаю, что она должна быть в десять раз меньше», — указал Р. Гейл. Он заявил, что эта цифра не столь велика, если сравнить ее с числом заболеваний раком в течение 70 лет из-за курения и использования угля в качестве топлива. Общее число заболеваний раком вследствие аварии на советской АЭС возрастет лишь на один процент, сказал Гейл».

А 1 апреля 1988 года в газете «Правда» появилась статья доктора Гейла «Точка жизни во Вселенной»:

«Сейчас многих интересуют возможные долговременные последствия аварии. Превалировало научное мнение, что поскольку их размеры не определены, то результатом публичной дискуссии может стать неоправданное беспокойство, и она может нанести вред. Хотя эта точка зрения и оправдана, такую политику надо сбалансировать равнозначно важным и убедительным обсуждением: право общества на полную информацию. Более того, информационный вакуум часто ведет к нереалистичной обеспокоенности, спекуляциям и обвинениям в утаивании».

Эту простую истину, кажется, полностью игнорируют сановные республиканские медики, забывшие, что они несут ответственность перед своим народом, а не только перед своим начальством.

Но, пожалуй, дальше всех продвинулся профессор О. А. Пятак, заместитель директора новообразованного Всесоюзного центра радиационной медицины АМН СССР в Киеве. В статье под идилическим названием «Мирный атом: сосуществование необходимо» («Вечерний Киев», 1 февраля 1988 г.) он заявляет:

«Врачи с полной ответственностью утверждают: при нормальном функционировании атомные станции не представляют опасности как для окружающей среды, так и для персонала, который там работает. Ну, а обеспечение нормальной работы станции — это уже другой вопрос, к которому надо подойти со всей ответственностью. Думаю, что авария в Чернобыле многому нас научила. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРИЗНАЕМСЯ: РАЗВЕ НЕ СВЯЗАНА С ОПРЕДЕЛЕННЫМ РИСКОМ РАБОТА ВОДИТЕЛЯ ИЛИ ШАХТЕРА, ЛЕТЧИКА ИЛИ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА?

...Теперь стало ясно, что меры, предпринятые после аварии, ОКАЗАЛИСЬ НАСТОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫМИ (я имею в виду и эвакуацию, и особенности хозяйственной деятельности в затронутых выбросом районах, и контроль за продуктами, и обвалование водосток, и так далее), что СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ ОСТАЛОСЬ ТАКИМ ЖЕ, КАК И ДО НЕЕ...»

С такой же легкостью невероятной О. Пятак клянется в полном отсутствии какого-либо вредного воздействия радиации на здоровье людей, хотя прекрасно знает, что последствия сказываются много позже — через 5, 10, 20 лет. Впрочем, знает ли? Я не поленился, сходил в Республиканскую медицинскую библиотеку, просмотрел список трудов О. Пятака: ни одной статьи по вопросам радиационной медицины. Заурядные терапевтические работы. Вот как «взаимодействуют» некоторые медики Киева с «мирным» атомом.

Поймите меня правильно. Я врач и знаю, что такое деонтология (наука о должном поведении врача). Я не призываю к раздуванию панических настроений, к запугиванию людей возможными последствиями. Дай бог, чтобы их вообще не было. Но я против того, чтобы делать из людей дураков. Есть серьезная общедоступная литература о последствиях облучения. Прочитую лишь книгу «Химия окружающей среды», изданную в 1982 году в Москве:

«...Многие заболевания, которые никогда ранее не связывались с уровнем радиации, например, инфекционные заболевания (грипп и пневмония), а также хронические заболевания (эмфизема, болезни сердца, диабет, заболевания почек и паралич) в действительности существенно зависят даже от малых доз облучения».

Итак, люди информированы. Люди встревожены вполне обоснованно. Так разговаривайте с ними на уровне, достойном нашего сверхсложного века НТР, на уровне гласности. Не запугивайте их, но и не распевайте соловьиные песни. Думайте о будущем. Думайте о чистоте вашего медицинского халата — нравственной чистоте. Не подпевайте тем, кто побыстрее хотел бы забыть о Чернобыле. Есть такие люди. Есть и такие, кто с очень короткой, мизерной дистанции двух лет, когда еще все свежо в памяти, пытается представить события, разыгравшиеся в первые дни после аварии, на уровне плаката по гражданской обороне, на котором нарисовано все как надо, ну, просто идеально:

«В реальной ситуации, возникшей после чернобыльской аварии, распространение радиоактивности имело чрезвычайно сложный характер, что затрудняло составление прогноза. А чтобы эвакуировать население, надо точно знать радиационную обстановку, дать рекомендации, куда именно вывезти людей, чтобы вновь не попасть в опасные районы. 26 апреля такой ясности еще не было. Более того, в этот день радиационная обстановка в самом городе Припяти была относительно благополучной — об этом часто забывают, а то и искажают факты. **СРАЗУ ПОСЛЕ АВАРИИ (!) БЫЛО РЕКОМЕНДОВАНО ЖИТЕЛЯМ СОКРАТИТЬ ПРЕБЫВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕ ОТКРЫВАТЬ ОКНА, А ЗАНЯТИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ВО ВСЕХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БЫЛИ ЗАПРЕЩЕНЫ. МЕДИЦИНСКИЕ БРИГАДЫ ПРОВЕЛИ ЙОДНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ ДЕТЕЙ.** Таким образом, те, кто находился в помещениях, подверглись значительно меньшему воздействию гамма-излучения.

В ночь на 27 апреля радиационная обстановка начала резко ухудшаться, поэтому в 12 часов дня и было принято решение об эвакуации. Замечу кстати, что критерий «б», **КОГДА ЭВАКУАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА, ТАК И НЕ БЫЛ ДОСТИГНУТ (!)** — это показали наши исследования» («Диагноз после Чернобыля». На вопросы корреспондентов отвечает академик АМН СССР Л. А. Ильин. «Вечерний Киев», 6 февраля 1988 года).

О том, как было сразу после аварии «предупреждено» население Припяти, рассказывалось и на страницах этой повести, и в других публикациях. О «качестве» йодной профилактики детей можно будет судить по состоянию их щитовидной железы — если, конечно, данные эти будут обнародованы. Ну, а то, что эвакуация вовсе не была обязательна, — одно из самых замечательных открытий после Чернобыля. В дополнение к нему мне остается лишь привести фрагмент из судебного приговора:

«Узнав о том, что уровень радиации в некоторых местах значительно превышает допустимый, Брюханов из личной заинтересованности — с **ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ВИДИМОСТИ БЛАГОПОЛУЧИЯ В СЛОЖИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКЕ** — умышленно скрыл этот факт. Злоупотребляя своим служебным положением, представил в вышестоящие компетентные организации данные с заведомо заниженными уровнями радиации. Необеспечение широкой правдивой информацией о характере аварии привело к поражению персонала станции, **НАСЕЛЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕЙ МЕСТНОСТИ**» («Московские новости», 9 августа 1987 г.).

Если прав академик Л. А. Ильин, то, стало быть, надо немедленно освободить Брюханова как невинно пострадавшего.

...На тихой (а ныне мертвой) улице Богдана Хмельницкого, что в городе Чернобыле, выросло светло-желтое сборное здание из алюминия, в котором сейчас располагается Правительственная комиссия по ликвидации последствий аварии.

Ушли в прошлое сумасшедшая нервотрепка 1986 года, ежедневные заседания ПК, БТРы, грохочущие по дороге к АЭС, неустроенность быта. Но работа осталась: разминирование радиоактивной мины замедленного действия, дезактивация огромных площадей Зоны, строений, складов, ряда помещений АЭС. Для проведения этой работы было создано мощное производственное объединение «Комбинат». Кроме разных технических служб, при нем в феврале 1987 года образован отдел информации и международных связей. Этот отдел располагается в одном из отсеков «подводной лодки», как именуют старожилы Чернобыля новое здание ПК, в котором все есть для автономного «плавания»: гостиница, кухня и столовая, средства связи со всем миром, пост дозиметрического контроля и рабочие помещения.

При входе в отдел висит карта мира — из разных континентов, из многих стран мира указующие линии тянутся сюда, в Чернобыль. Руководит отделом молодой, контактный человек — Александр Павлович Коваленко. Сегодня он достаточно известен за границей и почти не известен у нас в стране. Так уж сложилось, что сегодня на Чернобыльскую АЭС приезжает больше иностранных корреспондентов, нежели советских. Коваленко отвечает на их вопросы и сопровождает их в поездках на АЭС и в город Припять.

Александр Павлович Коваленко:

— Ни для кого не является секретом — это видно из анализа нашей прессы, — что мы публиковали очень много противоречивых сообщений, не совпадающих одно с другим.

Я уже не говорю о начальном периоде аварии... Уже 5 мая газета «Интернешнл геральд трибюн» опубликовала карту распространения радиации с подробными сведениями об уровнях в СССР и Европе, а жители Киева не имели об этом ни малейшего представления. Разве это нормально?

— Вот мы говорим, что во время аварии погибло 30 человек — от острой лучевой болезни, от травм и ожогов. Это понятно. Но ведь были жертвы и при ликвидации аварии...

— Конечно, было всякое... Зачем это скрывать — мне непонятно. Так, 6 октября 1986 года во время проведения работ над саркофагом разбился военный вертолет. Экипаж из четырех человек погиб. Существует много версий, почему это произошло. Но ясно одно: они задели лопастями за тросы крана, и вертолет перевернулся... Эта трагедия случайно снята на киноленту. Мы должны знать, какой нелегкой ценой нам досталась победа над «мирным» атомом.

— Вас удовлетворяет то, что сегодня сообщают — весьма редко — украинские газеты, радио, телевидение? Ведь народ все еще волнуется.

— Нет. Информация совершенно недостаточна. Нам вообще нужно смотреть и анализировать, как развиваются слухи. Надо давать населению такую информацию, которая бы мобильно реагировала на появление различных домыслов. Мы в нашем отделе ввели «прямой провод». И мы теперь знаем, какие слухи возникают среди населения. Мы объявили номер нашего телефона в Чернобыле — 5-28-05 — и отвечаем каждому, кто позвонит нам. Кстати, порою случается так, что из-за рубежа идет звонков больше, чем из Киева. Но когда мы пытаемся мобильно реагировать и давать информацию по украинскому радио или телевидению, то она гибнет в недрах этих организаций. Слухи нам удавалось отсекал только при помощи разговора по «прямому проводу». Но это личный разговор, и эффективность его не очень велика. На массовые каналы телевидения выхода нам не давали. Вообще, проблема информации по Чернобылю — не в нежелании ее дать и не в ее «закрытости». Мы готовы ее дать. Это проблема готовности органов массовой информации. Такая информация необходима, она бы «гасила» все волны домыслов, до сих пор валом идущие по Киеву и Украине, доходящие порою и до Москвы.

— Как вы оцениваете роль медиков в эвакуации Припяти?

— Медики и гражданская оборона возражали против эвакуации. Медики думали не о том, **ЧТО ДЕЛАТЬ С НАСЕЛЕНИЕМ**, а о том, **КАК ОНИ БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПЕРЕД СОБСТВЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ**. Инициатором эвакуации был Борис Евдокимович Щербина. Окончательное решение было подписано 27 апреля в 12 часов дня. Оно было бы подписано гораздо раньше, если бы не медики. Они тянули время и подписались последними.

Мне пришлось работать в Западной Сибири, а Б. Е. Щербина был сначала первым секретарем Тюменского обкома КПСС, а затем — министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. В Тюменской области нередко случались ситуации, которые требовали принятия экстренных решений. Например, когда произошла крупная авария на линиях электропередач, питающих Нижневартовск, — разлилась нефть и затем загорелась, и город остался без тока; или когда поселок Мамонтово остался без тепла — слабая подготовка к зиме вызвала аварию. И сама жизнь учила тогда, что лучше в таких ситуациях эвакуировать население на один-два дня, чем рисковать здоровьем и жизнью людей. За Б. Е. Щербиной — большой опыт принятия самостоятельных ответственных решений, а не трусливого ожидания указаний свыше. В Западной Сибири вообще был иной стиль работы, чем на Украине до аварии. Я вам скажу, что, когда попал в Чернобыль, я вдруг почувствовал себя вроде бы ТАМ, на Ямбурге или в Новом Уренгое, где между решением и действием не стоит огромное количество инстанций и длинных согласований.

Знать и помнить

Два ряда могил на центральной аллее Митинского кладбища в Москве. Здесь лежат те, кто работал в ту ночь, 26 апреля, на четвертом блоке, — и герои, и жертвы, и виновники... Каждый из них принял смерть достойно — лицом к опасности. Но нет до сих пор не только мемориала, но даже памятного знака на этой аллее.

Аркадий Усков говорил мне взволнованно: «Что-то делать надо и сказать честно, кто есть кто. Должны знать люди, за что отдали жизнь наши товарищи Ситников, Лопатюк, Кургуз, Кудрявцев, Баранов, Бражник...»

Из письма **Е. А. Сидоровой** (Харьков), написавшей по поручению шести персональных пенсионеров:

«Просим Вас всем нашим миром, очень просим!»

В день Чернобыля, горя всенародного и победы над бедой,— бить в набат по радио или телевидению в память и назидание потомкам!»

Юлия Дмитриевна Лукашенко, мать троих детей, преподавала в припятской школе и познала весь ужас аварии и эвакуации; ныне учительница школы № 7 в городе Белая Церковь:

«Нас, припятчан, в Белой Церкви около двух тысяч. Учителей тридцать пять человек. Землячество припятское еще существует, но уже распадается. По каморкам своим люди начинают разбегаться. И вот у нас родилась мысль о встрече всех припятцев. Особенно она укрепилась, когда мы поняли, что уже не попадем в свой город. Мы должны встретиться. Когда? Другой даты быть не могло — только 26 апреля 1987 года. В первую годовщину аварии. Мы хотели встретиться в Киеве, на Крещатике. Но потом прошел слух, что нам запретят эту встречу, будто бы бояться какой-то демонстрации.

За месяц до предполагаемой встречи я написала письмо первому секретарю ЦК Компартии Украины товарищу В. В. Щербицкому. «Уважаемый товарищ Щербицкий! Ходят слухи, что 26 апреля 1987 года встречи припятцев и чернобыльцев не будет, так как якобы кто-то боится демонстрации. Да, это будет демонстрация. Но демонстрация борьбы за мир, демонстрация за ядерное разоружение, это будет демонстрация, когда мы скажем всему советскому народу спасибо за поддержку. Было бы очень хорошо, если бы эту встречу организовали по-настоящему, чтобы мы имели возможность встретиться с работниками ЧАЭС, с героями, писателями, артистами...»

Ответа я не получила. Пришло почтовое уведомление, что письмо вручено... И сразу же в Киеве, на Троещине, где живет много наших, в Белой Церкви, везде по области провели собрания с просьбой не ехать на встречу. У нас собрание проводил человек из Киева, я не помню фамилию, интересный мужчина, он довольно высокий чин имеет там. А потом учителей наших — 35 человек — отдельно собрали, и он говорит: «Если вы поедете, вы поступите очень дурно. Если хотите, я просто запрещаю вам это делать».

Но меня сразу не сломаешь. Я все-таки была настроена ехать. Тогда буквально через день-два ко мне приезжает заведующий Киевским облоно Выговский. Побеседовал со мной. И спрашивает: «Меня послал министр просвещения узнать — что вы хотите?» Я ему сказала, что я хочу. Он: «Юлия Дмитриевна, мне велено вам передать, что у нас победы над атомной электростанцией еще пока нет. Мы еще не можем успокоиться на том, что сделано, еще не можем радоваться, не можем устраивать вам концерты в первую годовщину».

Я говорю: «А кто просил концерт? Это же кощунство — так толковать мое письмо». «Да? А мне так передали...»

Потом меня вызывает товарищ Лендрик, заведомо пропаганды у нас в Белой Церкви. Ведет меня к нашему первому секретарю Юрию Алексеевичу Красношапке. Что я, дескать, хочу? И почему написала? И кто мною, быть может, руководил? Вот какие вопросы мне задавались. Я отвечала: «Я одна писала, выражая мнение людей. Подписалась одна». Он меня долго уговаривал, чтобы я отказалась от этой идеи. И в конце концов... я уступила. Смелодушничала самым настоящим образом. Уговорили меня. Больше того — уговорили, чтобы я создала инициативную группу и сделала все возможное, чтобы никто из Белой Церкви не был на Крещатике. Мне помогала в этом одна подруга. А вторую подругу когда попросила, та сказала: «Вы предатели! Как вы можете? Я поеду!» Я ей говорю: «Ну просили же. Говорили, что там за граница бомбы готовит. Чтобы бросить в толпу и смятение вызвать. Он сказал, что наша встреча будет использована во враждебных целях».

Я уже знала, что меня на связь с заграницей проверяли — не руководит ли мною кто из-за границы. Я видела, что им самим противно все это делать. Они в глаза не смотрели, когда говорили.

Это еще не все. В воскресенье, 26 апреля, нам устроили

воскресник в школе. Ко мне подходили разные люди — из облоно, школы, смотрели так на меня, словно... Обложили меня со всех концов. Я не выдержала, пошла к первому секретарю и сказала все что думаю. «Я понимаю,— говорю,— я человек чужой, незнакомый. Но я никогда не пойму, за что вы меня оскорбили этим воскресником. За что, какой воскресник?» Оказывается, это по Киевской области устроили воскресник, по линии Министерства просвещения. Чтобы удержать наших детей и родителей от поездки в Киев...»

Теперь расскажу, как была «отмечена» у нас вторая годовщина Чернобыля. 13 апреля председателю Киевского горисполкома тов. В. А. Згурскому было подано заявление:

«Просим Вас разрешить проведение митинга общественности «Памяти Чернобыля» в воскресенье 24 апреля 1988 г. в парке Дружбы народов. Предполагаемая продолжительность митинга — с 13 до 17 часов, количество участников около 1000 человек.

Цели митинга:

1. Почтить память погибших от аварии и поклониться мужеству героев.
2. Рассеять ложные слухи о якобы ухудшившейся радиационной обстановке.
3. Призвать граждан к широкому участию в экологическом движении.

Митинг будет проходить под лозунгами: «Чернобыль — грозное предупреждение!», «Приветствуем ликвидацию ракет!», «К безъядерному миру!», «Новое мышление — надежда всего человечества!», «Поддерживаем курс партии на демократизацию и гласность!», «Больше гласности в экологических вопросах!»

На митинге предполагается выступление героев Чернобыля, ученых, писателей.

Инициативная группа также просит горисполком оказать содействие в проведении митинга:

1. Дать информацию о митинге в городской прессе.
2. Предоставить для озвучивания митинга радиотрансляционную установку.
3. Наладить работу выездного буфета.
4. Выделить наряды милиции для обеспечения общественного порядка.

В целях успешного проведения митинга инициативная группа предполагает все вопросы решать во взаимодействии с советскими и партийными органами».

Это заявление подписали восемь членов инициативной группы: Гудзенко Г. И., геофизик, инженер Института геологических наук АН УССР; Кириенко П. Н., инженер треста «Киевгеология»; Кошманенко В. Д., доктор наук, ведущий научный сотрудник Института математики АН УССР; Ольштынский С. П., кандидат наук, старший научный сотрудник Института геохимии и физики минералов АН УССР; Поташко А. С., старший научный сотрудник временного творческого коллектива «Отклик» при Киевском университете; Сотникова Р. В., инженер треста «Киевгеология»; Федоринчик С. М., аспирант отделения ЦНИИсвязи; Яковенко Ю. В., кандидат наук, научный сотрудник Института кибернетики АН УССР.

О том, как развивались события дальше, рассказывают участники инициативной группы.

Галина Ивановна Гудзенко:

«Приближалась вторая годовщина чернобыльской трагедии, вошедшей в жизнь миллионов моих земляков. В предшествовавшие месяцы и недели наше телевидение провело ряд «круглых столов» по атомной энергетике и по экологическим проблемам республики. Город полон слухов — один другого невероятнее. Митинг! Вот где можно почтить память погибших при аварии, дать возможность общественности непосредственно встретиться с учеными, врачами, участниками ликвидации последствий аварии и, возможно, рассеять вздорные слухи.

Инициативная группа собралась у Мариинского дворца, где разместился Украинский комитет защиты мира, в рамках которого начала действовать экологическая организация «Зелений світ». Но, увы,— слаб пока наш защитник природы и человечества — взять на себя ответственность за проведение такой акции, как митинг трудящихся, «Зелений світ» не решился. Тут же было решено обратиться за помощью и разрешением на проведение митинга в горисполком. Согласовали текст и отправили гонца в приемную. Все в рамках Конституции. Поскольку сроки поджимали, попросили ре-

шить наш вопрос побыстрее. Когда мы пришли в понедельник 18 апреля за ответом (а митинг планировался на 24 апреля), взволнованная девушка в приемной сообщила, что наше заявление только сейчас попало «на доклад к т. Згурскому», что вопрос очень серьезный и может быть решен только на пленуме горисполкома и, естественно, никто не знает, когда будет пленум. Ответ, мол, получите в течение месяца. Какая уж тут годовщина... Наконец, после долгих уговоров милостиво разрешила справиться о результате в среду, 20 апреля».

Станислав Петрович Ольштынский:

«До 20 апреля подписавших письмо подвергли проверке с целью установления реальности личностей, образа жизни, благонадежности и лояльности по линии райотделов милиции с посещением места жительства участковыми уполномоченными и наведением справок у соседей и дворников домов. С нами были проведены беседы представителями бюро первичных партийных организаций и сотрудников режимных отделов по месту работы. Эти беседы носили характер «промывания мозгов» с увещеваниями в стиле «почему вы с нами не посоветовались?», «почему не поставили нас в известность?». При всей внешней вежливости этих «бесед» они носили характер бюрократического нажима.

20 апреля 1988 года мы были приглашены на прием к заместителю председателя Киевского горисполкома В. Н. Кочерге, однако прием был перенесен им на следующий день. 21 апреля пятеро из нас были приняты В. Н. Кочергой. В кабинете присутствовали также директор Института коммунальной гигиены М. Г. Шандала, заместитель председателя городского комитета общества охраны природы А. Т. Лунашко, завприемной горисполкома И. К. Билевич и еще один мужчина в сером костюме, которого нам не представили. В течение всего приема он молчал.

Кочерга зачитал наше письмо, затем сказал, что исполком провел предварительные консультации с заинтересованными ведомствами и общественными организациями по данному вопросу. Никто из них это предложение не поддержал. Затем Кочерга сказал, что уже проведен ряд мероприятий, в том числе в г. Славутиче и у пожарных г. Киева. Вопросы черновыльской аварии достаточно освещались в печати и на различных собраниях, и исполком считает нецелесообразным использовать для митинга выходной день. Далее он рассказал о радиационной обстановке в Киеве и ее безопасности, об удовлетворении городскими властями нужд переселенцев и строителей, проживающих в Киеве.

Хотя Кочерга высказался одобрительно о лозунге «Больше гласности в экологических вопросах», но на нашу просьбу окончательно сформулировать позицию исполкома по вопросу проведения митинга заявил, что исполком это предложение не одобряет и не поддерживает. Обещал выдать краткое письменное заключение.

Мы заявили, что в связи с фактическим отказом горисполкома в разрешении на проведение митинга мы прекращаем работу по его организации, оповещаем людей о том, что митинг не разрешен и никого не собираем для его проведения. Просим различные стихийные попытки выступлений с работой нашей группы не связывать.

Однако, как выяснилось, 24 апреля в парке Дружбы народов работали усиленные наряды милиции, был задействован вертолет наблюдения, а в Ватутинском райкоме КПУ в течение пяти часов находились собранные туда «на всякий случай» директор Чернобыльской АЭС М. П. Уманец, директор Института коммунальной гигиены М. Г. Шандала, член-корреспондент АН УССР В. М. Шестопалов, завлабораторией дозиметрии центра радиационной медицины АМН И. А. Лихтарев и многие другие руководящие работники партийных, советских органов и учреждений. А митинга не было! Получается, что Киевский горисполком впустую проделал огромную работу, оторвал от отдыха уважаемых людей совершенно зря, без всякой пользы для хорошего гражданского дела. «Только бы чего не вышло». Апофеоз бюрократизма!

Вот какова гласность и демократизация «по-киевски».

Галина Ивановна Гудзенко:

«26 апреля этого года маленький зал Союза писателей Украины, где состоялся вечер, посвященный второй годовщине аварии, не мог вместить всех желающих. Люди стояли в проходах, сидели на подоконниках, томились в коридоре. А в это время на Крещатике наряды милиции и дружинники «героическими усилиями» пресекали стихийную демонстра-

цию по этому же поводу. И силы нашлись, и средства, а вот разрешить митинг — это пока выше возможностей наших городских властей. Удастся ли дожить до сотрудничества с «избранныками народа»? Очень хотелось бы этого».

28 апреля 1988 года в газете «Вечерний Киев» появилось сообщение Управления внутренних дел горисполкома, выдержанное в грозных, столь знакомых тонах:

«26 апреля 1988 года в 19.00 во время проведения подготовительных и ремонтных работ к Первомайской демонстрации на улице Крещатик и площади Октябрьской революции группа экстремистски настроенных лиц, состоящая в основном из числа членов так называемого «украинского культурологического клуба», пыталась провоцировать беспорядки, усложнить проведение этих работ, мешать движению транспорта и пешеходов.

Используя как предлог вторую годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, участники собрания стремились провоцировать выкриками и надписями на транспарантах подстрекать прохожих к противоправным действиям, сознательно спекулируя на их чувствах.

Руководители и активисты так называемого УКК были официально предупреждены правоохранительными органами о недопустимости подобных действий в соответствии со статьей 187³ Уголовного кодекса Украинской ССР, которая предусматривает ответственность за организацию или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок.

Поскольку, невзирая на предупреждения, участники собрания продолжали свои антиобщественные действия, сотрудники органов внутренних дел и народные дружинники были вынуждены доставить в Ленинское РОВД 17 правонарушителей.

После рассмотрения и соответствующего предупреждения 14 из них в тот же день были отпущены (следуют фамилии)».

Вспоминаю, как долгие годы в Киеве шла глухая борьба вокруг Бабьего Яра: кому-то очень не хотелось, чтобы на месте кровавых гитлеровских злодеяний собирались люди, вспоминали своих близких... Сколько административного рвения было затрачено на все запретительные меры — и какой ущерб мы наносили сами себе, престижу нашей страны. Потом наконец разум восторжествовал — и что случилось? Киев стоит на месте, красные флаги на месте, только в сентябре приходят к памятнику жертв Бабьего Яра люди, кладут цветы, выступают, встречаются, думают, вспоминают.

Я убежден, что Киевский горисполком и лично его председатель Згурский несут полную ответственность за то, что произошло в Киеве 26 апреля 1988 года. Вместо того чтобы отсиживаться под охраной милиции в служебном кабинете и разъезжать по городу в черной «Волге», В. А. Згурский (человек, совершенно недоступный для подавляющего большинства киевлян) был обязан проявить интерес к предложению вполне благонамеренных и законопослушных граждан Киева и подумать: что же лучше? Организованный и проводимый ответственными людьми митинг или стихийная демонстрация (кстати, тоже вписывающаяся в рамки Конституции), явившаяся следствием необоснованного запрета городских властей?

Трусливая, в сущности, антиперестроечная позиция (почему бы, кстати, после этой истории Згурскому как человеку, несущему моральную ответственность за нее, не подать в отставку?) только льет воду на мельницу различного рода экстремистов, пытающихся использовать неуклюжие запретительные меры безнадежно устаревшей Административной Системы для реализации своих корыстных целей.

Да неужели у вас, «отцы» нашего древнего города, нет иных аргументов и решений, кроме полка милиции и катков, перегородивших Крещатик? Стыдно за вас.

Я убежден, что «чернобыльские встречи» надо узаконить. Надо делать все возможное, чтобы не сработал период полураспада памяти, период нашего полужабытия. Ведь уроки Чернобыля жизненно необходимы нам для построения будущего.

Возвращение

КПП в Дитятках напоминает перевалочный пункт на границе двух государств. Широкая многополоска шоссе, помещения для караульной службы, шлагбаумы, предупредительные надписи. Это и есть граница Зоны — нового, невиданного мира, возникшего в 1986 году и надолго утвердивше-

гося на этих полесских землях, полных печальной прелести.

Стоит перед шлагбаумом автобус. Обтерханный, выдавший виды «пазик». Сидят внутри люди — старухи в черных платках, старики. Молоденький милиционер проверяет пропуска. Старается не смотреть на желтый профиль покойника, неловко цепляется за железный венок стоимостью 8 рублей 50 копеек. Грохочут окрашенные зеленой краской жестяные листья.

Едут в Зону хоронить земляка. Возвращают его этой земле, родным местам, где вырос, где прожил всю жизнь. Поднят шлагбаум, автобус въезжает в Зону. При выезде он пройдет тщательный дозиметрический контроль. А поминки устроят уже на новом месте — где-нибудь в одном из многочисленных сел на Киевщине, выстроенных летом 1986 года...

Возвращение.

Осенью 1987 года я поехал по Зоне в сторону Белоруссии. Когда выбрались на понтонный мост, переброшенный на окраине Чернобыля через Припять, увидели нескольких старых женщин, бредущих на левый берег реки. В черных плюшевых жакетках, с мешками на спинах. Когда поравнялись с ними, женщины замахали руками. Мы остановились, взяли их.

Что делают они здесь, в строго охраняемой Зоне?

Это возвращенцы. Или, как называют они сами себя, «самоселы». Те, кто самовольно, невзирая на все запреты, вернулся домой, в родное село. Так мы доехали до села Парышев, что в нескольких километрах от переправы. А возвращались женщины из Чернобыля, куда ходили купить хлеба и молока, ведь в селе ничего нет — ни магазинов, ни почты, ни медицины, ни власти никакой. Мы сели на скамеечку возле сельсовета, на дверях которого — увесистый замок, поговорили.

Ульяна Яковлевна Урупа:

«Скот мы сдали, когда выезжали отсюда. Сначала скот погрузили на машины, а потом нас. Пошла колонна скота и колонна людей. Если бы вы видели, что тут делалось... Самолеты летят. Скот ревет. Дети плачут... Война настоящая, только снаряды не рвались...»

Хима Мироновна Урупа:

«Я поехала со всеми в эвакуацию, ну, и поселили меня к племяннице. Тут я имела хату, все хозяйство... а там по одной дощечке ходи, да если что не так, то племянница кричит на меня. Я терпела-терпела и в июне 86-го вернулась. Границы тогда никакой не было. Прошла всю Зону пешком. Солдат не было. Вот я дома хожу, туда-сюда, когда — откуда ни возьмись — милиция пришла: «Здравствуйте, бабушка». — «Здравствуйте». — «Давно вы, бабушка, тут?» А я говорю: «Да в среду приехала». — «Вы, бабушка, здесь долго не будьте, потому что много будете набирать этих... рейганов...» Я говорю: «Детки вы мои коханные, я же больше не наберусь, чем набралась...»

Люди, когда выбирались в эвакуацию, так забирали вещи с собой. А я в ямку закопала. Вещи, разную ерунду. Одежда чуть не погнила. Так я ее вывесила сушиться. А там всякое разное — и красное, и синее, и розовое. Тут слышу — самолет летит... В-в-ву... Я — одежду прятать, чтоб не видели... Продолжаю жить. Уже больше стало людей — то один, то двое, то трое проникают и проникают. Вот я и дожилась, что надо картошку на осень возить. Своя плохая, пропала в земле. Я пошла по полям и навозила картошки мешков пятнадцать на зиму. Куры у меня были и три собаки.

Так и перезимовала. Ничего не боялась. Я на краю села жила, сама ночевала. Попросила, чтобы мне радио на батарейках купили, слушаю себе. Хоть бы что. Керосиновая лампа. А керосин брала в магазине, там его много — так нам милиция открыла, дали керосину. А дров сколько было! На этот год еще хватит. Печку натоплю, лежу себе, тепло, красота. А хлеб нам начала Белоруссия возить — лавка приезжала. Вот так зимой в нашем селе душ двадцать жило. А всего было перед аварией душ четыреста. А уже под весну начали люди съезжаться — больше, больше.

Спасибо милиции, они за нас заботились. Приезжали, смотрели — где там наши бабки? И снег разгребали, когда большие заносы были. Они нас не выгоняли. Поговорят, поговорят, что нельзя, а мы их послушаем... Сегодня уже в селе живет сто двадцать человек. Восемьдесят дворов заселено. Не только пенсионеры — есть те, кто работает в Чернобыле. Но детей сюда не везут.

И никуда мы отсюда не выселимся. Ни за что. А если кто-то нас будет отсюда забирать — вон рядом речка: возьмемся

за руки и так прямо в речку бросимся. Если нас будут нахально трогать...

— А корову вы держите?

— Ой, коровы, коровы... Горе одно. Вы знаете, откуда люди коров взяли? Из Черной зоны. Не купили, а просто поймали. Черная зона — это десятикилометровая. А наша зона считается Зеленой. Черная зона за проволокой — от нас в шести километрах. Люди рассказали, что в Черной зоне две коровы ходят. И двое теляток. «Заберите, — говорят люди, — жалко». Когда коров вывозили, видать, выпрыгнули из машины. И полтора года жили сами в Зоне. Коровы были тельные, когда спрыгнули с машины, они растелились. И та, и та с телятком. Перезимовали и ходили. Разве можно на это спокойно смотреть? (Плачет.) И одна корова у меня. Я молока не ем. Она стоит у меня в сарае, я ей сено даю, свеклу, тыкву. Молоко у нее есть, но я не пью. А телятка уже нет. Волки съели. Сейчас здесь много волков появилось. Двух коней разорвали... И лисицы есть. Говорят люди, что в Старых Копачах еще одна корова ходит, килограммов девятьсот весу в ней, вымя такое большое. Она идет к людям и руки всем лижет. А люди боятся...»

Алексей Федотович Коваленко:

«Я здесь зимовал. Мне восемьдесят лет, я радиации не боюсь. Воевал. Был на финской еще. Закончил войну в Праге.

Живем очень хорошо. Земли сколько хочешь — хоть пять гектаров бери. Только нечем пахать. Власти никакой. Белорусы берут наши совхозные угодья. Здесь Белоруссия в семи километрах от нас. Так они под самым моим домом выкосили сено и вывезли к себе. Из Белоруссии приезжали машиной закупать картошку. По 20 копеек платят нам за килограмм. Потом возят ее в Москву, Ленинград. Как можно это понять — что это такое?»

После этих рассказов мы ехали молча. Слов никаких не было... На земле уже явственно проступали признаки звероватости и запустения: кустисто росла самосеянная пшеница, бурьяны подступали к самой дороге...

Потом Украина внезапно закончилась. Началась Белоруссия, о чем извещала едва заметная, замухрышенная, засыпанная пылью табличка. Белоруссия — сестра Украины, многострадальная и героическая, простодушная и работающая. Авария в Чернобыле жестоко прошла и по белорусским вескам, лесам, болотам (там, где радионуклиды труднее всего очистить). И только совесть и мужество Алеся Адамовича, его взволнованный голос заставили местные власти взглянуть в лицо беспощадной правде, признать тот факт, что радиоактивный факел опалил и Белоруссию.

После опубликования первой книги «Чернобыль» я получил много писем из Белоруссии, из которых можно было понять, как тяжело пришлось нашим северным «сябрам».

Привожу выдержки из двух писем:

«...Жаль только, что Вы ничего не пишете о Белоруссии, о нашем Брагинском районе. Ведь до 28 апреля 1986 года, когда по телевидению передали сообщение Совета Министров СССР об аварии, мы были в полнейшей панике. Вся гражданская оборона, о которой так красиво отчитывались, оказалась фикцией. Ни в райкомах, ни в райисполкомах не могли дать никаких рекомендаций. Рекомендации Гомельского облисполкома были переданы по радио 8 мая, но и это были только рекомендации. Они были выдержаны в оптимистическом тоне: прямой угрозы здоровью и жизни нет... В нашей 30-километровой зоне занятия в школе продолжались до 7 мая, и дети днями гуляли на улице. А вот дети, например, парторга могли уехать «из Зоны» намного раньше...»

Хмсленок Николай Павлович, д. Недойка Буда-Кошелевского района Гомельской области».

«...Разрешите с Вами познакомиться. Я, Старохатний Аким Михайлович, бывший житель д. Вельямово Брагинского района Гомельской области. Это в 18 километрах от Чернобыльской АЭС, вблизи с. Посудово, что на железной дороге Чернигов — Овруч.

Деревни Киевской области (левобережья р. Припяти) были эвакуированы 3 мая, а наши, белорусские — 4 мая (на пасху). Я очевидец этой страшной трагедии — эвакуации деревень, как и тысячи сельских жителей, согнанных с родных мест по воле неуправляемого атома...

Утро и день 4 мая 1986 года запомнятся на всю жизнь. Что было пережито в этот день — это целая книга... Включите в свою повесть эвакуацию одной из деревень (своей

украинской или нашей белорусской). Тогда будет полнейшая картина этой катастрофы. Ибо эвакуация деревенских жителей, можно смело сказать, еще трагичнее, чем эвакуация г. Припяти и Чернобыля. Городскому жителю легче было покинуть свою городскую квартиру. Сельского жителя вырывали с корнями, лишали всего того, чем он жил, что было нажито тяжелым трудом. Здесь и сад, выращенный собственными руками, и дом, построенный с большим трудом, и вывод кормилицы-коровы со двора, и оставление собак, кошек. Жертвами чернобыльской катастрофы стали тысячи крестьянских семей. Хотелось бы, чтобы во второй части своей повести Вы больше внимания уделили переживаниям простых крестьян, но не начальникам (предколхозов, директорам совхозов, парторгам и т. д.). Этим самым Вы покажете душу народа в этой катастрофе, что особенно важно.

Желательно, при посещении Белоруссии, чтобы Вы побывали в деревне Гдень, жители которой сами возвратились домой, отстояли свой колхоз и теперь живут там».

Вняв совету Акима Михайловича, я поехал в Гдень. В отличие от украинских сел здесь кипела жизнь. Мы зашли в местную школу, дивясь звонким ребячьим голосам (Гдень находится в 30-километровой зоне).

Василий Михайлович Самойленко, завуч школы деревни Гдень Брагинского района Гомельской области:

«Нас выселили 4 мая. А некоторые деревни выселили лишь в конце мая. Выселение организовано проходило — раз надо, так надо. А вот возвращение, заселение деревни проходило, как говорится, по-партизански.

Нас сначала вывезли в деревню возле Брагина, но потом оказалось, что мы из лучшей зоны попали в худшую. К нам приезжали Таразевич — председатель Президиума Верховного Совета БССР, Камай — первый секретарь Гомельского обкома. Говорили, что скоро вернемся домой. Но чтобы конкретно, чтобы была команда заселять Гдень — такой команды не было. Люди постепенно стали возвращаться. Колхоз стадо коров погнал сюда, пастухи пришли. Где-то к октябрю месяцу деревня была заселена. А учебный процесс мы начали после октябрьских праздников. Когда руководители выступали, они обещали нам благоустроить деревню, проложить асфальт, но, видимо, они сразу за все пострадавшие деревни ухватились — поэтому у нас начали, немного асфальта проложили, щебень насыпали — и все. Только пыль теперь поднимается. А так мы живем нормально. Только медики работают вахтенным способом. И половины учителей не хватает.

Зона со стороны Белоруссии открыта, люди на своих машинах ездят. Колхоз наш полностью вернулся к хозяйственной жизни. В школе у нас учится пятьдесят один ребенок. Трое детей не вернулись. Молоко завозят в магазин. Молока недостаточно, но у людей есть коровы, люди употребляют молоко от своих коров. У меня у самого корова, я пью свое молоко. Слава богу — живу».

Надежда Михайловна Самойленко, учительница химии и биологии:

«Я думаю, что выскажу мнение многих: сюда мало кто бы вернулся, если бы мы имели, где жить. Нам не обещали построить села, как это сделали на Украине... Нам платят двойную зарплату, говорят, что у нас чистая зона. Но мне не очень-то верится, что она чистая. Если Украина всех своих выселила из 30-километровой зоны, считая ее нечистой, то почему же у нас в Белоруссии чисто? Вы знаете, сколько здесь километров до АЭС? Семнадцать. В хорошую погоду от нас станция видна. Как же может быть здесь чисто? Мы **ВЫНУЖДЕНЫ** были вернуться, это я смело заявляю. Нам некуда было деваться. Если бы нам предложили дома и квартиры, разве бы мы вернулись?»

Когда мы возвращались, нам золотые горы наобещали. И водопровод, и крыши, и асфальт. И клуб. Асфальт не проложен. Водопровод недавно проложили, но он работает ненормально. Топим в основном дровами. Пытаемся проводить разъяснительную работу, чтобы дети в лес не ходили по грибы, но...»

Покидая деревню Гдень, я заехал в полуразрушенный медпункт. Новый заканчивали строить. Пришла медсестра с удовольствием готовилась уезжать отсюда — она уже отбыла свою вахту... Дети с ранцами за спиной, возвратившиеся из школы, весело бегали по улице. Пыль стояла

столбом. Куры копошились в навозе. Двое мужиков лениво возились на разобранной крыше клуба. И вдруг я увидел кошку.

Лысую. Только лысина была не на голове, а на брюхе... А через несколько месяцев в первом номере журнала «Неман» за 1988 год я прочитал замечательный рассказ белорусского писателя Ивана Пташникова «Львы». Герой рассказа — сельский простоватый пес Джуки повествует о том, как висел над селом желто-бурый туман, пахнувший йодом, как люди в страшных намордниках убивали ни в чем не повинных сельских собак. А собаки были облезшие, походили на львов...

Кто виноват

...Одну из своих очередных поездок в Чернобыль я приурочил ко времени, когда начался суд над виновниками аварии. Меня никто не приглашал на этот суд, более того, все попытки попасть туда разбились о стену вежливого молчания.

Впрочем, мои коллеги по перу, попавшие на процесс, тоже не бог весть какую информацию получили.

А. Коваленко:

«Мне кажется, что мы начали всю информацию делить как медики лекарства — для наружного и внутреннего употребления. Причем если мы раньше старались вообще не давать никакой информации ни нашим, ни чужим, то сейчас ударились в другую крайность: мы на Запад даем информации значительно больше, чем внутрь страны.

Наверно, это вызвано нашими старыми комплексами, в соответствии с которыми иностранцев пропускают в первую очередь и т. д., — и это же срабатывает очень часто и в Чернобыле. На суд было допущено лишь 36 советских корреспондентов. Но только на открытие и закрытие. И 13 иностранных корреспондентов — на тех же условиях.

Ни один из советских и иностранных корреспондентов не находился в зале суда в течение всего судебного процесса. Но в то же время наши корреспонденты были заведомо ограничены в возможностях передачи какой-либо информации, кроме официального сообщения ТАСС. А западные агентства сразу же начали ее передавать. Эти 13 корреспондентов — пул западной прессы, представители самых могущественных агентств и компаний. Через час после начала процесса корреспондент Би-би-си Джероми уже начал передавать первую информацию. И наши люди, для того чтобы узнать о происходящих событиях на суде, вынуждены были обращаться к различным радиоголосам. Были переданы такие детали и подробности, которые придают достоверность сообщению.

А наши корреспонденты посидели на первом и последнем заседании и прочитали о суде сообщение ТАСС. Единственная газета в стране, которая дала собственный отчет о процессе, — «Московские новости».

...В Чернобыле стояли жаркие дни. Центральная улица, ведущая к отремонтированному зданию Дома культуры, в котором состоялся суд, была перегорожена несколькими барьерами. Увеличено число патрулей в городе. Мои друзья-физики, с которыми я пребывал в полукилометре от места проведения процесса, предупредили меня, чтобы не шлся без дела по улицам. Говорили, что кто-то бдительный меня разыскивал по общежитиям с целью «отловить», не дать попасть на суд, выдворить из Чернобыля...

Комедия, да и только! Прискорбная комедия. Открытый суд в тщательно закрытой Зоне. Только те, кто пытался заглушить информацию о суде — об открытых (ОТКРЫТЫХ!) его заседаниях, — просчитались. Потому что все равно мне — и не только мне — в подробностях стало известно обо всем, что там происходило. Нет, я не проникал в секретные помещения, не вскрывал сейфов с протоколами, не прятал в Доме культуры магнитофоны. Просто я поговорил с несколькими участниками суда, которые рассказали о самых важных его событиях, не забыв осветить и ряд подробностей. Это к сведению тех, кто пытался скрыть от писателей (кроме меня, на суд безрезультатно просился также писатель В. Яворивский), от журналистов, от общественности картину происходящего.

Пусть знают, что времена полного и эффективного глушения информации канули в Лету.

...Ушли в прошлое те жаркие дни, когда мы с физиками и с сотрудником «Литературки» Сашей Егоровым ездили на четвертый блок, ходили по Припяти, а рядом шли ежедневные заседания судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда СССР. Итог их известен: бывший директор станции Брюханов приговорен к десяти годам лишения свободы. К десяти годам — бывший главный инженер АЭС Фомин и заместитель главного инженера Дятлов. В зале суда взяты под стражу бывшие начальник смены Рогожкин, приговоренный после к пяти годам лишения свободы, начальник второго реакторного цеха Коваленко — к трем годам, государственный инспектор Госатомэнергонадзора Лаушкин — к двум годам. Приговор обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежит.

ИЗ ПРИГОВОРА. «Согласно выводам судебно-технической экспертизы уровень технологической дисциплины на Чернобыльской АЭС не соответствовал предъявляемым требованиям. На станции имели место систематические нарушения технологического регламента, значительно количество остановок блоков по вине персонала. Не во всех случаях выявились причины нарушений, в отдельных случаях истинные причины нарушений скрывались... За период 1980—1986 годов в 27 случаях из 71 расследования вообще не производилось, а многие факты отказа в работе оборудования даже не регистрировались в журнале учетов». («Московские новости», 9 августа 1987 г.)

Это приговор юридический, вытекающий из процесса, проведенного в строгом соответствии с существующими законами, с участием обвинения, защиты и экспертов. Правосудие свершилось, виновные наказаны.

Но все это время, что минуло после аварии, проходил еще один суд, суд негласный, моральный, на котором тоже сталкивались разные мнения, а защита пыталась парировать выпады обвинения.

Давайте же побываем на заседании этого суда, послушаем голоса его участников.

Вначале приведу письма, полученные мною как раз в то время, когда я пытался реконструировать подлинную картину аварии (надеюсь опубликовать ее в книжном, полном издании повести): более всего меня интересовали не технические подробности (хотя и они чрезвычайно важны и здесь необходима строжайшая точность деталей), а психологические мотивы поведения участников трагедии.

Письмо первое:

«В 6-м и 7-м номерах журнала «Юность» напечатана Ваша документальная повесть «Чернобыль». Мы очень внимательно прочли Вашу повесть, пытаюсь как-то найти ответ на вопрос — за что погиб наш единственный сын, работавший на ЧАЭС старшим инженером управления реактором, — Топтунов Леонид Федорович.

Во время аварии в ту трагическую ночь 26 апреля он находился на смене в пультовой управления реактором 4-го энергоблока.

Мы увидели его 30 апреля в 6-й клинической больнице Москвы, когда он был еще не в таком тяжелом состоянии. Мы были с ним до последних минут его жизни и проводили его в последний путь. Мать была донором костного мозга для сына, но и это не помогло.

Мы были рядом с ним последние 14 дней его жизни. Матери он сказал, что он ни в чем не виноват, что он строго выполнял должностные инструкции.

После смерти сына из слов его товарищей по работе, которых нам пришлось встретить, мы кое-что узнали о его работе в ту трагическую ночь. Нам рассказали, что наш сын был не согласен с решением технического руководителя о поднятии мощности. Однако была дана команда на поднятие мощности вторично. А повторные команды выполняются беспрекословно. Нам известно, что он принимал самое активное участие в локализации аварии и в проведении спасательных работ.

Ребята в первоначальный момент не знали о разгерметизации блока и об уровнях радиации. Если бы они были информированы о радиационной обстановке, наверно, было бы намного меньше жертв. Мы задали вопрос парткому ЧАЭС о действиях нашего сына и возможной его вине, однако партком отделался самой что ни на есть отпиской, да и то только после напоминания.

Приводим дословный ответ:

«Уважаемые Вера Сергеевна и Федор Данилович! Прежде всего разрешите выразить Вам свое глубокое соболезнование в связи с постигшим Вас горем. Трагические события на Чернобыльской АЭС оборвали жизнь Вашего сына и нашего товарища.

(Это через год и два месяца после того, как сына не стало.)

Ваш сын достойно вел себя в сложнейшей радиационной обстановке после аварии на станции, проявил твердость духа и мужество, выполняя свой долг по локализации аварии на Чернобыльской АЭС.

Что касается поставленного Вами вопроса, доведу до сведения, что в предаварийный период Леонидом Федоровичем Топтуновым был допущен ряд нарушений инструкций при управлении реактором блока № 4, что не позволило представить его к правительственной награде.

С уважением — секретарь парткома Е. Бородавко.
23.07.87 г.»

Вот такие противоречия между тем, что говорили нам товарищи по работе, оставшиеся в живых, и тем, что ответил нам тов. Бородавко.

Мы почему-то уверены, что тов. Бородавко кривит душой, зная, что покойники защищаться не могут... Наш сын рос и воспитывался в семье военнослужащего. Детство его прошло в местах, связанных с развитием ракетно-космической техники. Мы долгое время работали на космодроме Байконур. Он был честным и добросовестным сыном. Не мог он пойти на какие-либо нарушения. А если и было что, значит, обстоятельства заставили. Нам кажется, что товарищи из парткома ЧАЭС не хотели нам сказать правды, а отделались отпиской.

Если Вам известны хоть какие-то данные о действиях нашего сына в ту трагическую ночь, в чем его ошибка, просим написать нам правду, какая бы горькая она ни была.

Вера Сергеевна и Федор Данилович Топтуновы, г. Таллин».

Письмо второе:

«Все, что написано о Чернобыле во всех наших изданиях, мы по несколько раз перечитываем и храним у себя. Чернобыльская авария — это наша общая беда, но для нашей семьи это страшная трагедия.

26 апреля 1986 года в 00 часов заступил начальником смены наш сын Акимов Александр Федорович. Вышел он из 4-го блока АЭС в 8 часов 30 минут. 28 апреля к нам в г. Северодвинск Архангельской области пришла телеграмма из больницы № 6 г. Москвы. 29 апреля мы были у сына в больнице.

Пересадка костного мозга от одного из братьев, лучшие лекарства не помогли. Сын получил смертельную дозу радиации и 11 мая 1986 года скончался от острой лучевой болезни 4-й степени. 6 мая ему исполнилось только 33 года.

У Александра Федоровича остались жена и двое сыновей — Алеша, 9 лет, и Костя — 4 года. Его семье дали в Москве квартиру, назначили пособие, помогли материально. Правительство все сделало, чтобы помочь семьям Чернобыля. Но разве нам, родителям, от этого легче?! Самое тяжелое горе — это когда родители хоронят своих вчера еще здоровых, крепких детей.

Но согласитесь с нами: зная, что наш сын сделал все от него зависящее по недопущению и ликвидации аварии, сознательно пошел на самопожертвование (конечно, в данной ситуации) ради предотвращения более тяжелой катастрофы (об этом сказал начальник главка Минэнерго на траурном митинге 13 мая 1986 года во время похорон сына), мы нередко читали и продолжаем читать, что технический персонал якобы был слабо подготовлен, нарушал трудовую и технологическую дисциплину и т. д., и т. п., то есть персонал — главный виновник аварии. Возможно, были и такие, кто был плохо подготовлен и технически, и морально. Даже не возможно, а действительно были. Но ведь в публикациях обвиняется весь инженерно-технический персонал...»

(Далее родители А. Акимова высказывают свои претензии к одному прозаику, который, по их мнению, оскорбил память погибшего сына: литературный персонаж, созданный прозаиком, показан в самых темных красках, а персонаж этот выполняет функции начальника смены аварийного блока.)

«...Наш сын с отличием окончил 10 классов, с отличием — МЭИ в 1976 году по специальности «инженер АСУ АЭС», 10 лет проработал на АЭС, член КПУ с 1977 года, избирался членом ГК КПУ г. Припяти. Трижды за эти 10 лет учился по 3—4 месяца с отрывом от производства. Последний раз — сентябрь — ноябрь 1985 года в г. Обнинске. Учебу заканчивал только на «отлично». Имел блестящие характеристики. Он и в тяжелейшей ситуации показал себя грамотным, умным, умелым инженером-руководителем.

Уже после смерти сына на наше имя 4 февраля 1987 года пришло письмо от замминистра Минатомэнерго, в котором он дает блестящую характеристику сыну и до аварии, и во время аварии.

Наш сын, находясь в больнице № 6, уже был на смертном одре и, зная свой исход, до конца был мужественным, в высочайшей степени волевым и нежным человеком. Врачи тт. Гуськова, Баранов и др. искренне удивлялись его мужеству, терпению. Видел бы этот писатель его тело! Что с ним стало! Знал бы он о нашем сыне, о его воспитанности, о его чувстве долга перед товарищами, о его честности, — разве бы он смог так написать?!

Мы не ждем от писателя расхваливания фактов, тем более по такой теме, как Чернобыль. Но уж если взялся за такую, весь мир взбудоражившую тему, то напиши ее честно, правдиво, умно. Ради справедливости, ради науки потомкам, наконец, ради родителей, родственников погибших при аварии стоит написать правду о Чернобыле...

Зинаида Тимофеевна и Федор Васильевич Акимовы, Северодвинск Архангельской области».

Эти письма — как два выстрела в мое сердце. В упор. Ведь я не могу скрыться, как романист, за вымышленными фамилиями героев — тем более что и вымышленные фамилии, как видим, не освобождают писателя от высочайшей ответственности за каждое свое слово, когда прикасается он к свежей, еще кровоточащей ране, к горю человеческому. Я не могу позволить себе ни одного неточного слова (впрочем, романистам это тоже не пристало), не имею права на домыслы и догадки.

Не хочу, не могу, не имею права быть и обвинителем — особенно тех, кого уже нет в живых. Ведь мертвые молчат. А о живых сказал свое слово суд. Так, может быть, остаться чистым, никого не обидеть, не причинить боли, не касаться событий, вокруг которых еще не улеглись страсти?

Нет. Это недостойная позиция.

Восстанавливая в подробностях картину аварии, я встретился с двумя непосредственными участниками событий — начальниками смены блока № 4 Игорем Ивановичем Казачковым и Юрием Юрьевичем Трегубом. И. Казачков работал в смену с 8 до 16 часов 25 апреля 1986 года, И ЭТО НА ЕГО СМЕНЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРОВОДИТЬСЯ ПРЕСЛОВУТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, КОТОРЫЙ МОГ ЗАКОНЧИТЬСЯ ВЗРЫВОМ: БЛОК МОГ ВЗЛЕТЕТЬ В ВОЗДУХ ЕЩЕ 25 АПРЕЛЯ В 2 ЧАСА ДНЯ. Только распоряжение диспетчера «Киевэнерго» заставило руководство станции перенести эксперимент.

Следующей сменой — с 16.00 до 24.00 — руководил Ю. Трегуб. И ЭТА СМЕНА ИМЕЛА ШАНС ВЗОРВАТЬ БЛОК. Однако по целому ряду случайностей эксперимент снова был отложен.

Судьбе было угодно, чтобы самая сенсационная авария XX века произошла на смене А. Акимова. Юрий Трегуб, сдавший смену Акимову, остался, чтобы принять участие в эксперименте. Он все видел своими глазами, более того — в роковые минуты помогал СИУРу (старшему инженеру управления реактором) Л. Топтунову вынимать стержни защиты, чтобы поднять мощность реактора... Потом были взрывы. Страшен в своих подробностях рассказ Ю. Трегуба о том, что творилось в те минуты в БЩУ-4. Ю. Трегуб подвергся воздействию повышенной радиации, перенес острую лучевую болезнь. Когда этот молодой парень вспоминает о подробностях аварии, у него дрожат руки. А Игорь Казачков — молодой бородатый увалень — все время нервно посмеивается, хотя ему вовсе не смешно.

И. Казачков:

«Почему ни я, ни мои коллеги не заглушили реактор, когда уменьшилось количество защитных стержней? Да потому, что никто из нас не представлял, что это чревато ядерной аварией. Мы знали, что делать этого нельзя, но... Никто не верил в опасность ядерной аварии, никто нам об этом не говорил. Прецедентов не было. Я работаю на АЭС с 1974 года и видел здесь гораздо более жестокие режимы. А если я аппарат заглушу — мне холку здорово намылят. Ведь мы план гоним... И по этой причине — по количеству стержней — у нас ни разу остановки блока не было.

— А если бы вы остановили реактор при снижении запаса стержней ниже допустимого? Что бы вам было?

— Я думаю, с работы выгнали бы. Определенно бы выгнали. Не за это, конечно. Придрались бы к чему-нибудь. Именно этот параметр — количество стержней — у нас не

считался серьезным. По этому параметру, кстати, у нас «защиты от дурака» не было. И до сих пор нет. Защит очень много, а вот по количеству стержней нет. Я так скажу: у нас неоднократно было менее допустимого количества стержней — и ничего. Ничего не взрывалось, все нормально проходило.

Но, конечно, ребятам не следовало поднимать мощность после ее падения. Если бы они не подняли мощность, не было бы такого тяжелого «отравления» реактора, и не было бы взрыва. Но им хотелось до конца довести испытания.

— А вы бы это сделали, Игорь Иванович?

— Пожалуй, да.

— Вы бы сами это сделали или по приказу?

— Думаю, что по приказу. Дятлов приказал бы поднимать мощность, и я бы дал команду на подъем.

— Подъем мощности — самое роковое решение?

— Да. Это было роковое решение... Я знал тех ребят, что сидели за пультом, — Акимова, Топтунова, Столярчука, Киршенбаума. Это молодые ребята. Топтунов СИУРом работал совсем мало.

Саша Акимов — развитой парень, культурный. Он интересовался не только работой, читал много. Очень любил своих детей и нежно о них заботился... Дети были его гордостью — они начали с пяти лет читать, он постоянно занимался ими и любил об этом рассказывать. Автомобилист — холил свою машину. Он был членом Припятского горкома партии. Одно время его хотели выдвинуть на партийную работу, он был парторгом цеха. Саша Акимов был турбинистом, он, пожалуй, реактор знал похуже...

Ребята, которые были в ту ночь, рассказывали, что Леня Топтунов не справился при переходе с автомата и провалил мощность. Там много приборов, можно это проглядеть... Тем более он наверняка нервничал: такая ситуация была впервые — снижение мощности. Он ведь четыре месяца только СИУРом работал, и за это время ни разу не снижали мощность на реакторе. Хотя в общем-то ничего сложного в этой ситуации не было. И в том, что он провалил мощность, тоже ничего страшного не было. Ну, а потом... я затрудняюсь сказать. Разные люди по-разному рассказывают. Даже одни и те же люди по-разному говорят. То ли была команда на подъем мощности от Дятлова, то ли Саша Акимов дал команду. Дятлов на суде это отрицал, говорил, что вышел то ли в туалет, то ли куда — и «провала» не видел. Вернулся якобы тогда, когда они уже поднимали мощность.

Один свидетель показал, что Дятлов лжет, что он был при этом.

Но Дятлов говорил, что не отдавал приказа о подъеме мощности. Я не отрицаю такой возможности — вполне могло быть, что сам Акимов дал приказ поднять мощность. И если бы он был жив, то, думаю, его бы сурово покарали как начальника смены блока.

Я был на суде... Они в своем деле специалисты — что судья, что прокурор — это чувствуется. Все правильно, конкретно. Но, я думаю, на аварию надо смотреть шире. Я об этом сказал на суде. Моя мысль заключается в том, что рано или поздно такой аппарат должен был взорваться. Он мог взорваться на Чернобыльской станции (кстати, вы знаете, что мы были лучшей станцией в Союзе?), но мог взорваться и на Смоленской, и на Курской станциях. Понятно, что есть какие-то организационные моменты, которые обеспечивают безопасность этого аппарата, но на человека все переложить нельзя. Все дело в недостатках самого реактора РБМК. Нигде в мире такие реакторы для целей энергетики не строят. Только этот реактор может при аварии сам себя «разогнать», увеличить свою мощность, вызвать дополнительное парообразование. Поэтому человеческий фактор не дает стопроцентной гарантии.

Если совсем точно сформулировать, то персонал ЧАЭС стал жертвой как своих ошибок, так и недостаточно устойчивой работы реактора. И недостаточной информации. Система СКАЛА, установленная там, выдавала информацию через определенные промежутки времени. Она постоянной информации не выдает. А бывает, ломается, происходит сбой программы, и мы остаемся без информации...

Я много думал о причинах аварии. Если бы я был на месте судьи, какое бы вынес решение? Говорят, что понять — это оправдать. В данном случае я ребят понимаю. Как бы я наказал виновников? Вина директора Брюханова не в аварии, а в действиях после аварии. Главный инженер Фомин — я убежден — во взрыве не виноват. Может быть,

вину несет за послеаварийные действия. Вина Дятлова есть, хотя до сих пор неизвестно, давал он команду на подъем мощности или не давал. Но не 10 лет — по-моему, он заслужил меньше. Начальнику смены станции Рогожкину я бы дал больше. Он был на центральном щите, когда это случилось, и даже побоялся прийти на БШУ-4. Знал, что там радиация. И полностью самоустранился от ликвидации последствий аварии.

Начальнику смены блока — то есть самому себе — я бы дал лет восемь. И если бы это случилось на моей смене, я бы понимал, что это справедливо. Только, наверно, я бы вообще не жил. Даже если бы выжил, то не вынес бы таких моральных мук. Мне очень жаль Акимова. Ведь он наверняка понял свою ответственность за происшедшее. Через день, через два — но понял. Он очень мужественный человек, он умирал в муках, но прогонял от себя свою жену, потому что от него очень сильно «фонило»...

Я вот сейчас думаю: что надо, чтобы это не повторялось? Не говорю о технике, я о ней все сказал. Говорю о людях. За пультами должны сидеть не только высококвалифицированные люди, но и БОЛЕЕ СВОБОДНЫЕ. Свободные от страха. Не боящиеся меча, постоянно висящего у них над головой. Вот вы знаете, что такое — быть выгнанным с работы в Припяти? Это все, конец. Это ужасно, понимаете? У нас был начальник смены реакторного цеха Кирилук. В 1982 году на ЧАЭС было нарушение штатного режима, его выгнали с работы, со станции. И куда он устроился? Ведь Припять — маленький городок. Главное здесь — АЭС. Так вот этот Кирилук устроился инженером по снабжению на 120 рублей. Это кошмар, как вы понимаете. Нами правил страх. Страх, что выгонят. Этот страх диктовал неправильные действия.

— А как стать свободным человеком?

— Не знаю. Не берусь сказать. Может быть, на эту работу надо набирать головастых ребят-физиков из Киева, Москвы, из научно-исследовательских институтов, сроком на 5 лет. Из зависящих от квартиры, от отношения начальства. Приведу вам пример. Когда я был СИУБом (старший инженер управления блоком), у меня сложилась такая ситуация, что мы жили впятером в однокомнатной квартире в Припяти. Я прихожу с ночной смены — мне надо поспать, а где? Все толкуются в одной комнате. Я пошел к директору на прием по личным вопросам. Чтобы как-то ускорить это дело. Тем более незадолго до этого взяли на работу уборщицу, дали ей трехкомнатную квартиру. Говорю: «Дайте лучше мне. Она уборщица, а мне нужно отдыхать. Я отвечаю за блок». А Комисарчук — начальник отдела кадров — спрашивает: «А почему ты считаешь, что ты лучше уборщицы? Она советский человек, ты — советский человек...» И все. Что я могу здесь сказать?

И потому, будучи СИУБом, я боюсь проявлять самостоятельность. Я полностью зависю от станции. Сейчас я зависю в меньшей степени. А до аварии — полностью. Во всех аспектах — моральных, финансовых. Я связан по рукам и ногам. Со мною могут сделать, что хотят. Если бы Саша Акимов был свободен, тогда у него была бы возможность принимать правильные решения. Оператор АЭС должен быть как летчик. Даже больше чем летчик или космонавт. Космонавт погибнет — трагедия. Но не такие страшные последствия, как здесь...»

Ю. Третьуб:

«Если исходить из тех инструкций, что были перед аварией, все действия персонала правильны. Их вины нет. Все, что делалось, было в пределах полномочий смены. Если бы это оговаривалось особой опасностью, тогда другое дело. Самой высшей властью обладал тогда на блоке Дятлов. Его авторитет и наше доверие... сыграли определенную роль. Леня Топтунов — молодой парень. Его жаль. Я думаю, что если бы сидел на его месте, у меня этого бы просто не произошло. Хотя, может быть, я чего-то не знаю... Готовился Топтунов долго — по крайней мере за пультом СИУРа около 8 месяцев, а работал самостоятельно минимум 2—3 месяца. Может быть, сыграло определенную роль и то, что раньше мы работали без автоматических регуляторов (ЛАРов) и потому постоянно были сами включены, как автоматы. Все время в напряжении. Проводились замеры — СИУР в минуту совершал от 40 до 60 управлений стержнями. Потом поставили ЛАРы, которые значительно облегчили работу, но они изменили ее характер, — и такого оперативно-го опыта Топтунов уже не имел. Для того чтобы не потерять навыки ручного управления реактором, каждую ночь

ную смену надо было 2 часа работать в ручном режиме. Практически все было оговорено, все учтено, но Топтунов мог и хуже работать... Все-таки это не то что работать год не разгибаясь. У нас доходило до того, что мы по 8 часов не выходили, извините, в туалет от пульта. Но это было еще до введения ЛАРов.

Я сочувствую этим ребятам. Мне кажется, мы судим их не за ошибку, а за последствия. Дятлов же наказан больше за характер свой, чем за незнание. Он был очень самоуверен. Отличная память. Если бы не эта самоуверенность, он бы и программу не возложил на свои плечи. Он был для нас самым большим авторитетом. Недостигаемый авторитет. Его слово было законом.

А. Усков:

«Никогда не думал, что так тяжело ответить на простой с виду вопрос: «Будь ты на месте тех инженеров на БШУ-4 в ночь 26 апреля 1986 года — ты бы пошел на нарушение «Регламента», чтобы провести тот эксперимент?»

Это сейчас мы поумнели. Какой же ценой нам это досталось! В памяти уже, наверно, навечно останутся темнота, развалины блока, страшное уханье пара, реакторный графит, выброшенный на территорию ЧАЭС, а потом обожженные до неузнаваемости лица ребят в московской клинике.

Но если постараться отбросить этот испытанный на собственной шкуре опыт и постараться вспомнить, каким ты был «до войны», то не просматривается категоричного «Никогда!».

А если совсем честно, то я мог нарушить «Регламент» (наверное...). Будь я работником блочного щита управления (БШУ), я, пожалуй, мог бы возразить главному инженеру станции Фомину (или его заму Дятлову), **НО КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗАТЬСЯ ВЫПОЛНИТЬ ЕГО КОМАНДУ — НА ЭТО БЫ ДУХУ НЕ ХВАТИЛО.**

Почему так?

Может, я трус?

Да нет, вроде не трус. Орден¹ за ночь 26 апреля говорит сам за себя. Может, в голове пусто? Несомненно, не самый крупный специалист в атомной энергетике, но знаний достаточно, чтобы понять — тебя толкают на нарушение «Регламента»...

Постараюсь разобраться, если смогу...

Первое. Мы зачастую не видим необходимости неукоснительного соблюдения наших законов, поскольку эти законы нарушают сплошь и рядом на твоих глазах, и неоднократно! Впрочем, это называется «обойти закон». И нарушают люди, которые должны быть образцом выполнения долга: гражданского, партийного, профессионального, наконец.

И растлевающее действие таких примеров сильнее, чем от десяти радиостанций «из-за бугра». Потому что эти примеры на наших глазах! Разве не знала Государственная комиссия, принимавшая 4-й блок в эксплуатацию, что принимает его с отступлением от проекта? Конечно, знала...»

ИЗ ПРИГОВОРА: «31 декабря 1983 года, несмотря на то, что на четвертом энергоблоке не были проведены необходимые испытания, Брюханов подписал акт о приемке в эксплуатацию пускового комплекса на блоке как полностью законченного». («Московские новости», 9 августа 1987 г.)

А. Усков:

«...Но посчитала — ничего, потом доведем! Вот и пришлось два с лишним года спустя проводить на 4-м блоке эксперимент, чтобы довести систему безопасности до требований проекта! Вот и довели блок «до ручки»! Если смотреть глубже, авария началась не в 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 года, а в декабре 1983-го, когда директор АЭС Брюханов поставил свою подпись в акте Госкомиссии как ее полномочный член. Поставил, не видя необходимости настоять на проведении испытания выбега турбогенератора для питания собственных нужд блока. А московским товарищам и тем более этот выбег был не нужен: 4-й блок, мол, пущен и пойдет в рапорт за этот год! Как приятно...

А ведь совсем другая была бы картина, проводи они этот злосчастный эксперимент тогда. Реактор со свежим топливом, со значительным количеством поглощающего материала в активной зоне имеет отрицательный мощностной коэффициент, то есть **НЕ ПРИВОДИТ К РАЗГОНУ НА МГНОВЕННЫХ НЕЙТРОНАХ!**

Вот так мы и работали.

¹ А. Г. Усков награжден орденом Дружбы народов за героизм, проявленный при ликвидации аварии на ЧАЭС (прим. ред.).

Но самое главное, почему персонал в ту ночь нарушил «Регламент» (а это тоже Закон!), — отсутствие четкого объяснения: почему **КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ** работать при оперативном запасе реактивности меньше 15 стержней. Ребята и представить себе не могли, что **НАХОДЯТСЯ В ЯДЕРНО-ОПАСНОМ РЕЖИМЕ!**

Нигде ни полстрочки об этом даже не упоминалось. А еще с институтской скамьи было крепко вбито в голову: **РЕАКТОР ВЗОРВАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ!** Это уже после аварии оперативный запас установят 30 (!) стержней и не меньше. Это уже в октябре 1986 года введут в «Регламент» грозное предупреждение: «...При запасе менее 30 стержней **РЕАКТОР ПЕРЕХОДИТ В ЯДЕРНО-ОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ!**»

Говоря простым языком, при запасе 29 стержней мы попадаем в ядерно-опасный режим, а до аварии этот запас был регламентным и считался нормальным.

Где же были раньше товарищи ученые, проектанты, конструкторы?

Как ответила экспертная группа на вопрос суда в Чернобыле?

ВОПРОС СУДА. — Почему в (старом) «Регламенте» персонал не предупрежден, что при работе реактора на мощности менее 700 МВт (тепловых) и с запасом менее 15 стержней реактор переходит в ядерно-опасное состояние?

ОТВЕТ ЭКСПЕРТОВ. — Считали это ненужным. Думали, что на станции работают грамотные физики (?!). Сейчас были вынуждены сделать это.

Детский лепет. Стыдно слушать.

Одни считали ненужным объяснить (а может, сами не знали природу очень важного запрета); мы же, персонал, считали, что этот запрет можно «объехать». Вот и доработались.

На суде одни сидели на скамье подсудимых, а другие — за столом экспертов и сурово спрашивали за все (в том числе и за свои грехи).

Второе. Очень важным моментом (как это ни странно слышать) я считал и считаю высокий уровень оперативной дисциплины на атомных электростанциях. Впрочем, это характерная черта многих режимных предприятий, где работники имели более высокую зарплату, определенные льготы и дорожили своим местом. Уровню технической подготовки, технологической дисциплины оперативного персонала уделяли особое внимание!

Корни тщательного отбора и подготовки персонала растут из тех «закрытых» объектов, где создавалось наше ядерное оружие. Конечно, со временем отбор стал проще, требования к анкетным данным помягче, но оперативная дисциплина поддерживалась на высоком уровне.

И не имеет права подчиненный работник не выполнить распоряжения своего начальника. У него есть возможность аргументированно возразить при неправильном распоряжении. Но при повторе распоряжения немедленно выполнить! А потом уже обжаловать... И беда в том, что аргументированно возразить было тяжело в той ситуации, потому что имелись лазейки. Впрочем, возражать почти никто и не пытался, настолько был велик авторитет физика — заместителя главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Дятлова. Сейчас мы подошли к третьей важной причине.

Третье. Рискованно возражать руководителю высокого ранга. Не нравятся строптивые, как правило: не возражают безграмотным начальникам, молчат и согласно кивают грамотным начальникам.

Потому что живет в наших душах холопская исполнительность, желание расшибить лоб на виду у начальства. А там, глядишь, и заметят твое усердие. А если еще и со знаниями слабовато?.. Тут уже не до аргументированных возражений, и без этого есть грешки в работе.

Я не работал на БЩУ и не знаю, каким был бы СИУРом, но уверен, что эти три основных момента в разной степени влияли и на меня тоже.

Не очень приятно говорить об этом, но нет у меня полной уверенности, **ЧТО Я НЕ МОГ БЫ ПОВТОРИТЬ ОШИБКИ РЕБЯТ** с блочного щита управления блока № 4 26 апреля 1986 года. **Я ТОЖЕ МОГ ОКАЗАТЬСЯ НА ИХ МЕСТЕ.**

В заключение хочу привести мнение такого авторитетного эксперта, расследовавшего причины аварии, как **Валентин Александрович Жильцов:**

«Авария на ЧАЭС показала, насколько надо быть компетентным, щепетильным в вопросах атомной энергетики.

Здесь нет мелочей. Здесь надо все проверять и перепроверять. Я часто вспоминаю слова одного из своих учителей — сподвижника И. В. Курчатова: «С ядерным реактором надо обращаться на «вы», он ошибок не прощает; аварии происходят тогда, когда об этом забывают»... Огромную роль играет квалификация персонала. Взять хотя бы СИУРа Л. Топтунова. Сейчас совершенно определенно установлено, что в момент перехода с ЛАРов (локальных автоматических регуляторов) на АРы (автоматические регуляторы) произошло падение мощности реактора. Мощность «потерял» Топтунов — она была провалена до нуля. Однако положила руку на сердце я бы не обвинял в этом Топтунова. Его вины в том нет. Есть недостаток опыта, квалификации. В том сложном переходном процессе, который в этот момент происходил, даже квалифицированному СИУРу было бы трудно скомпенсировать аппарат. Режим аппарата в той ситуации очень нестабилен. Собственно, вся цепь несчастий началась именно с той злополучной потери мощности реактора. Чтобы стать квалифицированным СИУРом, надо пройти через переходные процессы, познать их. А их, судя по тому короткому времени, в течение которого Л. Топтунов работал на 4-м блоке, практически не было. Тренажера на ЧАЭС тоже не было. Ему негде было научиться. Если бы Топтунов прошел через такой переходный процесс поднятия и снижения мощности реактора, понял бы его динамику — он бы, на мой взгляд, справился. Потому что и раньше на реакторе были подобные ситуации. За это Топтунова осуждать нельзя, можно только сочувствовать.

Но вот все, что связано с поднятием мощности после ее «провала», — это уже были явно неправильные действия. Потому что был очень мал оперативный запас реактивности. Это означает, что в реакторе осталось только несколько стержней, полностью или частично введенных в активную Зону для коррекции распределения поля энерговыделения по объему. Все остальные стержни были извлечены. В таких условиях поднять мощность очень трудно и тем более сложно управлять распределением нейтронного поля.

— Валентин Александрович, кто давал приказ о поднятии мощности?

— Дятлов. Они хотели провести испытания любой ценой.

— А если бы СИУР Топтунов отказался поднимать мощность? Он имел на это право?

— Имел. Он мог нажать кнопку АЗ-5 и остановить реактор. Как раз регламент этого и требовал. Реактор прошел бы «йодную яму» в течение суток — и все.

— А начальник смены блока Акимов мог это сделать?

— Да. И Акимов мог это сделать.

— Валентин Александрович, это очень больной — особенно для родных и близких погибших — вопрос: если бы Топтунов и Акимов остались в живых, они были бы на скамье подсудимых?

— Да. К сожалению, были бы. Если бы они заглушили реактор, их бы никто не наказал. Потому что они бы действовали тогда в соответствии с «Регламентом». К тому же, как я понял, как поняли большинство моих коллег, на суде игра шла в основном в одни ворота: доказать бесспорную вину эксплуатационного персонала. И, как видно из приговора, это вполне удалось.

С точки зрения закона, может, все и верно: порок наказан... (Но весь ли порок наказан?) А как быть с Добродетелью? Торжествует ли она? Вопросы... Вопросы...

Персонал нарушил «Технологический регламент», в частности требование о недопущении снижения оперативного количества стержней, находящихся в активной Зоне, ниже 15, хотя при сложившейся ситуации формальное соблюдение требований «Регламента» в данной части вовсе не означало полной гарантии безопасности; все зависит от конкретных условий. В то же время я был свидетелем, когда приходилось работать при значительно меньших запасах реактивности, когда осуществлялся подъем мощности после кратковременной остановки (особенно после ложного срабатывания АЗ) и когда требование прохождения «йодной ямы» было необязательным. Но чем это чревато?.. Об этом действительно нигде не упоминалось. Разве только в техническом задании или описании системы управления и защиты реактора в таком ключе: «...оперативный запас необходим для улучшения маневренности при управляемом частичном снижении мощности в режимах АЗ-1 — АЗ-3...» Не гарантирую точность формулировки, но что возможна ядерно-опасная ситуация — об этом действительно нигде никакого намека.

Была также нарушена программа испытаний. Как бы пло-

ха она ни была, но мощность реактора в ней была указана не ниже 700 — 1200 тепловых МГВ.

Реактор должен был автоматически глушиться по сигналу «отключение двух турбин». Но одна турбина уже стояла, а на 8-ой, на которой проверялся тот злополучный «выбег», **БЫЛА ЗАБЛОКИРОВАНА ЗАЩИТА**, так как ее «ЗАБЫЛИ» разблокировать после окончания вибрационных испытаний. В этом серьезная вина персонала. Поэтому реактор продолжал работать еще почти 30 секунд после отключения турбины, после чего была предпринята попытка заглушить его кнопкой АЗ-5. Сделал это, согласно записи в «Оперативном журнале», СИУР Л. Топтунов. Он же через несколько секунд повернул ключ «снято питание муфт». Об этом мы тоже узнали из записей в журнале (кстати, наиболее честно и аккуратно их вел Л. Топтунов) и из распечаток «черного ящика».

Но в чем персонал прав, так это в том, что они действительно не представляли всех особенностей реактора и его конструктивных недостатков. При снижении запаса реактивности реактор РБМК практически теряет способность управляться, защитные свойства ухудшаются. Более того, возникла та редчайшая ситуация, когда система аварийной защиты (АЗ) послужила стартовым толчком к разгону реактора. Была бы аварийная защита нормальная — реактор никогда бы не разогнал, каких бы ошибок СИУР Л. Топтунов ни наделал. Ибо тормозная педаль должна тормозить, а не разгонять автомобиль.

Если еще говорить о смягчающих вину обстоятельствах, то испытания должна была проводить не смена Акимова и Топтунова, а предыдущие смены — Казачкова или Трегуба. Те смены лучше изучили программу, они были готовы к испытаниям морально. Но вы знаете, что днем диспетчер «Киевэнерго» попросил продержат блок на мощности до вечера. Начальник смены станции Рогожкин мог отказаться сделать это. Он мог заявить, что реактор сейчас работает в переходном режиме и АЭС не может выполнить требование «Киевэнерго». Но оказалось, что Рогожкин с этой программой даже не был знаком. Так он нам заявил, когда мы его вызывали и спрашивали. Знаете, Юрий Николаевич, у меня даже язык отнялся, когда я это услышал... я не знал, что спросить... Он сидел на ЦЩУ — центральном щите управления — и **ОБЯЗАН** был знать, что творится на блоке.

Это что касается «человеческого фактора».

Но есть еще и «технический фактор». И об этом надо тоже говорить откровенно. Ведь мы сейчас досконально разобрались во всем, что произошло в реакторе, только благодаря наличию мощной вычислительной техники, которой мы сейчас располагаем. Но на уровне того времени, когда создавался реактор РБМК-1000, разработчики не располагали такими мощными ЭВМ, трехмерными программами и надежной системой констант, которые позволили бы создать полную математическую модель реактора и «проигрывать» на ней все возможные и невозможные ситуации и находить оптимальные решения по их преодолению. Поэтому до аварии на четвертом блоке ЧАЭС многое оставалось непознанным, конструктивные недостатки — неустраненными.

Первый блок РБМК на Ленинградской АЭС был запущен в 1973 году. За это время в стране вошло в строй 14 энергоблоков РБМК. Мы считали, что мы его хорошо знаем. Увы... далеко не все нам было известно.

Надо честно признать, что сложнейшая техническая система, созданная человеком, в чем-то оказалась еще непознанной, непредсказуемой. Эта непредсказуемость как раз и проявилась в сочетании с нарушениями «Регламента» и ошибками персонала. В другой ситуации это бы не проявилось.

Один из недостатков реактора РБМК — отсутствие достаточной информации об оперативном состоянии активной зоны. С точки зрения физики реактора, сложнейших процессов, происходящих в нем, недостаточным оказалось и количество существующих датчиков, их чувствительность. Информация от них существенно отстает от развития событий в реакторе.

Безусловно, что и само построение БЩУ могло быть более рациональным. Например, на Игналинской АЭС — новой станции — информация представлена более полно и удобно, она более оперативна, и оператор быстрее ориентируется в ситуации. На Чернобыльской АЭС информация не обладает функцией советчика — как лучше поступить? Оператор здесь должен иметь большой опыт работы.

Будем откровенны. Пришло время сказать горькую правду.

Во всем обвинять одну эксплуатацию — это слишком просто и не требует особых доказательств, так как ошибки действительно были и от них никуда не скроешься. Но авария на 4-ом блоке ЧАЭС высветила прежде всего многие конструктивные недостатки реакторов типа РБМК, инженерные и физические просчеты, а также порочность существовавшей (да и сейчас не преодолены эти трудности) системы ведомственной разобщенности Генпроектировщика, научного руководства, Главного конструктора, эксплуатирующих организаций.

В принципе то, что случилось на ЧАЭС, могло произойти на любой другой АЭС с блоками типа РБМК, но случилось именно там, потому что Чернобыльская АЭС лучше была к тому «подготовлена», отчасти в силу именно тех причин, которые справедливо отмечены вами в первой части повести, — то есть это было какой-то «роковой каплей» в общей совокупности всех факторов.

ЧАЭС по сравнению с другими АЭС была наиболее ослаблена с точки зрения технического руководства. К тому же добавьте высокие темпы строительства ЧАЭС, когда кадров попросту не хватало и на ответственные участки выдвигались слабо подготовленные люди, иногда без учета предшествовавшего практического опыта.

Кроме того, ЧАЭС находилась в более сложном, по сравнению с другими АЭС, административном подчинении: с одной стороны — свое республиканское Минэнерго УССР, а с другой стороны — «Союзатомэнерго» Минэнерго СССР. А была еще и третья и четвертая стороны — это контролирующие, лимитирующие и предписывающие организации. Одни требуют план, перевыполнение плана, досрочное освоение мощностей. Другие — выполнения требований «Регламентов», «Норм», «Правил», соблюдения сроков ремонта и т. д. Руководству Чернобыльской станции приходилось маневрировать, чтобы увязать порою неувязываемые вещи, идти на компромиссы, «ублажать» тех, от кого зависит согласование того или иного отступления от проекта, «Норм» и «Правил»... Вот здесь и проявилась порочность существующей системы разделения возможностей и ответственности: АЭС несут ответственность за выполнение плана по выработке электроэнергии, за соблюдение графиков ремонта, за обеспечение безопасности работы энергоблоков, за развитие и реконструкцию АЭС, не имея в руках возможностей «влиять», «обеспечивать», «поставлять», так как вся экспериментальная, конструкторская база, поставщики находятся в других руках — за межведомственным барьером, а эти руки, как правило, ни за что не отвечают (что и подтвердилось в ходе судебного разбирательства).

Так, с благословения того же Главного конструктора и научного руководства допускались некие «временные» отступления, освоение мощности с недоделками и целыми нефункционирующими системами, разрешение на работу на форсированных режимах (чтобы дать план «любой ценой») и тому подобное.

За что же взыскивать с одной эксплуатации, если идеология реактора и его конструкция содержат серьезные изъяны, а всякие отступления от проекта, допускавшиеся в процессе сооружения, санкционировались, как правило, авторским надзором, который есть на любой АЭС?

И еще одно. До сих пор (до аварии) все тщательно измерялось и проверялось только в начальный период — на «свежей» зоне в период физического пуска реактора. Исходная, «нолевая» точка всегда была надежной. Но что происходило с реактором в процессе его работы, — тем более что каждый реактор работал и вел себя по-разному, — никто и ничего не знал. Либо довольствовался тем минимумом знаний, который удавалось получить расчетным путем по упрощенным моделям. Проведение же каких-либо экспериментов с целью уточнения физических характеристик реактора в процессе работы категорически пресекалось, поскольку это шло в ущерб плану по выработке электроэнергии. Да и с точки зрения дилетантов это было не нужно: дескать, реактор работает нормально и что с ним вообще может быть?..

Как это все могло произойти?

Я считаю, что причина всех причин — монополия отдельных лиц, институтов, ведомств на истину в последней инстанции. Любые решения, иногда с откровенными техническими просчетами, отступлениями от действующих «Норм» и «Правил», утверждались рукой непререкаемого Авторитета, без проверки, без объективной технической экспертизы.

Но даже в атмосфере такого силового и авторитетнейшего

давления раздавались голоса предостерегавшие, призывавшие к трезвому взгляду на вещи... Но к ним не прислушались.

Произошла авария.

Вот какая цена была заплачена за пренебрежительно-барское отношение ко всему тому, что исходило из других ведомств. Здесь со всей очевидностью проявилась порочность системы, когда неапробированные и недостаточно обоснованные расчетами и экспериментами решения сразу внедрялись и широко тиражировались. Я не раз был свидетелем того, как решения принимались вопреки мнению экспертизы, а иногда мнение экспертизы подменялось окриком сверху или заранее подбирались только удобные эксперты...

Все, что уже сделано и продолжает делаться на реакторах типа РБМК (а сделано после аварии очень много, поверьте!) для повышения их надежности и безопасности, — делается, как правило, за счет снижения их экономических показателей. Если бы все это было учтено на стадии проектирования, то реактор РБМК (я в этом почти уверен) не был бы утвержден к серийному производству — как неконкурентоспособный и не отвечающий требованиям безопасности. А разве можно сбросить со счетов, что сооруженный энергоблок по фактическим затратам на 20%, а иногда в 1,5 раза превосходил, как правило, утвержденные проектные сметы!

Я лично, как специалист, отдавший атомной энергетике всю свою жизнь, вовсе не противник этого направления — и реактор типа РБМК вовсе не так уж безнадежно плох. Есть реальные возможности и все предпосылки к тому, чтобы его «довести» и сделать действительно безопасным, надежным и оптимальным с точки зрения физики и экономики. Но до сих пор нет института, нет человека, который бы отвечал за АЭС в целом и именовался: «Генеральный конструктор АЭС» (как, например, в авиации, космонавтике).

А что же есть? Генеральный проектировщик — это в основном проектирование зданий и сооружений АЭС, систем электро- и водоснабжения, выдачи мощности и т. д. Главный конструктор реактора проектирует и отвечает только за реакторную установку в пределах своей «зоны проектирования». Научный руководитель отвечает только за физику реактора и обоснование пределов безопасной эксплуатации.

Есть еще масса разработчиков и поставщиков отдельных технологических систем и оборудования: турбин, насосов, разгрузочно-загрузочной машины, информационно-вычислительной системы и т. д., — которые работают по соответствующим техническим заданиям, выдаваемым им вышеперечисленными институтами.

Говорю это все с одной лишь целью: подобное никогда не должно повториться».

ИЗ ПРИГОВОРА: «Уголовное дело в отношении лиц, не принявших своевременных мер по совершенствованию конструкций реактора, органами следствия выделено в отдельное производство» («Московские новости», 9 августа 1987 г.).

В. ЖИЛЬЦОВ: «Извините, Юрий Николаевич, но мне не нравится раздел «Предчувствия и предсказания». Я против всяких ссылок на «Апокалипсис», всяких разговоров о мистических «предсказаниях». В аварии никакой мистики нет. Мы сами упорно шли к ней долгие годы. Это техническим авантюристам выгодно было бы теперь все свалить на «слепую» стихию. Вот их надо разоблачать, а не рассуждать об «Апокалипсисе». Так мы можем только оправдать порочную систему, приведшую к аварии на Чернобыльской АЭС.

Ведь и до этой аварии были другие, которые тщательно анализировались; делались правильные выводы, которые зачастую оставались благими пожеланиями. Таким образом, готовилась почва для серьезной аварии (апокалипсиса). Я утверждаю, что настоящие виновники (творцы апокалипсиса) ушли от наказания. На скамье оказались лишь рядовые исполнители, сотворившие аварию без злого умысла, — продукт, порожденный системой.

Я и сейчас продолжаю утверждать, что ЭТО могло с равной степенью вероятности произойти на любой другой АЭС, а произошло в Чернобыле не потому, что кому-то так приснилось, а потому, что Чернобыльская АЭС ближе всех подошла к той опасной черте... Я помню высказывание В. П. Потаповой — высококвалифицированного специалиста по реакторам. Еще в 1977 году она сказала: «ОНИ же не представляют, что делают. Они же взорвут станцию!» Это был не бред больного воображения, а однозначный вывод,

сделанный после наблюдения за реальными людьми, за степенью их готовности к выполнению определенных функций.

Для каждого дела надо созреть — морально, политически, интеллектуально. Всякая патология — из-за несоответствия уровней развития науки и техники уровню знаний, компетентности, моральной и социальной готовности управлять этой техникой».

Наказания и награды

Нет нужды возвращаться к известным постановлениям (1986 г.) Политбюро ЦК КПСС и Политбюро ЦК Компартии Украины, в которых указаны конкретные виновники происшедшего, понесшие партийную и государственную ответственность за содеянное. Приговор суда также хорошо известен.

Однако этим не исчерпывается вопрос о вине и наказании отдельных должностных лиц. Существуют еще и нравственные измерения. Так, в ряде писем и во время встреч с читателями меня спрашивают о секретаре Киевского обкома партии В. Маломуже, интересуются: какое он понес наказание за свою деятельность по заглушению информации в первые часы аварии в Припяти? Что я могу на это ответить? Я писал не фельетон, не разоблачительную статью. Если бы это было моей целью, пришлось бы вести специальное расследование, потратить уйму времени. Но я писатель, а не прокурор. Я излагал только факты. Выводы пусть делают другие, в том числе и те, кто назван или подразумевается в повести. Это дело их совести — возмущаться, делать вид, что ничего не произошло, или, сгорая от стыда, подать в отставку, покайсявшись в своих вольных или невольных грехах.

Но судя по всему, В. Маломуж от стыда не сгорает. Он продолжает работать секретарем Киевского обкома партии. Более того. Сотрудники ЧАЭС и бывшие жители Припяти с изумлением увидели имя В. Маломужа... в списке делегатов XIX партконференции от киевской областной парторганизации! Человек, имя которого неоднократно упоминалось на суде, когда речь шла о попытках исказить подлинный образ событий 26 апреля 1986 года, выступает сегодня в роли поборника гласности и перестройки! Оригинально, не правда ли?

Не все в порядке, на мой взгляд, и с наградами.

НИЧЕМ не награждены такие подлинные герои Чернобыля, как замечательный летчик Николай Андреевич Волкозуб (см. «Юность» № 7 за 1987 г., главу «Полет над реактором») и Анатолий Андреевич Ситников, отдавший свою жизнь во имя того, чтобы предотвратить катастрофу еще больших размеров... Без награды остался и безотказный трудяга, «чернорбочий аварии» Александр Эсаулов — заместитель председателя Припятского горисполкома, о котором рассказывалось в первой части повести.

Недопустимо медленно, на мой взгляд, решался бесспорный вопрос о награждении мужественных пожарных: разве нельзя было присвоить им высокие звания Героев Советского Союза, наградить их орденами **ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ** — в начале мая 1986 года? Ведь не было же сомнений в том, что они совершили подвиг.

Просто медленно, по старым канонам работала машина наградений. А порою — даже сама процедура «выдвижения». Впрочем, бывали и любопытные исключения. Передо мною лежит «наградной лист» на бывшего первого секретаря Припятского горкома партии А. С. Гаманюка — человека, несущего личную ответственность за происшедшее на АЭС и получившего за это партийное взыскание.

В этом «листе» говорится: «С 4 мая после выхода из больницы принимает участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Аппарат городского комитета партии, руководимый А. С. Гаманюком, основной задачей считал и считает партийное влияние при ликвидации последствий аварии на население». Предлагалось наградить т. Гаманюка Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР. А под «наградным листом» стоит... подпись самого А. С. Гаманюка и печать Припятского горкома партии!

По-разному решался вопрос о наградах тем, кто трудился на ликвидации последствий аварии. Кто был удостоен орденов, кому были вручены грамоты или денежные премии. В одной из воинских частей мне показали самодельные значки, которые выдавались всем участникам ЛПА. Уникальные, надо сказать, значки. И все же, мне кажется, вопрос о на-

граждении всех тех, кто принял участие в событиях всемирно-исторического значения, до конца так и не решен.

Поэтому я обращаюсь к Президиуму Верховного Совета СССР с предложением учредить памятную медаль «Участнику ликвидации последствий аварии в Чернобыле». Самое трагическое событие после Великой Отечественной войны должно быть достойно увековечено, а его участники пусть получают то, что по праву заслужили.

И только одну привилегию следовало бы предоставить тем, кто получит такую медаль: привилегию в немедленном, внеочередном оказании высококвалифицированной медицинской помощи.

Что же дальше?

Размеренно-привычной стала жизнь Зоны: колонны автобусов, везущие из Зеленого Мыса и обратно очередную смену эксплуатационников; армейские подразделения, проводящие дезактивацию местности... От «Рыжего леса» осталось только одно дерево — многоствольная сосна, похожая на подсвечник. Под сосной — памятные знаки: здесь, на этой сосне, оккупанты во время войны вешали партизан...

В Зоне появилось было много грызунов — мышей-полевков. Урожай зерна в 1986 году не был убран — вот они и расплодились. Кое-кто забеспокоился, опасаясь эпидемии, но сработали законы природы — налетели хищные птицы, объявились лисы, и установилось динамическое равновесие. Животный мир очень чутко отреагировал на уход человека из Зоны: из ближайших и даже отдаленных лесов дичь пошла в Зону. Появились и «краснокнижные» виды. «Человек, выходит, для них больший враг, нежели радиация», — сказал мне радиоэколог Николай Павлович Архипов, заместитель директора ПО «Комплекс».

А Юлия Борисовича Андреева, которого я уже представлял как сталкера, беспокоит, что до сих пор не выработана серьезная экологическая программа по Зоне.

Ю. Андреев:

«У нас сложилось ложное положение в науке. Основная наука по численности — ведомственная, которую и наукой называть не совсем корректно. Это обслуживание чьих-то интересов на некоем уровне. В 30-е годы у нас в стране был выбит целый слой интеллигенции — высококвалифицированных ученых, инженеров. А наплодили вот эту ведомственную армию псевдоученых.

Ведь что такое наука? Это прежде всего торжествующая объективность. Может ли быть, скажем, ведомственная арифметика? А ведомственная экология, как у нас оказалось, может быть. Могут быть ведомственные подходы и к техническим дисциплинам. К медицине. Это чудовищно. Уход от объективной истины. Следствие общей низкой духовной культуры общества. Склонность ко лжи ради собственной сиюминутной выгоды — вот как это называется.

Чернобыльская авария породила множество утопических проектов. В области экологии — это идея посадить бобовые растения, которые, дескать, вытянут все радионуклиды на себя, а мы их потом срежем и уберем...

Но серьезных экологических решений по Зоне не выдвинуто до сих пор. Нет ни одной стройной, законченной программы. Пришлось нам — техникам, инженерам, а не экологам — создавать такую программу. Мы разбили всю Зону на квадраты, изучили каждый квадрат и предложили способы, которые помогут на конкретном квадрате ликвидировать радиоактивное загрязнение. Способы эти разные, зависят от ландшафта, от особенностей самих загрязнений. Мы получили в этом деле помощь от украинской Академии наук, от ее вице-президента Виктора Ивановича Трефилова.

Наша программа рассчитана на 7—10 лет. Это программа дезактивации Зоны, уничтожения очага заразы. Может быть, мы совершаем ошибки. Наверное, совершаем. Но я считаю, что гораздо хуже — ничего не делать. Огородить Зону, посадить в середине какого-то мудрого биолога, и вот он будет смотреть в микроскоп, а вокруг будет мертвая зона. Нет, нам не надо мертвой зоны. Если следовать по этому пути, то мы через 300—500 лет вообще останемся без земли, потому что Чернобыль станет прецедентом: уничтожили — огородили — ждем.

Что меня окрыляет? Мы с моими молодыми сотрудниками — а это большие энтузиасты — разрабатываем не только технологию, но и создаем МАШИНЫ. Машины, которые позволят в щадящем режиме, сберегая природу, провести дезактивацию Зоны.

— Юлий Борисович, а какова техническая перспектива Чернобыля, в частности саркофага? Он что, вечно будет стоять на нашей земле?

— Что такое саркофаг? Если отбросить трагическую сторону аварии, то, в сущности, саркофаг — это блок, отслуживший свое. Сейчас начинает оформляться концепция — как поступать с блоками, отслужившими свое. Американцы первую свою станцию уже сняли с эксплуатации. В принципе, самый радикальный выход — зеленая лужайка на месте блока. В этом есть глубокий смысл. В ином случае весь мир будет в конце концов уставлен этими гробами. Где же мы окажемся? У нас в Союзе некоторые блоки тоже выработали свой ресурс, они остановлены, нужно их разбирать. И саркофаг должен быть очищен от топлива, а затем разобран. Топливо же следует захоронить.

— По Киеву ходят панические слухи, что вот-вот саркофаг начнут ломать, разгребать. Меня спрашивают: надо ли вывозить детей?

— Нет. Эта концепция еще изучается. Самойленко считает, что мы можем очистить саркофаг за три-четыре года. Он человек более молодой, более оптимистичный. Я считаю, что для этого потребуются шесть — восемь лет. Нужно подготовить роботов, специальные механизмы, оснастку. Задача даже для нашей организации очень сложная».

Чернобыль сдвинул наше сознание, образовал в нем некие черные дыры. Мой киевский друг Владимир Михайлович Черноусенко — старший научный сотрудник Института теоретической физики АН УССР, трудился в Чернобыле много и мужественно. И вот послушайте, какие изменения произошли после аварии в сознании типичного физика.

В. Черноусенко:

«Я думаю, что мы утратили мудрость народную: скупой и глупый платит дважды, но платит не деньгами, а жизнью... И поэтому если мы могли вложить миллиард на постройку блока, то я не могу понять, почему мы не потратили двадцать миллионов для того, чтобы этот блок был локализован мгновенно в случае какой-то катастрофы... И самое поразительное, что прошло два года, а мы ведь ни в чем не сдвинулись с места.

Два года мы с Юрием Самойленко пытались реализовать идею о создании «корпуса быстрого реагирования». Если мы создаем потенциально опасные для человечества — не для региона даже! — промышленные объекты, то должны с десятикратным опережением предусмотреть возможность аварии... Ведь вы посмотрите, сколько опасных аварий у нас возникло уже после Чернобыля! Почему же мы не учимся на собственных катастрофах? «Корпус быстрого реагирования» должен иметь четкую стратегию, обученный персонал, технику, чтобы реагировать на все локальные, а в случае необходимости и на глобальные катастрофы в любой точке земного шара. Разве это не гуманная идея, укладываемая в рамки нового мышления?! НА ЛЮБЫЕ АВАРИИ: ядерные, химические, промышленные...

Когда мы говорим сейчас о демократии, нас обнадеживает возможность вторгнуться в какую-то закрытую отрасль, для которой что регион Украины, что Белоруссия, что Куба — без разницы. Ты только прикажи, в каком регионе строить и работать, а нравственные начала... Поэтому даже те трагедии, что были в нашем государстве прежде — даже политические процессы 1937 года, сталинские репрессии, — они меркнут, поскольку на этот раз речь идет о полном самоуничтожении. И поэтому решения, затрагивающие жизнь и существование огромного количества людей, целой нации, должны быть демократичны. От момента их создания до их внедрения. Я понимаю, что может быть хороший руководитель, плохой, активный, пассивный, но это уже детали. Надо решать самые коренные вопросы жизни, бытия народа.

Надо менять взгляд на то, что мы творим. А нужно ли, скажем, ставить такой-то блок, если он технически несовершенен? И какую ты в нем ни посади команду к обслуживанию, она не спасет. А может быть, лучше ЛЭП протащить от Ледовитого океана сюда? Перед нами стоит дилемма: либо мы включаем демократические механизмы и прислушиваемся не только к мнению узкой группы людей — конструкторов, строителей, — а всего народа, либо мы погибнем.

В свое время я учился в Харьковском авиационном институте. У нас тогда разрабатывалась безумная идея: создать самолеты с атомным двигателем. Везить над головами людей всю эту гадость — реакторы, топливо. К счастью, идею

«зарубили». Но я запомнил это сумасшествие. А потом учился на ядерном отделении физфака Харьковского университета, сейчас занимаюсь теорией плазмы. И если честно сказать, то теперь, после Чернобыля, я бы не хотел создать плазменную энергетическую установку. Мы, физики, почему-то мало внимания обращали на окружающий мир. Слепота какая-то. Нам нужна была сиюминутная выгода и немедленный результат. Как обжечь природу? А природу обжечь не нужно. Она нам все подарила. Мы стонем, что нам не хватает энергии. Но если бы эти миллиарды рублей да направить на поиски экологически чистых источников энергии... Достаточно вывести десяток спутников на геостационарные орбиты — и мы могли бы обеспечить себя энергией на десять тысяч лет вперед. Спутники бы транспортировали солнечную энергию на Землю. И пока Солнце бы существовало, мы бы тоже существовали...»

Работая над первой книгой повести, я познакомился с удивительным человеком — академиком Валерием Алексеевичем Легасовым, которого сотрудники ласково называли «Валексеевич». Вижу его лицо простого мастерового, слышу его характерный басовитый голос, вспоминаю выстраданные, беспощадные по правде слова о причинах наших бед, не только чернобыльских: причины крылись не в сфере чистой техники, а в области нравственной.

Теперь, когда пришла неожиданная и страшная весть о смерти Валерия Алексеевича, я снова вчитался в строки его монолога, опубликованного в седьмом номере «Юности» за 1987 год. Многое теперь переосмысливается по-иному, и слова, сказанные Легасовым о поколении великих ученых и техников нашей страны, стоявших на плечах Толстого и Достоевского, можно было сегодня отнести к самому Валерию Алексеевичу: это он в своих мучительных поисках истины старался поставить науку на прочный фундамент морали. Опираясь на плечи гигантов литературы, он, химик, видел намного дальше, чем многие его коллеги, угадывая контуры будущих трагедий в неясной дымке будущего, предупреждая человечество об опасности бездумного тиражирования техники, беспредельного умножения ее дьявольских мощностей.

Владимир Степанович Губарев, писатель, журналист, лауреат Государственной премии СССР, автор пьесы «Саркофаг» и книги «Зарево над Припятью»:

«Смерть Валерия Алексеевича Легасова потрясла меня.

Я давно знал Валерия Алексеевича — еще до Чернобыля. Он был не только великим ученым, но и писал стихи, любил театр, был подлинным мыслителем, пылливо интересовался многими явлениями нашей жизни.

Во время чернобыльских событий я увидел академика Легасова в деле, убедился в его умении моментально анализировать обстановку, принимать самые ответственные решения. Наши отношения окрепли в Чернобыле, и уже в «послечернобыльскую эру», в Москве, мы часто встречались с Валерием Алексеевичем, о многом откровенно говорили.

Осенью 1987 года он принял большую дозу снотворного. Почему он тогда это сделал? Валерий Алексеевич не отвечал на подобные вопросы... Может быть, случайность?

Я тогда впервые почувствовал, какая пропасть разверзлась между академиком Легасовым как личностью и ученым и окружавшей его реальностью. Надо прямо сказать — как бы горько ни было, — что Валерий Алексеевич последние два года жил в некоем вакууме. Его друзья все видели, могут подтвердить это.

— В чем выражался этот вакуум?

— Вот пример. Я попросил его написать большую статью для «Правды». Статья называлась «Из сегодня — в завтра». Она была опубликована 5 октября 1987 года. В ней поднимались острые, принципиальные проблемы безопасности не только атомной энергетики, но и вообще крупных технологических систем. Так вот, статья эта БЫЛА ПРОСТО НЕ ЗАМЕЧЕНА теми, кого она касалась в первую очередь. Они даже не откликнулись на нее. Что-то вроде — ученый пописывает, мы почитываем, и все идет, как шло.

Полное игнорирование его мыслей и тревог — что может быть оскорбительнее для ученого?

Вакуум, о котором я говорил, во многом образовался после Чернобыля. Я убежден, что Чернобыль сыграл самую непосредственную роль в роковом решении Валерия Алексеевича уйти из жизни. И пусть помолчат ведомственные оптимисты, будь то медики или атомщики...

Конечно, никто не сможет однозначно ответить на вопрос

«почему?», мучающий сейчас всех, кто знал Легасова, любил его и дружил с ним. Тайна смерти — одна из самых сокровенных тайн Бытия... И все же мы должны разобраться, что же могло подтолкнуть академика Легасова к роковой черте. Потому что его смерть — это тяжелый удар по нашей науке, по всем нашим надеждам на победу правды и справедливости в жизни. Это укор всем нам.

Есть еще одно обстоятельство, над которым надо задуматься. Химик по специальности, Легасов никогда вплотную не занимался ядерными реакторами, достоинствами или недостатками их конструкций. И вдруг жизнь заставила его в Чернобыле заняться этим. Уже 27 апреля 1986 года он на БТРе одним из первых подъезжал близко к 4-му блоку, чтобы понять, что произошло.

Он стал скрупулезно — характер у него такой — разбираться в причинах аварии, во всем комплексе этих причин. Многое ему открылось тогда, на многое он посмотрел иными глазами, потому что Чернобыль обнажил глубинные корни наших застарелых недугов. Вот как он писал об этом в своих воспоминаниях, а фактически — в своем завещании, опубликованном уже после его смерти 20 мая 1988 года в «Правде»: «После того, когда побывал на Чернобыльской станции, я сделал однозначный вывод, что чернобыльская авария — это апофеоз, вершина всего того неправильного ведения хозяйства, которое осуществлялось в нашей стране в течение многих десятков лет».

Я убежден, что после Чернобыля он стал другим человеком, как стали другими мы с вами. Он уже на все окружающее смотрел сквозь призму Чернобыля.

А это далеко не всем нравилось.

И вот нашлись люди, которые начали изо всех сил уменьшать роль академика Легасова в ликвидации последствий аварии. Хотя, повторяю, он играл в Чернобыле основную, самую ответственную роль. В самые горячие дни эти люди помалкивали, во всем соглашались с Валерием Алексеевичем. Но уже после того, как было сооружено «Укрытие», они начали напрямую критиковать Легасова за некоторые решения, принятые в первые дни аварии, приписывать ему то, к чему он вовсе не имел касательства.

Снова, в который уже раз, сработала старая наша болезнь: мы умеем ругать человека, умеем унижать его достоинство. В этом мы преуспеваем. Наука ненависти, обскурантизма, нетерпимости сидит в нас со сталинских времен. Но мы не умеем вовремя похвалить, сказать доброе слово, поддержать в трудную минуту того, кто стоит рядом. А потом бывает поздно...

С моей точки зрения, В. А. Легасов заслуживал присвоения ему звания Героя Социалистического Труда за подвиг в Чернобыле. Если не он, то кто же тогда? Почему же не дали ему эту звезду? Может быть, теперь, когда мы наконец-то поняли, КАКОГО УЧЕНОГО, КАКОГО ПАТРИОТА ОТЧИЗНЫ мы потеряли, может быть, стоит вернуться к этой идее и хотя бы ПОСМЕРТНО присвоить звание Героя академику Легасову? Думаю, это было бы в высшей степени справедливо.

Вакуум образовался не только в вопросах, связанных с Чернобылем. Делом жизни Легасова было развитие химии. Одна из характернейших его особенностей: он жил не сегодняшним и даже не завтрашним днем, а заглядывал дальше. Что будет послезавтра, уже в XXI веке?

А ведь серость, которая — увы — глубоко проникла в нашу науку, живет только сегодняшним днем. И потому эта серая плесень отвергла смелые идеи Валерия Алексеевича по созданию неформальных временных молодежных научных коллективов, нацеленных в будущее.

Конечно, ни одна из этих причин сама по себе не может быть, очевидно, решающей. Но все вместе они создавали мрачный психологический фон. Поймите, ведь он жил только наукой, он был одержим наукой. И когда он увидел, что даже после Чернобыля многие его предложения и предупреждения вязнут в трясине равнодушия, — он совершил то, чего мы не можем оправдать, с чем не можем смириться. Это был крик отчаяния...

Не исключено, что определенную роль сыграло и состояние его здоровья, ухудшившееся после Чернобыля. Ведь от радиации страдают иммунные системы. Поэтому Легасов в последнее время подолгу лежал в больнице. Ко второй годовщине аварии я хотел сделать с ним большой — на всю полосу «Правды» — материал: «Чернобыль: два года спустя». Но он пролежал до конца марта в больнице.

А 27 апреля 1988 года, во вторую годовщину Чернобыля, Валерий Алексеевич на 12 часов дня вызвал машину. Шофер

приехал точно вовремя. Вошел в квартиру... Легасов был уже мертв...

Еще одна трагедия Чернобыля, еще один удар колокола, еще одно напоминание всем нам. Ведь Чернобыль обозначил пропасть между знанием и невежеством, между правдой и ложью, между совестью и бесчестьем.

Валерий Алексеевич Легасов стоял на той стороне, где знание, правда, совесть. К сожалению, по другую сторону пропасти стояли и стоят его оппоненты. Они ведут борьбу тихо, почти незаметно, создавая вокруг таланта вакуум. Сейчас, в наши дни, они пользуются и «испытанным» оружием — клеветой, доносами, очернением. И не только при жизни, но даже и после смерти... Этому натиску «инквизиции XX века» надо дать беспощадный бой, иначе она может задушить... Гибель академика Легасова призывает каждого из нас к такой борьбе».

Недавно сталкер Ю. Андреев привез мне чернобыльский сувенир: зеленую квадратную кнопку с надписью 2AP2. Кнопку из БЩУ-4. Одну из роковых кнопок, которые нажимались в ночь на 26 апреля 1986 года незадолго до взрыва четвертого реактора.

Храню и помню.

Будущим историкам, уверен, еще предстоит оценить роль Чернобыля в пробуждении нашего народа, освобождении его от сталинского страха, вколотенного в наши души сызмальства, от брежневской спячки в гнилых водах застоя, равнодушия, примирения со всем несправедливым и неправдивым. Из понятия физического, технического, географического Чернобыль стал категорией нравственной, он навсегда вошел в души людей. Подобно замедленной цепной реакции он распространяется в умах и сердцах человеческих, заставляет людей ставить, не боясь, самые острые вопросы нашей жизни.

А тот, кто находит в себе мужество задавать непростые вопросы, уже не раб, но сознательный гражданин Отечества.

Чернобыль — слишком грозное и еще не познанное до конца явление, чтобы можно было легко преступить через него, предать все забвению, как хочется некоторым. Он неподвластен жалкой и временной власти отдельных должностных лиц. Нет никакого сомнения, что еще будут названы имена всех тех, кто принимал решения о блокировании информации, кто пытался скрыть аварию и ее последствия, кто несет ответственность перед народом нашим, перед нашими детьми. Если не судом людским, то судом божьим (то есть высшим судом истории) будут сурово наказаны эти презренные прислужники лжи.

Сегодня, через два года после Чернобыля, ясно видится, что волна, поднятая аварией, не только не пошла на убыль, но и нарастает. Общественное мнение Украины — и не только Украины — поднялось на борьбу с бездумным тиражированием АЭС, с непродуманным их размещением в болезненных точках, в стратегически уязвимых, густонаселенных районах нашей страны, и, хотя бы того или не хотят руководители Минатомэнерго СССР, им придется с этим считаться.

21 января 1988 года в газете «Літературна Україна» было опубликовано письмо академиков А. Алымова, Н. Амосова, А. Гродзинского и других видных ученых и энергетиков «А какой прогноз на завтра?», в котором ставились обоснованные и очень тревожные вопросы Министерству атомной энергетики. Это ведомство вознамерилось в дополнение к семи АЭС построить на Украине еще шесть блоков по миллиону киловатт каждый.

Публикация вызвала огромное количество откликов со всех концов республики. На первом заседании экологической комиссии Союза писателей Украины, председателем которой был избран я, была единогласно принята «Экологическая декларация», содержащая требование создать демократический механизм принятия ответственных решений в условиях гласности и конструктивного диалога с общественностью.

Прошли времена всепокорного молчания перед любыми проявлениями ведомственного произвола.

На заседании приводились следующие цифры: на территории Украины, занимающей лишь 2,7 процента всей территории СССР, расположено почти 25 процентов всех советских блоков АЭС. Между тем, по мнению специалистов, только 10 процентов украинских грунтов отвечают требованиям, предъявляемым к строительству АЭС. Если же учесть самую высокую плотность населенных пунктов на территории УССР, то станет ясно, что вопросы размещения атомных станций здесь требуют чрезвычайно ответственного подхода, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС.

Никого больше не убеждают бодрые телевизионные заверения специалистов Минатомэнерго СССР о том, какая замечательная степень безопасности достигнута наконец-то на атомных реакторах. Не верят люди. Миф о безопасности и экологической «чистоте» ядерной энергетики навсегда рухнул в Чернобыле.

Игнорировать чернобыльский шок — значит совершать очередную непростительную глупость.

Так думает подавляющее большинство украинского народа. Это, без преувеличения, единодушное мнение очень точно выразил украинский поэт Борис Олейник, заявивший с трибуны XIX Всесоюзной партийной конференции: «Я привез обращение к XIX Всесоюзной партийной конференции общественности республики «О пересмотре программы развития энергетики на Украине», под которым стоит свыше шести тысяч подписей. Высокомерие и пренебрежительность некоторых союзных инстанций, и прежде всего Минэнерго, к судьбе Украины граничат не только с какой-то немилосердной жестокостью, но и с оскорблением национального достоинства. Я вспоминаю, как, требуя строительства Чернобыльской АЭС, некоторые, посмеиваясь над «украинским синдромом», говаривали: да это же настолько безопасно, что можно вмонтировать реактор под ложе новорожденным».

Мы не опустимся до того, чтобы рекомендовать пересмешникам ставить свои кровати у четвертого реактора. Но мы вправе потребовать привлечь к персональной ответственности проектировщиков, допустивших грубейшие просчеты в выборе площадок для АЭС на Украине. В частности, сооружение Ровенской АЭС на карстовых землях уже привело к перерасходу многих миллионов народных рублей. Строительство Крымской АЭС на тектонических разломах в условиях подъема грунтовых вод грозит катастрофой. А проект спаренных энергоблоков 3-го и 4-го на ЧАЭС, а радиозэкологическая обстановка, сложившаяся после аварии на ЧАЭС в Киевской, Житомирской, Черниговской, Ровенской, Черкасской областях и некоторых районах нашей синеокой сестры Белоруссии? А история с Чигиринской АЭС, строительство которой под давлением общественности обещали остановить, но идут слухи, что строят?..

В указанном обращении даны научно взвешенные альтернативы. Не надо только сразу «шить» опознавательные знаки в том смысле, что кто-то не хочет АЭС именно на Украине, а пусть, мол, у других. Нет, естественно, мы за развитие энергетики. Но есть пределы, пределы насыщения, преступать которые просто преступно».

Чернобыль — событие беспримерное в мировой истории, с которым не сравнится ни одна известная до сих пор катастрофа. Ни гибель «Титаника» или «Адмирала Нахимова», ни аварии авиалайнеров, ни взрывы в шахтах, какими бы тяжкими жертвами они ни сопровождались, нельзя сравнить с тем, что случилось в Чернобыле: эта «звезда «Полынь» словно была послана из будущего, из XXI века, нам всем как грозное предупреждение — опомниться, задуматься над всем ходом цивилизации, сделать, пока не поздно, серьезные выводы.

Впрочем, первые серьезные сигналы, первые предупреждения были посланы нам еще из века XIX: вспомним Достоевского, Толстого, Жюль Верна, Энгельса, Вернадского. Каждый из них по-своему предупреждал нас. Не слушали... Не верили... Думали: они ничего не понимают. Они наивны и старомодны. Мы — победители, нам все доступно, мы все можем! Можем забыть про совесть и десять заповедей, можем быстро, в ударно-ускоренном порядке, планомерно создать нового, идеального человека — стоит лишь хорошенько его повоспитывать в школе и на политинформациях.

А пришли — к Чернобылю. Пришли к кризису веры. Пришли к краю пропасти...

...Наступила пасха 1988 года, и моя дочь Богдана решила сделать подарок бабушке — моей маме, лежавшей в больнице, — человеку глубоко верующему. По давней украинской народной традиции расписала ей пасхальные яйца — «писанки». Светлый, прекрасный обычай, идущий еще из языческих времен: яйцо — это символ жизни, весны, солнца. Каков же был мой ужас, когда среди прочих я увидел одну «писанку» с изображением атома, силуэтом Чернобыльской АЭС, колючей проволокой и надписью: «Запретная зона!»

Первая чернобыльская «писанка» в истории моей Украины.



Сергей
ЗЯБЛИЦЕВ

Соловки

Из вас ни один не очнется
До кровавой, до судной звезды,
И ничьей-то слезой не прервется
Горький сон ваш у вечной воды.

Не с того ли, так поздно прозревший,
Я у братской могилы поник?
Не с того ли такой сумасшедший
Здесь чашек отчаянный крик?

Не с того ли в безмолвном укор,
Когда вспыхнет в столице салют,
Здесь, над яростным северным морем,
Безымянные тени встают?

Живая вода

Песня старинная льется,
Словно вода из ведра,
Грустно мерцает в колодце
Чистая рябь серебра.

В ведрах тяжелые луны,
Сонно плескаясь, плывут,
Ветви черемух, как струны,
Тронешь — и запоют.

Там, на садовой скамейке,
Как сиротливый кулик,
Хохлится в телогрейке,
Думает думу старик.

В землю колымскую годы
Вбил он тяжелым кайлом,
И ему воздух свободы,
Как самородок, весом.

Мир вам, первопроходцы
Века борьбы и труда,
В вас, как в глубоких колодцах,
Светит живая вода.

Егерь

Долго рысь волочила капкан,
Но легла, затаилась в лого,
Диким посвистом свищет буран,
Шапки сосен трясет на бегу.

Заметает беглянки следы,
Только нюх у собаки остер,
А стволы у двустволки тверды,
И отточен, как ветер, топор.

Вдруг собака ликующий зов
Со звериным рычаньем слила,
И на уровне черных стволов
Кошка, лапу подняв, замерла.

Зарычала, оскалась: — Не тронь! —
Напружинилась перед прыжком,
Но ударил под сердце огонь,
И в сугроб повалилась мешком.

Я обратно пошел, волоча
Тушу зверя. Пуржило сильней,
И за полночь уже постучал
Я в закрытые двери сеней.

Вот и все. На родимый порог
Я угрюмо патрон положил,
А потом себя водкой обжег,
Словно что-то в душе потушил.

☆☆☆

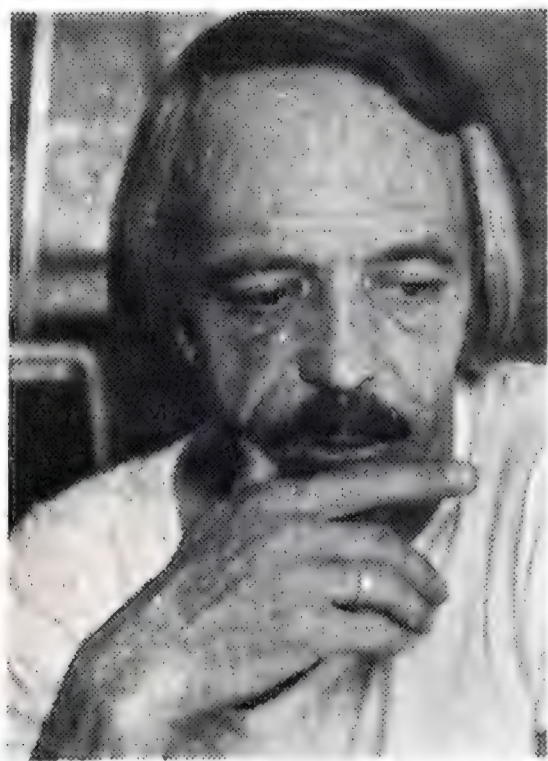
Я вышел в шорохи и тени.
От поздних звезд бледнеет сад,
Крыльца остывшие ступени
Босые ноги холодят.

Как нежно, трепетно и чисто
Росой мерцают лопухи!
Как отрешенно-серебристо
Ночь отпевают петухи!

Достану яблоко из кадки
И беззаботно рассмеюсь:
Я сам себе еще загадка,
Загадок мира не боюсь.

Пусть деревенскими ночами
Так прост и ласков звездный свет,
Но дышит бездна за плечами,
Которой и названья нет...

г. Киров



Петр
ВЕГИН

☆☆☆

Я отвечаю за безымянную эту церквушку,
неумолимо сползающую в овраг.
Я отвечаю за эту старушку,
по ледяному асфальту
боящуюся сделать шаг.

За каждую вырванную, помятую
страницу истории родной,
и, рожденный
в тридцать девятом,
я отвечаю
за тридцать седьмой.

За то, чтоб не повторился,
чтоб не вернулись
его кровавые поводыри,
чтобы выпрямленные не согнулись,
я отвечаю.

И ты.
Повтори!

Бассейн «Москва»

Серебряный сторож музея изящных искусств,
присев под роденовской бронзой, признался:
«Вот я атеист, но как встретимся с нашим пожарным
и с экскурсоводом по средним векам,
как хватим портвейну по полтора ста,
так мне всякий раз мерещится сквозь туман
тот взорванный храм...»

А над бассейном «Москва» клубился туман —
как синтетический мех
вывернутой наизнанку перчатки,
как вечный след взрыва,
и все это было похоже
на неосязаемый иней, застывший в форме куполов
взорванного в 1931 году
храма Спасителя...

Белый слепок храма,
его посмертная маска
из невесомого гипса
прикипела к бассейну.
В идеально хлорированной воде
плескались мои соседи по жизни — как прихожане
туманного отраженья собора. А вдруг
бассейн вырыт в форме его опрокинутого отраженья
и аквалангисты замещают ангелов? — и с этой
парадоксальной мыслью
нырнул я, нарушив «правила поведения в бассейне»,
и глаза отворил, но
только калейдоскоп купальников — движущийся витраж
мерцал над моей головой.
«В России немало красот, но было бы лучше,
когда бы одной было больше...»
Но все это, в общем, не страшно —
и что вечным следом от взрыва туман над воронкой
бассейна,
и то, что мерещится сторожу после портвейна,
поскольку понятия красоты
меняются неумолимо,

а польза бассейна
в сравнении с пользой храма —
как между курением трубки
и курением фимиама.

В России, бросая курить,
начинают, естественно,
с фимиама.

1972

☆☆☆

Полудожь? Да, полуснег.
Полусвет? Да, полусумрак.
Ночи старый полушубок
мехом вывернут наверх.

В полутьме полувидны
пары — но неразличимы:
кто там женщины, мужчины.
Вроде пола лишены.

Полуночица моя,
полужертва полупрозы,
разве счастье бытия —
полурадость, полуслезы?

Полуправда, полуложь...
Полуснег — когда он минет?
Перочинный чей-то нож
все на свете половинит.

Я и сам, полусмешной,
крылья пользуя, как латы,
полужив от полуправды,
жгу огарок восковой...

1974

Дочь рисует мой портрет

Не втоптанный в грязь,
не оболганный,
не лгавший сам никому,
ни о чем не просивший Бога,
тем более черта, в гробу
выдавший всё, что горбу
выпадет, — стройный, глазастый,
во веки меня не сломать! —

каким же быть надо мастером,
чтоб так меня нарисовать!

Таким нарисовала меня
дочь моя — умница, кудесница,
матиссница, пикассница,
чудо пятилетнее,
не стесняющееся говорить:
«Я малюю, значит, я — Малевич!»

К какому же направлению
следует ее причислить,
если из такого деформированного
человека она создает шедевр?!

«А это что, — я говорю, —
а это что?»

И, полная серьезы,
она отвечает,

что это под пальто
во мне растет таинственная роза!

Я ночь не сплю.

Я завтра выйду жить,
я буду прям,
как на рисунке дочкином,
и я отныне буду говорить,
не заменяя слово многоточием.

И оттого вопрос «Быть иль не быть?»
отныне не звучит вопросом,
что я еще
надеюсь заслужить
ее таинственную розу.

Представляя выставку группы «Плацкарт» в «Юности», художники — члены группы заявили: «Если вообразить, что все плакатисты едут в каком-то абстрактном поезде... Ну, куда бы? Ну... в светлое будущее, скажем так, то наша группа едет в плацкартном вагоне — в более демократичном (вот и разговорное «плацкарт» вместо «плацкарта»), но и в более жестком».

Что ж, попробуем представить себе это. «Юность» берет интервью у тех,

КТО ЕДЕТ В ЖЕСТКОМ ВАГОНЕ.

Итак, жесткий плацкартный вагон. Входит корреспондент. Не все художники согласились высказаться, поэтому вообразим далее, что все они спят (ночь), и корреспондент, человек бесцеремонный, как бы наугад расталкивает троих-четверых.

— Ваши проблемы? — этот лаконичный вопрос останется единственным. Разговор пойдет сам собой.

Условно на левой нижней полке помещается Андрей Колосов. Андрей:

— Прежде всего что такое плакат? Это произведение изобразительного искусства, тиражируемое полиграфическим способом. Отсюда и проблемы, их две: нет заинтересованного и компетентного заказчика — раз, и качество современного полиграфического дела оставляет желать лучшего — два. Каково же подгонять творческий замысел под возможности типографии, тем более под внешние идеологические установки или заданные текстовые банальности? А как быть? В ином случае «авторский плакат», предполагающий свободное проявление творческой воли художника, превращается в «выставочный», то есть существующий в единственном, оригинальном экземпляре и в итоге остающийся в домашней коллекции автора.

— У плаката два автора, — доносится, представьте, голос с верхней полки, и мы узнаем Михаила Златковского. — Два — художник и государство. Дефицит честности и таланта у первого не редкость. Но честный авторский плакат не печатает государство. Не смеет.

Жестко!

— А ведь плакат, — продолжает верхняя полка, — как никакой другой жанр изобразительного искусства, должен создавать среду нашего обитания — наряду с архитектурой. Ему по природе место в экстерьере, это самый демократичный вид визуальных искусств. Притом он оперирует большей частью средствами этих искусств — графики, фотографии, даже скульптуры в какой-то мере, то есть является синтетическим видом. Синтетичность и демократизм — что еще нужно, чтобы быть самым современным искусством? Но вот поди ж ты...

— Плакат в экстерьере, ты сказал, — вступает Валерия Ковригина со своего места напротив Андрея Колосова: — Но сегодня плакатный лист все больше стремится к камерности, требует кропотливой проработки, большей культуры изобразительного ряда, требует от зрителя длительного и углубленного прочтения. И нельзя, как прежде, создавать плакат с расчетом на всех. Нужно адресовать его конкретной аудитории.

— С лица города, со стен и заборов — в тихие квартиры, в офисы? Услаждать взоры чиновников? — страстная тирада Константина Гераймовича раздается с бокового места. Корреспондент уже не контролирует ситуацию. — А я продолжаю верить, что, как в двадцатые годы, мы взорвем красками стены домов! И главное — души людей! ...Но этот монстр — издательство «Плакат» не в состоянии расшевелиться. Казалось бы, «Агитплакат» мобильнее, но и он не спешит делать так, чтобы улицы наши агитировали! Или сегодня не за что агитировать? Нет, издательства — публика из купейных вагонов. Им и так хорошо.

Валерия Ковригина:

— Быть может, нужна «редакция быстрого реагирования» или даже «альтернативное» издательство? Взять проблему «молодежного плаката». Такой есть — он появился в контексте рок-культуры. Пока это в основном концертная реклама, пришедшая с конвертов пластинок. Этого, конечно, мало — но кто же будет заниматься молодежным плакатом? Кто предложит молодому человеку иную продукцию, чем та, вялая, безвкусная, полная словесных и визуальных штампов, которой он украшает среду своего обитания сегодня? На смену подобной продукции должен прийти и стать явлением культуры плакат, создаваемый по велению совести, а не по заказу, обращающийся к молодежи свежим, молодым языком.

Мерный, как водится, стук колес. Убаюкивающее, разумеется, покачивание.

— Так хочется надеяться, — прерывает паузу Андрей Колосов, — что уйдет в прошлое антиэстетика и антиагитация плаката застойных времен. Того плаката, который стал буквально олицетворением эпохи застоя. Того, который дискредитировал в сознании зрителя не только само понятие плаката, но и труд художника-плакатиста.

— Действительно, — снова вступает в разговор Константин Гераймович, — настоящий плакат — это совсем другое, нежели то, что мы привыкли видеть на улицах. Для меня он, как японское трехстишие хайку. Максимум информации — минимальными средствами. Нет, я не против многодельных работ, но... Когда три точных мазка — и образ; три — и идея; и чтобы возглас зрителя «У ты!!!» — это по мне. Я даже, знаете, вывел формулу плаката. Смотрите...

Чиркает спичка, и невидимая рука выводит в черном воздухе огненные знаки:

ИЗВЕЩАЮЩЕ

— Информация — образ — средства, — голос Константина дрожит. — Сейчас поясню...

— Не стоит, — доносится, представьте себе, из-за переборки. — Не стоит. Все эти идеи и концепции, все эти красивые лады наших мечтаний, так сказать, — неизвестный вздыхает, — все разбито о скалы действительности!

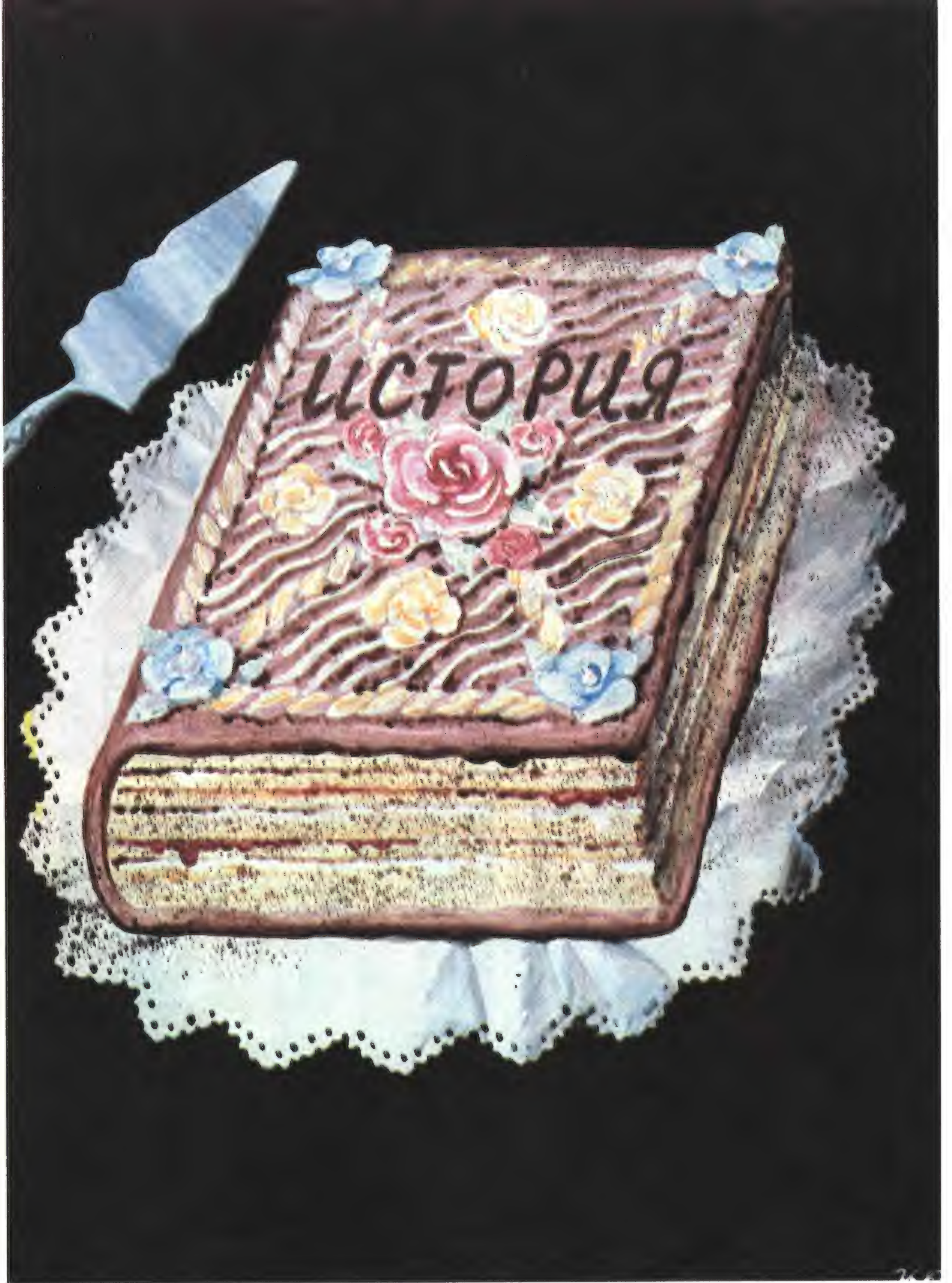
Художники замолкают. И, между прочим, думает себе корреспондент, сто строк есть. И славно.

Теперь, допустим, так:

— Дайте же спать! — кричат из другого конца вагона. Разговор окончен.

Корреспондент сходит с поезда на ближайшем полустанке. Жесткий вагон продолжает путь. Если угодно, светает.

Рустам РАХМАТУЛЛИН,
Андрей САЛЬНИКОВ



Г. КАМЕНСКИХ

ПЛАКАТ
ГРУППЫ
«ПЛАЦКАРТ»

г. Москва



А. КОЛОСОВ
В. КОВРИГИНА



А. ЧАНЦЕВ



А. КОЛОСОВ
В. КОВРИГИНА



А. КОЛОСОВ
В. КОВРИГИНА



А. КОЛОСОВ
В. КОВРИГИНА



И. МАЙСТРОВСКИЙ

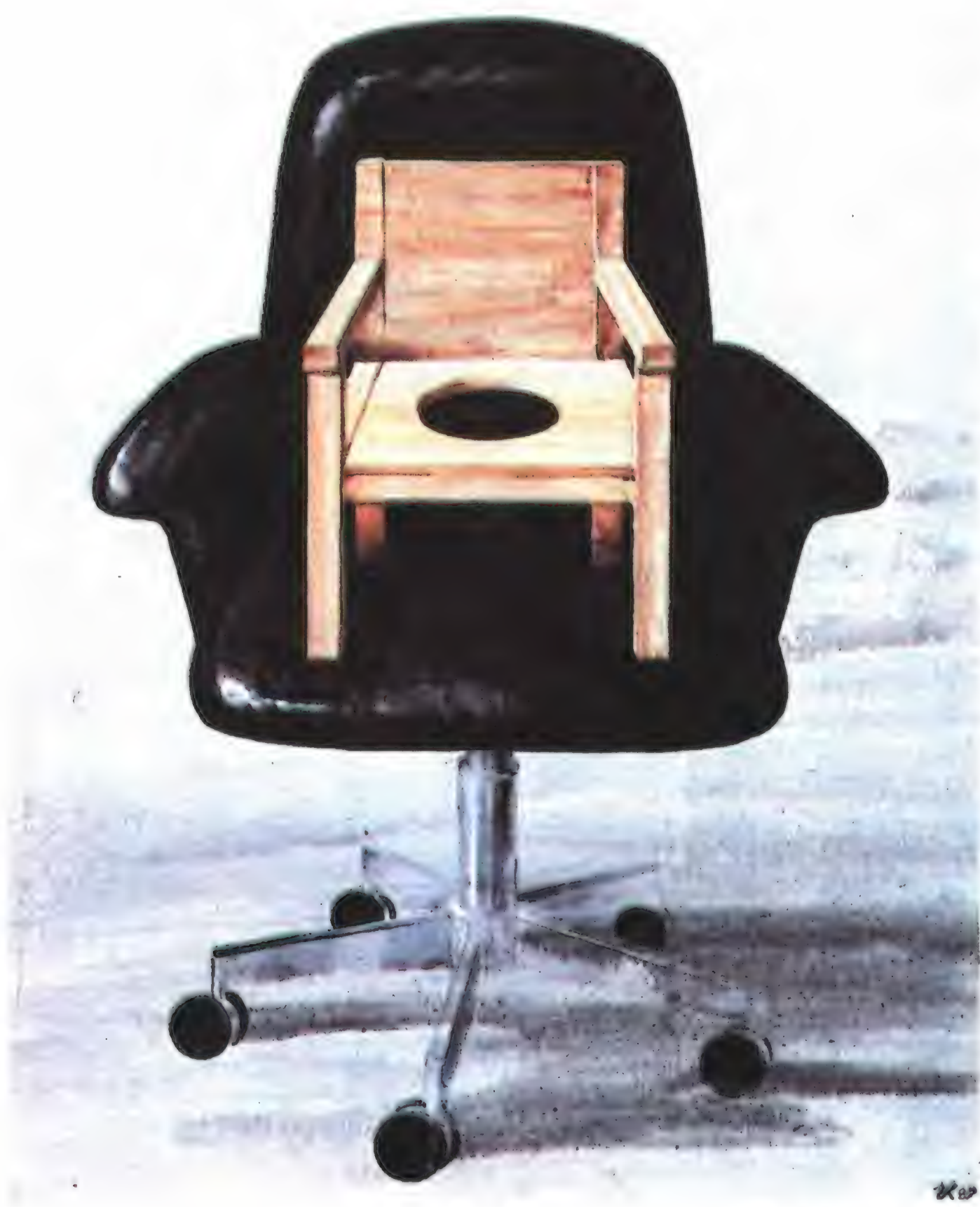


К. ГЕРАЙМОВИЧ



М. ЗЛАТКОВСКИЙ

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ



Г. КАМЕНСКИХ



Ю. БОКСЕР



Владимир
РЕЦЕПТЕР

☆☆☆

Поставим даты под стихами:
события владели нами,
а диктовала нам страна,—
и окольцованные птицы
легко пересекут границы,
что возводили времена.

Но где-то есть в живых другие
птенцы небесной ностальгии,
что не давались в руки нам.
Не помнят месяца и свода,
не знают слов «тоска», «свобода»
и безразличны к именам...

☆☆☆

Из рода вашего и племени
одна, но человечья сила,
и я болел о бывшем времени,
а время обо мне забыло.
Спектакль шел глухой, расхристаный,
фальшивя с благородной миной,
и вдруг зверел пред голой истиной
и бедною первопричиной.
Он так умело приспособился
ко вкусам выскочек вчерашних,
от всех урвал, всему сподобился,
избежал честных рукопашных.
Как хорошо, что слава минула,
а жизнь хваленными делами
на третий план меня задвинула,
кормила пятыми ролями.
Друзья мои, статисты, роботы,
рабы и винтики эпохи,
ужели кем-то были добыты
все торжества, а сами плохи?
Товарищи, собраты, рыцари,
не время ль занимать площадки
без грима, с истинными лицами,
не прячьтесь неизбежной схватки?
Не нашими ли интересами
болели лучшие на свете,
и тянут рукописи с пьесами
из тьмы, из каторги, из нети?..

Гастрольный автобус

Случай напомнил гастрольный автобус в загранике,
толк о покупках, галдеж в запечатанной банке;
едем, стяжав на сегодня прощальную славу,
едем, себя не забыв и представив родную державу.

Что за окном? Аргентина? Прекрасно. Но в этом ли дело,
если окончена пьеса, а юность давно прогудела?

3. «Юность» № 10

Ах, чемоданы, баулы, коробки, колесные сумки!
Как нам спастись от торгово-промышленной чумки?..

Случай напомнил веселое наше начало,
в нищей общаге и койки для счастья хватало,
коячки узкой, с двойною нагрузкой,— не так ли? —
взятой со сцены, со списанного спектакля.

Счастье мое, утаенное рыжее счастье,
сколько булавок и шпилек терялось от страсти
в коячке узкой,— спасибо на том коменданту! —
выданной ради любви, с уваженьем к таланту...

Случай напомнил разлуку, последний чинарик,
связку тяжелых ключей и дежурный фонарик,
ночь в одиночку на сцене огромной, пустынной,
бедного принца и Призрака образ полынный.

Что за окном? Будапешт или снова Варшава?
Слава ли ждет, или яд на клинке и расправа?
Кто там за всех распинался и лез в одиночку?
Гамлет? Ну, что же... Продать ему мебель в рассрочку!

Все, что мы в будущем скупим, урвем в настоящем,
в тесную ямку с собой ни за что не утащим.
Только страданья и радости дым драгоценный
даст нам в рассрочку высокое торжище сцены.

Что за окном? Неужели Япония? Чудо!..
Все-таки жаль, что автобус уходит отсюда!..
Ах, аппараты, транзисторы, куртки, системы!..
Жаль, что ветшаем, и жаль, что износимся все мы.

Случай напомнил семейку, любимую труппу,
ту, что сегодня по мне пробежит, как по трупу,
ту, что не скоро заметит, что место пустое,
станет замены искать, опасаясь простоя.

Ах, дорогие мои, приоткройте жестокую дверцу,
я соскочу на ходу, мне свобода по сердцу,
и помашу вам рукой, равнодушие прощая,
золото строчки на занавес вам обещаю...

Ах, дорогие мои, не спешите искать мне замены,
некем меня заменить, я вжился и впечатался в стены,
в тайные ниши вошел, в зеркала окунулся...
Я вас любил, а когда уходил, оглянулся...

С. В. Благов

Святослав Васильевич Благов,
тридцать третьего года рождения,
не выбрасывал белых флагов
в самом бедственном положении.
Не могла угадать гадалка,
что судьба ему назначала.
От отца ли была закалка,
эмгэбэшного генерала?
Ведь ждала и того расправа
в те поры, как пошла потрава
на своих, и учило детство,
что годятся любые средства...
Слава Благов, какого черта!..
Ты за чью же вину наказан,
отлучен от пера и спорта,
инвалидную ролью связан?
Кто расскажет, с какого пульта
код зачитывается генный
и уходит заряд инсульта
в мозг темнеющий и блаженный?
Где там теннис, еда по Бреггу,
островки изысканной прозы!..
Как в калеке вернуть коллегу,
друга, преданного без позы?..
Друг прбверенный, Благов, Слава,
начерти мне хоть на листочке,
где меня стережет расправа,
отрывающая от строчки?
Ты прости мою слабость, Славка,
я во всем за тебя в ответе
до поры, как пойдет отправка
под надежным конвоем смерти.

А покуда забудь кручину,
у дороги постой на страже,
одноруко поймай машину,
растворись в городском пейзаже.
А покуда живи в надежде:
речь вернется, слетит удача;
твой роман, затеянный прежде,
все друзья прочитают, плача...

☆☆☆

Словно хитрый такой аппаратик
показал мне японский фирмач:
я дышу, как спасенный астматик,
слышу все и по-новому зряч.
Сквозь реальность,
другую реальность
наблюдаю при помощи сна,
навожу окуляры на дальность
и мираж поднимаю со дна.
Исчезают бывшие запреты,
разрешается то, что нельзя;
в обе стороны лета и Леты
я как будто скольжу, не скользя.
Но двойник моего зазеркалья
так насмешлив, печален и смел...
Кто он — праведник или каналья —
я опять разгадать не сумел.
Пограничность его положенья
объяснима при помощи сна...
Продолженья ищущ, продолженья
в эти двойственные времена!..

☆☆☆

Стал я страшиться этой могилы,
где похоронен отец мой милый.
Та же могила, та же ограда,
здесь ему много места не надо.

Много ли нужно места для урны,
где измельчился век его бурный?
Матери снова верен до гроба,
вновь они вместе, рядышком оба...

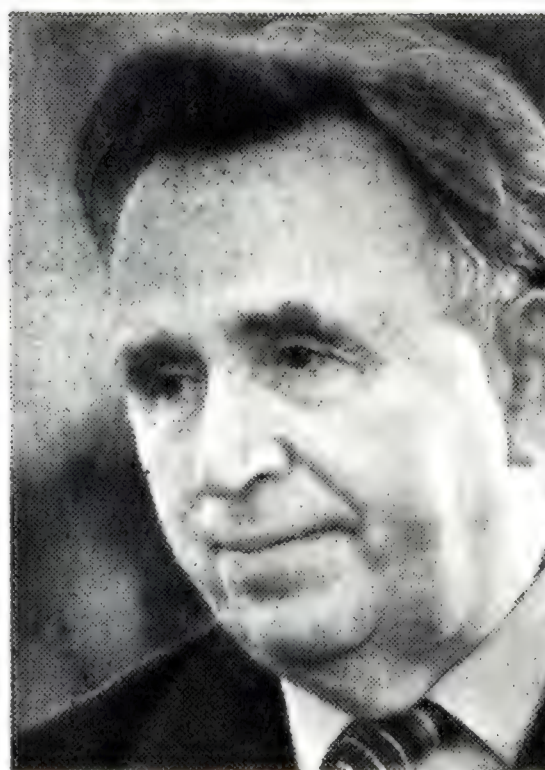
Что меня гонит с этого места?
Та же ли ямка — моя невеста?
Здесь по закону мне не улечься —
места не хватит, если не сжечься...

Я не писал бы вам завещанья
и не заботил бы на прощанье,
да вас замучит новый чиновник
смерти и взятки вечный любовник.

А написал бы, да не умею,
то ли не чую, то ли не смею,
места не вспомню, года не слышу,
где нарисуют эту афишу...

Где новый Гамлет думать устанет,
бедный мой череп в сердце помянет,
где задохнется он от повтора,
и нам обоим хватит простора...

г. Ленинград



Виктор
БОКОВ

☆☆☆

Когда вода под горлом,
Когда беда под сердцем,
Когда под ручку голод
Идет с тобой по сенцам,
Когда кричат: «Спасите!»,
Когда молчат: «Убейте!»
Тогда свой крест несите,
Тогда терпеть умеете!
Когда з/к я звался,
В воде стоял осокой,
Тогда образовался
Во мне мой свет высокий!

☆☆☆

Душа моя просилась в ад,
Туда, где грешники казнятся.
Чтобы воскликнуть — виноват,
Чтобы в грехах своих признаться.

А вся вина-то, что любил
Под лай овчарок, крик конвоя.
Да, да — любил, но не убил
И не замучил никого я!

Мне молодость была — Сибирь,
И сумерки с волком голодным.
Я очень рано стал седым,
Я очень поздно стал свободным.

Товарищи! Я ваш, я юн,
В моей душе живет братанье.
Пройдусь по трепетности струн,
Иди сюда скорей, Наталья!

Как хороша ты и гибка,
Твой календарь любви в отрыве!
И мне достаточно кивка,
Чтобы понять — ты не отринешь!

А где-то стонут ветряки,
Садится ветер на качели.
И линия твоей руки
Напоминает Боттичелли.

Голубушка, твой стыд красив,
Как дебаркадер, встали брови.
Незабываемый массив,
Святая вольность грешной крови!

☆☆☆

Всей камерой спрашивали:
— За что ты попал?
Не сказал.
А когда одолела жажда,
Глазами просил каждого:
— Пить!

Напоили. Глядим: уже спит.
В ужин хлеба не стал —
Ни мякиша, ни корки,
Застеснялся, как девица:
— Мне бы икорки...
Каюсь я,
Паюсной...
А когда уходил на этап,
Вздыхнул на прощанье:
— Я слаб!
За четыре зимы
За плечами четыре тюрьмы!
Так и не узнали:
Кто он? Что он?
Кроме того, что арестован.

☆☆☆

Русь, как баба, терпелива
И устойчива в беде.
Мне она постель стелила
То в бараке, то в избе.
Черным хлебом угощала,
Крупной соли положив,
На жиры не совращала,
Что в них толку, был бы жив!
Я в груди носил неволю,
Арестантский знал удел
И, как в зеркало кривое,
В лужи мутные глядел.
Что же я, пою иль плачу
От нахлынувших скорбей?
Просто я от вас не прячу
Биографии своей.

☆☆☆

Кресты могил времен Гапона
Погнили, канули в года.
А людям все еще знакомо
Предательство — вот где беда.
Картина «Тайная вечеря»
Должна представиться тебе
Не пустотою Торричелли,
А теснотою КГБ.
Мать-родина! Тебя терзают.
Сын сына бьет, сестра — сестру.
Вершители судеб не знают,
Кого бросают в дань костру!
Как звезды в глубине ущелья,
Народ на улицах притих.
Кому до плясок и веселья,
Когда «свои» казнят своих?!
Россия стала побирушкой,
Постылой и чужой избой.
Мамай и Чингисхан — игрушки
Пред нашей собственной ордой!

Баллада об испуге

Мокрый булыжник, площадь как зеркало.
В ней Блаженный, весь, как живой.
В это время машина ехала,
Неподвижен был профиль седой.
Это Сталин!
В его машине,
Словно в камере одиночной,
Руководитель неустрашимый,
Коммунистически непорочный.

Смотрит, смотрит, глазам не верит,
Рядом с ним, ну, чуть-чуть левее,
Место Лобное в красных лужах.
— Это кровь! — он воскликнул. — Ужас!
Успокойся, великий вождь,
Эти лужи наделал дождь!
А окрасил их красный закат,
Он маляр, но работал за так,
Как твои заключенные где-то!
Не спалось ему до рассвета,
Кровь стояла в его глазах,
Бабы плакали на возах!

☆☆☆

Снится рыба с названием тарань,
Снится Дон, пароход, ресторан,
Снишься ты в сарафане мордовском,
Это было еще при Твардовском.
Я позванивал рифмой своей,
Круглосуточный твой соловей.
И к тебе, несравненная прелесть,
Шел навстречу, как рыба на нерест.
Помнишь, Шолохов принял меня?
Из какого, спросил, куреня?
Я ответил ему: из донского,
Он прислал мне письмо из Ростова.
Рядом с ним и твои письма,
Привораживали меня,
Звали в дальние глухомани,
Чтобы я над тобой атаманил.
Как ты с ходу бросалась в Дон,
Как я был неподдельно влюблен,
В голос твой, в небосвод этот синий,
Ты была неподдельной Аксиной.
Наша молодость — два крыла,
Как прекрасна она была,
Нет замены ей ниоткуда,
Я в себе берегу это чудо!

☆☆☆

Почта — протяжная песня ямская!
От Ялutorовска до Читы
Даль запела, меня лаская,
И раскрыла голодные рты.

Колокольчик, железное било,
Закричал в серой мгле степей.
Не родная мать разбудила —
Лай овчарок и лязг цепей.

Стройся!
Я во второй пятерке.
Рядом слесарь, седой туляк.
Не по-доброму у каптерки
Чебулинские волки скулят.

Накормите их! Мы потерпим,
Нас напоит, накормит река.
Ничего не значат потери,
Если выбросят тело з/к.

Ты куда глядишь, забубенный?
С места тронешься — пуля в лоб.
Путь страдальческий мой пройденный,
Ты осел во мне, как сугроб.



Варлам
ШАЛАМОВ

Из книги

КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

Ночью

Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус — это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.

Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот — не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту — на большую оранжевую луну, выплывавшую на небо.

— Пора, — сказал Багрецов. Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку: хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.

— Далеко еще? — спросил он шепотом.

— Далеко, — негромко ответил Багрецов.

Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем: все было ясно и просто. На площадке в конце уступа были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.

— Я мог бы сделать это и один, — усмехнулся Багрецов, — но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля...

Их привезли на одном пароходе в прошлом году.

Багрецов остановился:

— Надо лечь, увидят.

Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.

Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус — это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.

Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот — не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту — на большую оранжевую луну, выплывавшую на небо.

— Пора, — сказал Багрецов. Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку: хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.

— Далеко еще? — спросил он шепотом.

— Далеко, — негромко ответил Багрецов.

Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем: все было ясно и просто. На площадке в конце уступа были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.

— Я мог бы сделать это и один, — усмехнулся Багрецов, — но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля...

Их привезли на одном пароходе в прошлом году.

Багрецов остановился:

— Надо лечь, увидят.

Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.

На представку

Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал — кровь не останавливалась.

— Плохая свертываемость,— равнодушно сказал Глебов.

— Ты врач, что ли? — спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир, за горами, за морями, казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно — чтобы скорее убрать камни.

— Глубоко, наверно? — спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.

— Как она может быть глубокой? — сказал Багрецов.

И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой.

— Есть,— сказал Багрецов. Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней — на лунном свете он был отлично виден. Палец был непохож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченным,— в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.

— Молодой совсем,— сказал Багрецов.

Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.

— Здоровый какой,— сказал Глебов, задыхаясь.

— Если бы он не был такой здоровый,— сказал Багрецов,— его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.

Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.

— А кальсоны совсем новые,— удовлетворенно сказал Багрецов.

Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.

— Надень лучше на себя,— сказал Багрецов.

— Нет, не хочу,— пробормотал Глебов.

Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.

Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной облик мира.

Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.

— Закурить бы,— сказал Глебов мечтательно.

— Завтра закуришь.

Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку...

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали — они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определена и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» — самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытых медных трубки — вот и все приспособление. Для того, чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензинный газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели «партнеры» — классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты: это была тюремная самодельная колода, которая изготавливается мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезания и трафаретов мастей, и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго — книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая — листов не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для «пресечения» возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту — дамы, валеты, десятки всех мастей... Масти не различались по цвету, да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми: умение собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины — тоже блатарский шик, так же как «фиксы» — золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера — самозванные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт «преступного мира», если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» са-

мым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все это придавало его физиономии важное качество внешности вора — незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него — и забыл, потерял все черты — и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток «терца», «стоса» и «буры» — трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет», то есть показывает умение и ловкость шулера. Он был и шулер, конечно: честная воровская игра — это и есть игра на обман, следи и уличай партнера — это твое право, умей обмануть сам, умей «отспорить» сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое — один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх, вроде «очка». Садиться с сильными «исполнителями» не боялись — так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногенов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке — двадцать, тридцать, сорок?) — черно-волосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не зная я, что Наумов — железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника — монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, — ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики — это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее — «капитанки». В сороковые годы зимой носили они «кубанки», подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники — их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина... Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю «наколку» — татуировку — цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного «преступным миром»:

**Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.**

— Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.

— Вот, тряпки. Лепеху эту... — И Наумов похлопал себя по плечам.

— В пятистах играю, — оценил костюм Севочка.

В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец, костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка «играл» несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа — после своего рабочего забойного дня надо

было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина — здесь было теплее, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» — остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте — барачные «бензинки» освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, «ложку мимо рта не пронесешь». Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе — сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.

— Одеяло играю, — хрипло сказал Наумов.

— Двести, — безразличным голосом ответил Севочка.

— Тысячу, сука! — закричал Наумов.

— За что? Это не вещь! Это «локш», дрянь, — выговорил Севочка. — Только для тебя — играю за триста.

Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь «отвечать».

— Валенки играю.

— Не играю валенок, — твердо сказал Севочка. — Не играю казенных тряпок.

В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя — все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

— На представку, — заискивающе сказал он.

— Очень нужно, — живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся.

— Что мне твоя представка? Этапов новых нет — где возьмешь? У конвоя, что ли?

Согласие играть «на представку», в долг было не обязательным одолжением по «закону», но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.

— В сотне, — сказал он медленно. — Даю час представки.

— Давай карту.

Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки — и вновь проиграл все снова.

— Чифирку бы подварить, — сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. — Я подожду.

— Заварите, ребята, — сказал Наумов. Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знавал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окру-

жающих. Волосы спутались на его голове. Взгляд дошел до меня и остановился.

Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.

— Ну-ка, выйди.

Я вышел на свет.

— Снимай телогрейку.

Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.

Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье — гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.

— Выходи ты, — сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова. Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной свитер — это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук — фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

— Ну-ка, снимай, — сказал Наумов.

Севочка одобрительно помахивал пальцем — шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфачку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить — узор красивый.

— Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с кожей...

На него кинулись, сбили с ног.

— Он кусается! — крикнул кто-то.

С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам «супчику» за пилку дров, чуть присел и выдержал что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

— Не могли, что ли, без этого? — закричал Севочка.

В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.

Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.

1956 г.

Одиночный замер

Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «десяток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, «напарник» Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его.

Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурочек. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрав их тща-

тельно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву.

— Кури, мне оставишь, — предложил он.

Дугаев удивился — они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быть еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку — три арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси...

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.

— Слабею, — сказал он.

Баранов промолчал.

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные — буханки хлеба, дымящиеся жирные супы... Забытие наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.

— А ты подожди, — сказал бригадир Дугаеву. — Тебя смотритель поставит.

Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.

Загрели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.

— Иди сюда, — сказал Дугаеву смотритель. — Вот тебе место. — Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку — кусок кварца.

— Досюда, — сказал он. — Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Вozить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка — вози.

Дугаев послушно начал работу.

«Еще лучше», — думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев — новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть. Умение красть — это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать 16-часового рабочего дня.

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.

Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.

— Двадцать пять процентов, — сказал он и посмотрел на Дугаева. — Двадцать пять процентов. Ты слышишь?

— Слышу, — сказал Дугаев.

Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра — двадцать пять процентов нормы — показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. Дугаев ел потому, что видел, как едят другие, что-то

подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.

— Ну, что ж,— сказал зритель, уходя.— Желаю здравствовать.

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу и повели по лесной тропке, к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.

[1955 г.]

Сгущенное молоко

От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить... Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир; тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню — там не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот как дело доблести и героизма. Словом, мы завидовали только Шестакову.

Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все было выжжено, опустошено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов.

Вот и сейчас — хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я все стоял у дверей продуктового магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по «бытовым» статьям, а также причисленные к «друзьям народа» воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета; сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри, даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак, и смотрел на хлеб. И тут меня окликнул Шестаков.

Шестакова я знал по «Большой земле», по Бутырской тюрьме: сидел с ним в одной камере. Дружбы у нас там не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не работал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геологоразведку, в контору, стало быть. Счастливцев едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались: мало ли что ему могли на сей счет приказывать. Своя рубашка и т. д.

— Кури,— сказал Шестаков и протянул мне обрывок газеты, насыпал махорки, зажег спичку, настоящую спичку...

Я закурил.

— Мне надо с тобой поговорить,— сказал Шестаков.

— Со мной?

— Да.

Мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя. Ноги мои сразу отяжелели, а Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я обзирал шестаковские ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью — хоть один человек из нашей камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих

взрывов — это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног, шелестя, серые и незаметные, как птицы.

— Отойдем подальше,— сказал Шестаков.

— Не убьет, не бойся. Носки будут целы.

— Я не о носках,— сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту.— Как ты смотришь на все это?

— Умрем, наверно,— сказал я. Меньше всего мне хотелось думать об этом.

— Ну нет, умирать я не согласен.

— Ну?

— У меня есть карта,— вяло сказал Шестаков.— Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду на Черные Ключи — это пятнадцать километров отсюда. У меня будет пропуск. И мы уйдем к морю. Согласен?

Он выложил все это равнодушной скороговоркой.

— А у моря? Поплывем?

— Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»,— торжественно произнес Шестаков.— Кто это сказал?

В самом деле, знакомая фраза. Но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Все книжное было забыто. Книжному не верили. Я засучил брюки, показал красные цинготные язвы.

— Вот в лесу и вылечишь,— сказал Шестаков,— на ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу. У меня есть карта...

Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути — и все по пятьсот километров, не меньше. Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня, как пищу, с собой? Нет, конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня; и вдруг я испугался Шестакова — единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За все ведь надо платить. Чужой кровью, чужой жизнью...

— Я согласен,— сказал я, открывая глаза.— Только мне надо подкормиться.

— Вот и хорошо, хорошо. Обязательно подкормиться. Я принесу тебе... консервов. У нас ведь можно...

Есть много консервов на свете — мясных, рыбных, фруктовых, овощных... Но прекрасней всех — молочные, сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком. Их надо есть ложкой, или мазать на хлеб, или глотать понемножку, из банки, медленно есть, глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипают на банку сахарные звездочки...

— Завтра,— сказал я, задыхаясь от счастья,— молочных...

— Хорошо, хорошо. Молочных.— И Шестаков ушел.

Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. Это был какой-то физический процесс — материальность нашей психики впервые представала мне во всей наглядности, во всей ощутимости. Думать было больно. Но думать было надо. Он соберет нас в побег и «сдаст» — это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же, на Черных Ключах, или приведут живыми и осудят — добавят еще лет пятнадцать. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко...

Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока — чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко.

Не помню, что я делал в этот день и как работал.

Я ждал, ждал, пока солнце склонится к западу, пока заржут лошади, которые лучше людей угадывают конец рабочего дня.

Хрипло загудел гудок, и я пошел к бараку, где жил Шестаков. Он ждал меня на крыльце. Карманы его телогрейки оттопыривались.

Мы сели за большой вымытый стол в бараке, и Шестаков вытащил из карманов две банки сгущенного молока.

Углом топора я пробил банку. Густая белая струя потекла на крышку, на мою руку.

— Надо было вторую дырку пробить. Для воздуха, — сказал Шестаков.

— Ничего, — сказал я, облизывая грязные сладкие пальцы.

— Дайте ложку, — сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим. Десять блестящих, отлизанных ложек протянулось над столом. Все стояли и смотрели, как я ем. В этом не было неделикатности или скрытого желания угоститься. Никто из них и не надеялся, что я поделюсь с ним этим молоком. Такое не было видано — интерес их к чужой пище был вполне бескорыстен. И я знал, что нельзя не глядеть на пищу, исчезающую во рту другого человека. Я сел поудобнее и ел молоко без хлеба, запивая изредка холодной водой. Я съел обе банки. Зрители отошли в сторону — спектакль был окончен. Шестаков смотрел на меня сочувственно.

— Знаешь что, — сказал я, тщательно облизывая ложку, — я передумал. Идите без меня.

Шестаков понял и вышел, не сказав мне ни слова.

Это было, конечно, ничтожной мстью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других — я не знал их. А предупредить было надо: Шестаков успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю, двоих убили недалеко от Черных Ключей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было «выделено производством», его вскоре куда-то увезли, через полгода я встретил его на другом приiske. Дополнительного срока за побег он не получил — начальство играло с ним честно, — а ведь могло быть и иначе.

Он работал в геологоразведке, был брит и сыт, и шахматные носки его все еще были целы. Со мной он не здоровался, и зря: две банки сгущенного молока не такое уж большое дело в конце концов...

[1956 г.]

Заговор юристов

В бригаду Шмелева сгребали человеческий шлак — людские отходы золотого забоя. Из «разреза», где добывают «пески» и снимают «торф», было три пути: «под сопку» в братские безымянные могилы, в больницу и в бригаду Шмелева, три пути доходяг. Бригада эта работала там же, где и другие, только дела ей поручались не такие важные. Лозунги «Выполнение плана — закон» и «Довести план до забойщиков» были не просто словами. Их толковали так: не выполнил норму — нарушил закон, обманул государство и должен отвечать сроком, а то и собственной жизнью.

И кормили шмелевцев похуже, поменьше. Но я хорошо помнил здешнюю поговорку: «В лагере убивает большая пайка, а не маленькая». Я не гнался за большой пайкой «основных» забойных бригад.

Я был переведен к Шмелеву недавно, недели три, и не знал его лица — была в разгаре зима, голова бригадира была замысловато укутана каким-то рваным шарфом, а вечером в бараке было темно — бензиновая «колымка» едва освещала дверь. Я и не

помню бригадирского лица. Голос только хриплый, простуженный голос.

Работали мы в ночной смене в декабре, и каждая ночь казалась пыткой — пятьдесят градусов не шутка. Но все же ночью было лучше, спокойней, меньше начальства в забое, меньше ругани и битья.

Бригада строилась «на выход». Зимой строились в бараке, и эти последние минуты перед уходом в ледяную ночь на двенадцатичасовую смену мучительно вспоминать и сейчас. Здесь, в этой нерешительной толкотне у приоткрытых дверей, откуда ползет ледяной пар, сказывается человеческий характер. Один, пересилив дрожь, шагал прямо в темноту, другой торопливо досасывал неизвестно откуда взявшийся окурок махорочной сигарки, где и махорки-то не было ни запаха, ни следа; третий заслонял лицо от холодного ветра; четвертый стоял над печкой, держа рукавицы и набирая в них тепло.

Последних выталкивал из барака дневальный. Так поступали везде, в каждой бригаде с самыми слабыми.

Меня в этой бригаде еще не выталкивали. Здесь были люди и слабее меня, и это вносило какое-то успокоение, нечаянную радость какую-то. Здесь я пока еще был человеком. Толчки и кулаки дневального остались в той «золотой» бригаде, откуда меня перевели к Шмелеву.

Бригада стояла в бараке у двери, готовая к выходу. Шмелев подошел ко мне.

— Останешься дома, — прохрипел он.

— На утро перевели, что ли? — недоверчиво сказал я. Из смены в смену переводили всегда навстречу часовой стрелке, чтоб рабочий день не терялся, и заключенный не мог получить несколько лишних часов отдыха. Эту механику я знал.

— Нет, тебя Романов вызывает.

— Романов? Кто такой Романов?

— Ишь, гад, Романова не знает, — вмешался дневальный.

— Уполномоченный, понял? Не доходя конторы живет. Придешь в восемь часов.

— В восемь часов!

Чувство величайшего облегчения охватило меня. Если уполномоченный меня продержит до двенадцати, до ночного «обеда» и больше, — я имею право совсем не ходить сегодня на работу. Сразу тело почувствовало усталость. Но это была радостная усталость, заныли мускулы.

Я развязал подпояску, расстегнул бушлат и сел около печки. Сразу стало тепло и зашевелились вши под гимнастеркой. Обкусанными ногтями я почесал шею, грудь. И задремал.

— Пора, пора, — тряс меня за плечо дневальный. — Иди, покурить принеси, не забудь.

Я постучал в дверь дома, где жил уполномоченный. Загремели щеколды, замки, множество щеколд и замков, и кто-то невидимый крикнул из-за двери:

— Ты кто?

— Заключенный Андреев по вызову.

Раздался грохот щеколд, звон замков — и все замолкло.

Холод забирался под бушлат, ноги стыли. Я стал колотить буркой о бурку — носили мы не валенки, а стеганые, шитые из старых брюк и телогреек ватные бурки.

Снова загремели щеколды, и двойная дверь открылась, пропуская свет, тепло и музыку.

Я вошел. Дверь из передней в столовую была не закрыта — там играл радиоприемник.

Уполномоченный Романов стоял передо мной. Вернее, я стоял перед ним, а он, низенький, пахнущий духами, подвижный, вертелся вокруг меня, разглядывая мою фигуру черненькими быстрыми глазами.

Запах заключенного дошел до его ноздрей, и он

вытащил белоснежный носовой платок и встряхнул его. Волны музыки, тепла, одеколona охватили меня. Главное — тепло. Голландская печь была раскалена.

— Вот и познакомились,— восторженно твердил Романов, передвигаясь вокруг меня и взмахивая душистым платком.— Вот и познакомились.

— Ну, проходи.— И он открыл дверь в соседнюю комнату — кабинетик с письменным столом, двумя стульями.

— Садись. Ни за что не угадаешь, зачем я тебя вызвал. Закуривай.

Он порылся в бумагах на столе.

— Как твое имя-отчество?

Я сказал.

— А год рождения?

— 1907-й.

— Юрист?

— Я, собственно, не юрист, но учился в Московском университете на юридическом во второй половине двадцатых годов.

— Значит, юрист. Вот и отлично. Сейчас ты сиди, я позвоню кое-куда, и мы с тобой поедem.

Романов выскользнул из комнаты, и вскоре в столовой выключили музыку и начался телефонный разговор.

Я задремал, сидя на стуле. Даже сон какой-то начал сниться. Романов то исчезал, то опять возникал.

— Слушай. У тебя есть какие-нибудь вещи в бараке?

— Все со мной.

— Ну, вот и отлично, право, отлично. Машина сейчас придет, и мы с тобой поедem. Знаешь, куда поедem? Не угадаешь? В самый Хатыннах, в Управление! Бывал там? Ну, я шучу, шучу...

— Мне все равно.

— Вот и хорошо.

Я переобулся, размял руками пальцы ног, перевернул портянки.

Ходики на стене показывали половину двенадцатого. Даже если все это шутки — насчет Хатыннаха, то все равно сегодня уже я на работу не пойду.

Загудела близко машина, и свет фар скользнул по ставням и задел потолок кабинета.

— Поехали, поехали.

Романов был в белом полушубке, в якутском малахае, расписных торбазах.

Я застегнул бушлат, подпоясался, подержал рукавицы над печкой.

Мы вышли к машине. Полуторатонка с откинутым кузовом.

— Сколько сегодня, Миша? — спросил Романов у шофера.

— Шестьдесят, товарищ уполномоченный. Ночные бригады сняли с работы.

Значит, и наша, шмелевская, дома. Мне не так уж повезло, выходит.

— Ну, Андреев,— сказал оперуполномоченный, прыгая вокруг меня.— Ты садись в кузов. Недалеко ехать. А Миша поедет побыстрей. Правда, Миша?

Миша промолчал. Я влез в кузов, свернулся в клубок, обхватил руками ноги. Романов втиснулся в кабину, и мы поехали.

Дорога была плохая, и так кидало, что я не застыл.

Думать ни о чем не хотелось, да на холоде и думать нельзя.

Часа через два замелькали огни, и машина остановилась около двухэтажного деревянного рубленого дома. Везде было темно, и только в одном окне второго этажа горел свет. Двое часовых в тулупах стояли около большого крыльца.

— Ну, вот и доехали, вот и отлично. Пусть он тут постоит.— И Романов исчез на большой лестнице.

Было два часа ночи. Огонь был потушен везде. Горела только лампочка за столом дежурного.

Ждать пришлось недолго. Романов — он уже успел раздеться и был в форме МВД — сбежал с лестницы и замахал руками:

— Сюда, сюда.

Вместе с помощниками дежурного мы двинулись наверх и в коридоре второго этажа остановились перед дверью с дощечкой «Ст. уполномоченный МВД Смертин». Столь угрожающий псевдоним (не настоящая же это фамилия) произвел впечатление даже на меня, уставшего беспредельно.

«Для псевдонима — чересчур...» — подумал я, но надо было уже входить, идти по огромной комнате с портретом Сталина во всю стену, остановиться перед письменным столом исполинских размеров, разглядывать бледное рыжевато-лицо человека, который всю жизнь провел в комнатах, в таких вот комнатах.

Романов почтительно сгивался у стола.

Тусклые голубые глаза старшего уполномоченного товарища Смертина остановились на мне. Остановились очень недолго: он что-то искал на столе, перебирал какие-то бумаги. Услужливые пальцы Романова нашли то, что было нужно найти.

— Фамилия? — спросил Смертин, вглядываясь в бумаги.

— Имя-отчество?

— Статья?

— Срок?

Я ответил.

— Юрист?

— Юрист.

Бледное лицо поднялось от стола.

— Жалобы писал?

— Писал.

Смертин засопел:

— За хлеб?

— И за хлеб, и просто так.

— Хорошо. Ведите его.

Я не сделал ни одной попытки что-нибудь выяснить, спросить. Зачем? Ведь я не на холоде, не в ночном золотом забое. Пусть выясняют, что хотят.

Пришел помощник дежурного с какой-то запиской, и меня повели по ночному поселку на самый край, где под защитой четырех караульных вышек за тройной загородкой из колючей проволоки помещался «изолятор», лагерная тюрьма.

В тюрьме камеры были большие, а были и одиночки. В одну из таких одиночек и втокнули меня. Я рассказал о себе, не ожидая ответа у соседей, не спрашивая их ни о чем. Так положено, чтобы не думали, что я «подсажен».

Настало утро, очередное колымское зимнее утро, без света, без солнца, сначала неотличимое от ночи.

Ударили в рельс, принесли ведро дымящегося кипятка. За мной пришел конвой, и я попрощался с товарищами. Я не знаю о них ничего.

Меня привели к тому же самому дому. Дом мне показался меньше, чем ночью. Пред светлые очи Смертина я уже не был допущен.

Дежурный велел мне сидеть и ждать, и я сидел и ждал до тех пор, пока не услышал знакомый голос:

— Вот и хорошо! Вот и отлично! Сейчас вы поедете! — На чужой территории Романов называл меня на «вы».

Мысли тяжело передвигались в мозгу, почти физически ощутимо. Надо было думать о чем-то новом, к чему я не привык, не знаю новое. Это — новое — не приискное. Если бы мы возвращались на свой прииск «Партизан», то Романов сказал бы: «Сейчас мы поедem». Значит, меня везут в другое место. Да пропади все пропадом!

По лестнице почти вприпрыжку спустился Романов. Казалось, вот-вот он сядет на перила и съедет вниз, как мальчишка. В руках он держал почти целую буханку хлеба.

— Вот, это вам на дорогу. И еще вот.— Он исчез наверху и вернулся с двумя селедками.

— Порядок, да? Все, кажется... Да, самое-то главное и забыл, что значит некурящий человек.

Романов поднялся наверх и появился снова с газетой. На газете была насыпана махорка. Коробочки три, наверное,— опытным глазом определил я. В пачке восьмушка — восемь спичечных коробок махорки. Это лагерная мера объема.

— Это вам на дорогу. Сухой паек, так сказать.

Я молчал.

— А конвой уже вызвали?

— Вызвали,— сказал дежурный.

— Наверх пришлите старшего.

И Романов исчез на лестнице.

Пришли два конвоира: один постарше, рябой, в папахе кавказского образца, другой молодой, лет двадцати, розовощекий, в красноармейском шлеме.

— Вот этот,— сказал дежурный, показывая на меня.

Оба — молодой и рябой — оглядели меня очень внимательно с ног до головы.

— А где начальник? — спросил рябой.

— Вверху. И пакет там.

Рябой пошел вверх и скоро вернулся вместе с Романовым.

Они говорили негромко, и рябой показывал на меня.

— Хорошо,— сказал наконец Романов,— мы дадим записку.

Мы вышли на улицу. Около крыльца, там же, где ночью стоял грузовичок с «Партизана», стоял комфортабельный «ворон» — тюремный автобус с решетчатыми окнами. Я сел внутрь. Решетчатые двери закрылись, конвоиры уселись в тамбуре, и машина двинулась. Некоторое время «ворон» шел по «трассе», по центральному шоссе, что разрезает пополам всю Колыму, но потом свернул куда-то в сторону. Дорога вилась между сопок, мотор все время храпел на подъемах, отвесные скалы с редким листовым лесом и заиндевевшие ветки ивняка. Наконец, сделав несколько поворотов вокруг сопки, машина, идущая по руслу ручья, вышла на небольшую площадку. Здесь была просека, караульные вышки, а вглубь, метрах в трехстах — косые вышки и темная масса бараков, окруженных колючей проволокой.

Дверь маленькой будочки-домика на дороге отворилась, и вышел дежурный, опоясанный револьвером.

Машина остановилась, не глуша мотора.

Шофер выскочил из кабины и прошел мимо моего окна.

Вишь, как кружило. Истинно «Сerpантинная».

Это название было мне знакомо, говорило мне больше, чем угрожающая фамилия Смертина. Это была «Сerpантинная» — знаменитая следственная тюрьма Колымы, где столько людей погибло в прошлом году. Трупы их не успели еще разложиться. Впрочем, их трупы будут нетленны всегда — мертвецы вечной мерзлоты.

Старший конвоир ушел по тропке к тюрьме, а я сидел у окна и думал, что вот пришел и мой час, моя очередь. Думать о смерти было так же трудно, как и о чем-нибудь другом. Никаких картин собственного расстрела я себе не рисовал. Сидел и ждал.

Наступали уже сумерки зимние. Дверь «ворона» открылась, старший конвоир бросил мне валенки.

— Обувайся! Снимай бурки.

Я разулся, попробовал. Нет, не лезут. Малы.

— В бурках не доедешь,— сказал рябой.

— Доеду.

Рябой швырнул валенки в угол машины.

— Поехали!

Машина развернулась, и «ворон» помчался прочь от «Сerpантинной».

Вскоре по мелькающим мимо машинам я понял, что мы снова на «трассе».

Машина сбавила ход — кругом горели огни большого поселка. Автобус подошел к крыльцу ярко освещенного дома, и я вошел в светлый коридор, очень похожий на тот, где хозяином был уполномоченный Смертин,— за деревянным барьером возле стенного телефона сидел дежурный с пистолетом на боку. Это был поселок Ягодный. В первый день путешествия мы проехали всего семнадцать километров. Куда мы поедем дальше?

Дежурный отвел меня в дальнюю комнату, которая оказалась карцером с топчаном, ведром воды и парашей. В двери был прорезан «глазок».

Я прожил там два дня. Успел даже подсушить и перемотать бинты на ногах — ноги в цинготных язвах гноились.

В доме райотдела МВД стояла какая-то захолустная тишина. Из своего уголка я прислушивался напряженно. Даже днем редко-редко кто-то топал по коридору. Редко открывалась входная дверь, поворачивались ключи в дверях. И дежурный, постоянный дежурный, небритый, в старой телогрейке, с наганом через плечо — все выглядело захолустным по сравнению с блестящим Хатыннахом, где товарищ Смертин творил высокую политику. Телефон звонил редко-редко.

— Да. Заправляются. Да. Не знаю, товарищ начальник.

— Хорошо, я им передам.

О ком тут шла речь? О моих конвоирах? Раз в день, к вечеру, дверь моей камеры раскрывалась, и дежурный вносил котелок супу, кусок хлеба. «Ешь!» Это мой обед. Казенный. И приносил ложку. Второе блюдо было смешано с первым, вылито в суп.

Я брал котелок, ел и вылизывал дно до блеска по приисковой привычке.

На третий день дверь открылась, и рябой боец, одетый в тулуп поверх полушубка, шагнул через порог карцера.

— Ну, отдохнул? Поехали.

Я стоял на крыльце. Я думал, что мы поедем опять в «утепленном» тюремном автобусе, но «ворона» нигде не было видно. Обыкновенная трехтонка стояла у крыльца.

— Садись.

Я послушно перевалился через борт.

Молодой боец влез в кабину шофера. Рябой сел рядом со мной. Машина двинулась, и через несколько минут мы очутились на «трассе».

Куда меня везут? К северу или к югу? К западу или к востоку?

Спрашивать было не нужно, да конвой и не должен говорить.

На другой участок передают? На какой?

Машина тряслась много часов и вдруг остановилась.

— Здесь мы пообедаем. Слезай.

Я слез.

Мы вошли в дорожную «трассовую» столовую.

«Трасса» — артерия и главный нерв Колымы. В обе стороны непрерывно движутся грузы техники — без охраны, продукты с обязательным конвоем — беглецы нападают, грабят. Да и от шофера и агента снабжения конвой хоть и ненадежный, но все же защита — может предупредить воровство.

В столовых встречаются геологи, разведчики поисковых партий, едущие в отпуск с заработанным длинным рублем, подпольные продавцы табака и чифиря, северные герои и северные подлецы. В столовых

спирт здесь продают всегда. Они встречаются, спорят, дерутся, обмениваются новостями и спешат, спешат... Машины с невыключенным мотором оставляют работать, а сами ложатся спать в кабину на два-три часа, чтобы отдохнуть и снова ехать. Тут же везут заключенных чистенькими партиями вверх в тайгу и грязной кучей отбросов — сверху обратно из тайги. Тут и сыщики-оперативники, которые ловят беглецов. И сами беглецы — часто в военной форме. Здесь едет в ЗИСах начальство — хозяева жизни и смерти всех этих людей. Драматургу надо показывать Север именно в дорожной столовой. Это — наилучшая сцена.

Там я стоял, стараясь протискаться поближе к печке, огромной печке-бочке, раскаленной докрасна. Конвоиры не очень беспокоились, что я сбегаю, — я слишком ослабел — и это было хорошо видно. Всякому было ясно, что доходяге на пятидесятиградусном морозе некуда бежать.

— Садись вон, ешь.

Конвоир купил мне тарелку горячего супа, дал хлеба.

— Сейчас поедem дальше, — сказал молодой. — Старшой придет, и поедem.

Но рябой пришел не один. С ним был немолодой «боец» (солдатами их еще в те времена не звали) с винтовкой и в полушубке.

Он поглядел на меня, на рябого.

— Ну, что же, можно, — сказал он.

— Пошли, — сказал мне рябой.

Мы перешли в другой угол огромной столовой. Там у стены сидел, скорчившись, человек в бушлате и шапочке-бамлагерке, черной фланелевой ушанке.

— Садись сюда, — сказал мне рябой.

Я послушно опустился на пол рядом с тем человеком. Он не повернул головы.

Рябой и незнакомый боец ушли. Молодой «мой» конвоир остался с нами.

— Они отдых себе делают, понял? — зашептал мне внезапно человек в арестантской шапочке. — Не имеют права.

— Да, душа из них вон, — сказал я. — Пусть делают, как хотят. Тебе что — кисло от этого?

Человек поднял голову:

— Я тебе говорю, не имеют права...

— А куда нас везут? — спросил я.

— Куда тебя везут, не знаю, а меня в Магадан. На расстрел.

— На расстрел?

— Да. Я — приговоренный. Из западного управления. Из Сусумана.

Это мне совсем не понравилось. Но я ведь не знал «порядков», процедурных порядков «высшей меры». Я смущенно замолчал.

Подошел рябой боец вместе с новым нашим спутником.

Они стали говорить что-то между собой. Как только конвоя стало больше — они стали резче, грубее. Мне уже больше не покупали супа в столовой.

Проехали еще несколько часов, и в столовой к нам подвели еще троих — «этап», «партия» собиралась уже значительная.

Трое новых были неизвестного возраста, как все колымские доходяги; вздутая белая кожа, припухлость лиц говорили о голоде, о цинге. Лица были в пятнах отморожений.

— Вас куда везут?

— В Магадан. На расстрел. Мы приговоренные.

Мы лежали в кузове трехтонки, скрючившись, уткнувшись в колени, в спины друг друга. У трехтонки были хорошие рессоры, «трасса» была отличной дорогой, нас почти не подбрасывало, — и мы начали замерзать.

Мы кричали, стонали, но конвой был неумолим. Надо было засветло добраться до Спорного.

Приговоренный к расстрелу умолял «перегреться» хоть на пять минут.

Машина влетела в Спорный, когда уже горел свет.

Пришел рябой:

— Вас поместят на ночь в лагерный изолятор, а утром поедem дальше.

Я промерз до костей, онемел от мороза, стучал из последних сил подошвами бурок о снег. Не согревался. «Бойцы» все искали лагерное начальство. Наконец, через час нас отвели в мерзлый, нетопленный лагерный изолятор. Иней затянул все стены, земляной пол весь оледенел. Кто-то внес ведро воды. Загремел замок. А дрова? А печка?

Вот здесь в эту ночь на Спорном я отморозил наново все десять пальцев ног, безуспешно пытаюсь заснуть хоть на минуту.

Замелькали сопки, захрипели встречные машины.

Машина спустилась с перевала, и нам стало так тепло, что захотелось никуда не ехать, подождать, походить хоть немного по этой чудесной земле.

Разница была градусов в десять, не меньше. Да и ветер был какой-то теплый, чуть не весенний.

— Конвой! Оправиться!.. — Как еще рассказать бойцам, что мы рады теплу, южному ветру, избавлению от ледящей душу тайги.

— Ну, вылезай!

Конвоирам тоже было приятно размяться, закурить. Мой искатель справедливости уже приближался к конвоиру:

— Покурим, гражданин боец?

— Покурим. Иди на место.

Один из новичков не хотел слезать с машины. Но видя, что «оправка» затянулась, он передвинулся к борту и поманил меня рукой.

— Помоги спуститься.

Я протянул руки и, бессильный доходяга, вдруг почувствовал необычайную легкость его тела, какую-то смертную легкость. Я отошел. Человек, держась руками за борт машины, сделал несколько шагов.

— Как тепло. — Но глаза были смутны, без всякого выражения.

— Ну, поехали, поехали. Тридцать градусов.

С каждым часом становилось все теплее.

В столовой поселка «Палатка» наши конвоиры обедали последний раз. Рябой купил мне килограмм хлеба.

— Возьми вот беляшки. Вечером приедem.

Шел мелкий снег, когда далеко внизу показались огни Магадана. Было градусов десять. Безветренно. Снег падал почти отвесно — мелкие, мелкие снежинки.

Машина остановилась близ райотдела МВД. Конвоиры вошли в помещение.

Вышел человек в штатском костюме, без шапки. В руках он держал разорванный конверт.

Он выкрикнул чью-то фамилию, привычно, звонко. Человек с легким телом отполз по его знаку в сторону.

— В тюрьму!

Человек в костюме скрылся в здании и сейчас же явился.

В руках его был новый пакет.

— Иванов?

— Константин Иванович.

— В тюрьму!

— Угрицкий Сергей Федорович!

— В тюрьму!

— Симонов Евгений Петрович!

— В тюрьму!

Я не прощался ни с конвоем, ни с теми, кто ехал вместе со мной в Магадан. Это не принято.

Перед крыльцом райотдела стоял только я вместе со своими конвоирами.

Человек в костюме показался на крыльце с пакетом.

— Андреев!

— В райотдел! Сейчас я вам дам расписку,— сказал человек моим конвоирам.

Я вошел в помещение. Первым делом — где печка? Вот она — батарея центрального отопления. Дежурный за деревянным барьером. Телефон. Победнее, чем у товарища Смертина в Хатыннахе. А, может быть, потому, что то был первый такой кабинет в моей колымской жизни?

Вверх по коридору уходила крутая лестница на второй этаж.

Недолго я ждал. Сверху спустился тот самый человек в костюме, который принимал нас на улице.

— Идите сюда.

По узкой лесенке поднялись мы на второй этаж, дошли до двери с надписью: «Я. Атлас, ст. уполномоченный».

— Садитесь.

Я сел. В крошечном кабинете главное место занимал стол. Бумаги, папки, списки какие-то.

Атласу было лет тридцать восемь — сорок. Полный мужчина, черноволосый, чуть лысоватый.

— Фамилия?

— Андреев.

— Имя, отчество, статья, срок?

Я ответил.

— Юрист?

— Юрист.

Атлас вскочил с места и обошел вокруг стола: «Прекрасно!»

— С вами будет говорить капитан Ребров!

— А кто такой капитан Ребров?

— Начальник СПО. Идите вниз.

Я возвратился к своему месту около батареи. Размыслив над новостями, я решил заблаговременно съесть тот килограмм «беляшки», который мне дали конвоиры. Бак с водой и прикованная к нему кружка были тут же. Ходики на стене мерно тикали. В полудреме я слышал, как кто-то прошел мимо меня наверх быстрыми шагами, и дежурный разбудил меня:

— К капитану Реброву.

Меня провели на второй этаж. Открылась дверь небольшого кабинета, и я услышал резкий голос:

— Сюда, сюда!

Обыкновенный кабинет, чуть побольше того, где я был часа два назад. Стекловидные глаза капитана Реброва устремлены были прямо на меня. На углу стола стоял недопитый стакан чаю с лимоном, обкусанная корочка сыра на блюде. Телефоны. Папки. Портреты.

— Фамилия?

— Андреев.

— Имя-отчество? Статья? Срок?.. Юрист?

— Юрист.

Капитан Ребров перегнулся через стол, приближая ко мне стеклянные глаза, и спросил:

— Вы Парфентьева знаете?

— Да, знаю.

Парфентьев был моим бригадиром в забойной бригаде на прииске еще до того, как я попал в бригаду Шмелева. Из парфентьевской бригады меня перевели в бригаду Потураева, а оттуда — к Шмелеву. У Парфентьева я работал несколько месяцев.

— Да. Знаю. Это мой бригадир, Дмитрий Тимофеевич Парфентьев.

— Так. Хорошо. Значит, Парфентьева знаете?

— Да, знаю.

— А Виноградова знаете?

— Виноградова не знаю.

— Виноградова, председателя Далькрайсуда?

— Не знаю.

Капитан Ребров зажег папиросу, глубоко затянулся и продолжал разглядывать меня, думая о чем-то своем.

Капитан Ребров потушил папиросу о блюде.

— Значит, ты знаешь Виноградова и не знаешь Парфентьева?

— Нет, я не знаю Виноградова...

— Ах, да. Ты знаешь Парфентьева и не знаешь Виноградова. Ну, что ж!

Капитан Ребров нажал кнопку звонка. Дверь за моей спиной открылась.

— В тюрьму!

Блюдечко с окурком и недоеденной корочкой сыра осталось в кабинете начальника СПО на письменном столе справа, возле графина с водой.

Глубокой ночью конвоир вел меня по спящему Магадану.

— Шагай скорей.

— Мне некуда спешить.

— Поговори еще! — Боец вынул пистолет. — Застрелю, как собаку. Списать нетрудно.

— Не спишешь,— отвечал я. — Ответишь перед капитаном Ребровым.

— Иди, зараза!

Магадан — город маленький. Вскоре мы добрались до «Дома Васькова», как называется местная тюрьма. Васьков был заместителем Берзина, когда строился Магадан. Деревянная тюрьма была одним из первых магаданских зданий. Тюрьма сохранила имя человека, который строил ее. В Магадане давно построена каменная тюрьма, но и это новое, «благоустроенное» здание по последнему слову пенитенциарной техники называется «Домом Васькова».

После кратких переговоров на «вахте» меня спустили во двор «Дома Васькова». Низкий, приземистый, длинный корпус тюрьмы из гладких тяжелых лиственных бревен. Через двор — две «палатки» — деревянные здания.

— Во вторую,— сказал голос сзади.

Я ухватился за ручку двери, открыл дверь и вошел. Двойные нары, полные людьми. Но не тесно, не вплотную. Земляной пол. Печка-полубочка на длинных железных ногах. Запах пота, лизола и грязного тела.

С трудом я вполз наверх — теплее все-таки — и пролез на свободное место.

Сосед проснулся.

— Из тайги?

— Из тайги.

— Со вшами?

— Со вшами.

— Ложись тогда в угол. У нас здесь вшей нет. Здесь дезинфекция бывает.

«Дезинфекция — это хорошо,— думал я. — А главное — тепло».

Утром кормили. Хлеб, кипяток. Мне еще хлеба не полагалось. Я снял с ног бурки, положил их под голову, спустил ватные брюки, чтобы согреть ноги, заснул и проснулся через сутки, когда уже давали хлеб и я был зачислен на полное довольствие «Дома Васькова».

В обед давали юшку от галушек, три ложки пшенной каши. Я спал до утра следующего дня, до той минуты, когда дикий голос дежурного разбудил меня.

— Андреев! Андреев! Кто Андреев?

Я слез с нар.

— Вот я.

— Выходи во двор — иди вот к тому крыльцу.

Двери подлинного «Дома Васькова» открылись передо мной, и я вошел в низкий, тускло освещенный коридор. Надзиратель отпер замок, отвалил массив-

ную железную щеколду и открыл крошечную камеру с двойными нарами. Два человека, согнувшись, сидели в углу нижних нар.

— Я подошел к окну, сел.

За плечи меня тряс человек. Это был мой приисковый бригадир Дмитрий Тимофеевич Парфентьев.

— Ты понимаешь что-нибудь?

— Ничего не понимаю.

— Когда тебя привезли?

— Три дня назад. На легковушке Атлас привез.

— Атлас? Он допрашивал меня в райотделе. Лет сорока, лысоватый. В штатском.

— Со мной он ехал в военном.

— А что тебя спрашивал капитан Ребров?

— Не знаю ли я Виноградова.

— Ну?

— Откуда же мне его знать?

— Виноградов — председатель Далькрайсуда.

— Это ты знаешь, а я — не знаю, кто такой Виноградов.

— Я учился с ним.

Я начал кое-что понимать. Парфентьев был до ареста областным прокурором в Челябинске, карельским прокурором. Виноградов, проезжая через «Партизан», узнав, что его университетский товарищ в заборе, передал ему деньги, попросил начальника «Партизана» Анисимова помочь Парфентьеву. Парфентьева перевели в кузницу молотобойцем. Анисимов сообщил о просьбе Виноградова в МВД, Смертину, тот — в Магадан, капитану Реброву, и начальник СПО приступил к разработке дела Виноградова. Были арестованы все юристы-заключенные по всем приискам Севера. Остальное было делом следовательской техники.

— А здесь мы зачем? Я был в палатке...

— Нас выпускают, дурак, — сказал Парфентьев.

— Выпускают? На волю? То есть не на волю, а на пересылку, на транзитку.

— Да, — сказал третий человек, выползая на свет и оглядывая меня с явным презрением.

Раскормленная розовая рожа. Одет он был в черную дошку, зефирная рубашка была расстегнута на его груди.

— Что, знакомы? Не успел вас задавить капитан Ребров. Враг народа...

— А ты-то — друг народа?

— Да уж, по крайней мере, не политический. Ромбов не носил. Не издевался над трудовыми людьми. Вот из-за вас, из-за таких, и нас сажают.

— Блатной, что ли? — сказал я.

— Кому блатной, а кому портной.

— Ну, перестаньте, перестаньте, — заступился за меня Парфентьев.

— Гад! Не терплю!

Загремели двери.

— Выходи!

Около вахты толклось человек семь. Мы с Парфентьевым подошли поближе.

— Вы что — юристы, что ли? — спросил Парфентьев.

— Да! Да!

— А что случилось? Почему нас выпускают?

— Капитан Ребров арестован. Велено освободить всех, кто по его ордерам, — негромко сказал кто-то всеведущий.

1962 г.

Заклинатель змей

Мы сидели на поваленной бурей огромной лиственнице. Деревья в краю вечной мерзлоты едва держатся за неуютную землю, и буря легко вырывает их с корнями и валит на землю. Платонов рассказывал

мне историю своей здешней жизни — второй нашей жизни на этом свете. Я нахмурился при упоминании прииска Джанхара. Я сам побывал в местах дурных и трудных, но страшная слава Джанхары гремела везде.

— И долго вы были на Джанхаре?

— Год, — сказал Платонов негромко. Глаза его сузились, морщины обозначились резче — передо мной был другой Платонов, старше первого лет на десять.

— Впрочем, трудно было только первое время, два-три месяца. Там одни воры. Я был единственным... грамотным человеком там. Я им рассказывал, «ти-скал романы», как говорят на блатном жаргоне, рассказывал по вечерам Дюма, Конан Дойля, Уоллеса. За это они меня кормили, одевали, и я работал мало. Вы, вероятно, тоже в свое время использовали это единственное преимущество грамотности здесь?

— Нет, — сказал я, — нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом. За суп я никогда не рассказывал «романов». Но я знаю, что это такое. Я слышал «романистов».

— Это осуждение? — спросил Платонов.

— Ничуть, — ответил я. — Голодному человеку можно простить многое, очень многое.

— Если я останусь жив, — произнес Платонов священную формулу, которой начинались все размышления о времени дальше завтрашнего дня, — я напишу об этом рассказ. Я уже и название придумал: «Заклинатель змей». Хорошее?

— Хорошее. Надо только дожить. Вот — главное.

Андрей Федорович Платонов, киносценарист в своей первой жизни, умер недели через три после этого разговора, умер так, как умирали многие, — взмахнул кайлом, покачнулся и упал лицом на камни. Глюкоза внутривенно, сильные сердечные средства могли бы его вернуть к жизни — он хрипел еще час, полтора, но уже затих, когда подошли носилки из больницы, и санитары унесли в морг этот маленький труп — легкий груз костей и кожи.

Я любил Платонова за то, что он не терял интереса к той жизни за синими морями, за высокими горами, от которой нас отделяло столько верст и лет и в существование которой мы уже почти не верили или, вернее, верили так, как школьники верят в существование какой-нибудь Америки. У Платонова, бог весть откуда, бывали и книжки, и когда было не очень холодно, например, в июле, он избегал разговоров на темы, которыми жило все «население», — какой будет или был на обед суп, будут ли давать хлеб трижды в день или сразу с утра, будет ли завтра дождь или ясная погода.

Я любил Платонова, и я попробую сейчас написать его рассказ «Заклинатель змей».

Конец работы — это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти две из десяти ежедневных перекличек под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей, пока еще более сильных, чем ты, товарищей, которые тоже устали, и спешат домой, и сердятся из-за всякой задержки. Надо еще пройти перекличку, построиться и отправиться за пять километров в лес за дровами — ближний лес давно весь вырублен и сожжен.

Бригада лесорубов заготавливает дрова, а шурфовые рабочие носят по бревнышку каждый. Как доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже двум людям, — никто не знает. Автомшины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек, хотя разница между ее прежним бытом и нынешним неизмеримо, конечно, меньше, чем у людей. Часто кажется, да так, наверно, оно

и есть на самом деле, что человек потому и поднялся из звериного царства, стал человеком, т. е. существом, которое могло придумать такие вещи, как наши острова со всей невероятностью их жизни, что он был физически выносливее любого животного. Не рука очеловечила обезьяну, не зародыш мозга, не душа — есть собаки и медведи, поступающие умней и нравственней человека. И не подчинением себе силы огня, все это было после выполнения главного условия превращения. При прочих равных условиях в свое время человек оказался значительно крепче и выносливее физически, только физически. Он был живуч — «как кошка» — эта поговорка неверна. О кошке правильнее было бы сказать — эта тварь живуча, как человек. Лошадь не выносит месяца зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. Если это не якутская лошадь. Но ведь на якутских лошадях и не работают. Их, правда, и не кормят. Они, как олени зимой, «копытят» снег и вытаскивают сухую прошлогоднюю траву. А человек живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь никаких надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить надеждами. Поэтому так много самоубийц. Но чувство самосохранения, цепкость к жизни, физическая именно цепкость, которой подчинено и сознание, спасает его. Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица, собака. Но он цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливее любого животного.

О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече и ожидая новой переклички. Дрова принесены, сложены, и люди, теснясь, торопясь и ругаясь, вошли в темный бревенчатый барак.

Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все рабочие ходили на работу. В правом дальнем углу на верхних нарах, перетащив к себе единственную лампу — бензиновую коптилку без стекла, сидело человек семь-восемь, вокруг двоих, которые, скрестив по-татарски ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Дымящаяся коптилка дрожала, огонь удлинял и качал тени.

Платонов присел на край нар. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова только утром привезли на Джанхару, и работал он первый день. Свободных мест на нарах не было. «Вот все разойдутся, — подумал Платонов, — и я лягу». Он задремал.

Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалялся к краю нар.

— Ну-ка, позовите этого «Ивана Ивановича», — сказал он.

Толчок в спину разбудил Платонова.

— Ты. Тебя зовут.

— Ну, где он, этот Иван Иванович? — звали с верхних нар.

— Я не Иван Иванович, — сказал Платонов, щурясь.

— Он не идет, Федечка.

— Как не идет?

Платонова вытолкали к свету.

— Ты думаешь жить? — спросил его негромко Федя, вращая мизинец с отращенным грязным ногтем перед глазами Платонова.

— Думаю, — ответил Платонов.

Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом.

— Так отвечать нельзя, — ласково объяснил Федя. — Вас, Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать?

Платонов молчал.

— Иди, тварь, — сказал Федя. — Иди и ложись к па-

раше. Там будет твое место. А будешь кричать — удавим. — Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова душили полотенцем людей — по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на вонючие доски.

— Скука, братцы, — сказал Федя, зевая, — хоть бы пятки кто почесал, что ли...

— Машка, эй, Машка, иди, чеши Федечке пятки.

В полосу света вынырнул Машка, бледный хорошенький мальчик, воренок лет восемнадцати.

Он снял с ног Федечки заношенные желтые полуботинки, бережно снял грязные рваные носки и стал, улыбаясь, чесать пятки Феде. Федя хихикал, вздрагивая от щекотки.

— Пошел вон, — вдруг сказал он. — Не можешь чесать. Не умеешь.

— Да я, Федечка...

— Пошел вон, тебе говорят. Скребет, царапает. Нежности нет никакой.

Окружающие сочувственно кивали головами.

— Вот был у меня на Косом жид — тот чесал. Тот, братцы мои, чесал. Инженер.

И Федя погрузился в воспоминания о жиде, который чесал пятки.

— Федя, а Федя, — а этот новый-то? Не хочешь попробовать?

— Ну его, — сказал Федя. — Разве такие могут чесать. А впрочем, подымите-ка его.

Платонова вывели к свету.

— Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу, — распоряжался Федя. — И ночью будешь в печку подкладывать. А утром — парашку на улицу. Дневальный покажет, куда выливать...

Платонов молчал покорно.

— За это, — объяснил Федя, — ты получишь миску супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. Иди, спи.

Платонов лег на старое место. Рабочие почти все спали, свернувшись по двое, по трое — так было теплее.

— Эх, скука, ночи длинные, — сказал Федя. — Хоть бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у меня на Косом...

— Федя, а Федя, а этот, новый-то — не хочешь попробовать?

— И то, — оживился Федя. — Подымите его.

Платонова подняли.

— Слушай, — сказал Федя, улыбаясь, почти заискивающе, — я тут погорячился немного.

— Ничего, — сказал Платонов сквозь зубы.

— Слушай, а романы ты можешь тискать?

Огонь блеснул в мутных глазах Платонова. Еще бы он не мог! Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась «Графом Дракулой» в его пересказе. Но там были люди. А здесь? Стать шутком при дворе Миланского герцога, шутком, которого кормили за хорошую шутку и били за плохую? Есть ведь и другая сторона в этом деле. Он познакомит их с настоящей литературой. Он будет просветителем. Он разбудит в них интерес к художественному слову, он и здесь, на дне жизни, будет выполнять свое дело, свой долг. По старой своей привычке Платонов не хотел себе сказать, что просто он будет накормлен, будет получать лишний супчик не за вынос параша, а за другую, более благородную работу. Благородную ли? Это все-таки ближе к чесанию грязных пяток вора, чем к просветительству. Но голод, холод, побои...

Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа.

— М-могу, — выговорил Платонов и в первый раз за этот трудный день улыбнулся. — Могу тиснуть.

— Ах ты, милый мой. — Федя развеселился. — Иди, лезь сюда. На тебе хлебушка. Получше уж завтра покушаешь. Садись сюда на одеяло. Закуривай.

Платонов, не куривший неделю, с болезненным наслаждением сосал махорочный окурок.

— Как тебя звать-то?
— Андрей,— сказал Платонов.
— Так вот, Андрей, значит, что-нибудь подлинней, позабористей. Вроде графа Монте-Кристо. О тракторах не надо.
— «Отверженные», может быть? — предложил Платонов.
— Это о Жан Вальжане? Это мне на Косом тискали.
— Тогда «Клуб червонных валетов» или «Вампира»?
— Вот-вот. Давай валетов. Тише вы, твари...
Платонов откашлялся.
— В городе Санкт-Петербурге, в тысяча восемьсот девяносто третьем году совершено было одно таинственное преступление...
Уже рассветало, когда Платонов окончательно обесилел.
— На этом кончается первая часть,— сказал он.
— Ну, здорово,— сказал Федя.— Как он ее! Ложись здесь с нами. Спать-то много не придется — рассвет. На работе поспишь. Набирайся сил к вечеру...
Платонов уже спал.
Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних валетов, злобно толкнул Платонова в дверях.
— Ты, гадина, ходи да поглядывай.
Ему тотчас же зашептали что-то на ухо.
Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову.
— Ты Феде-то не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист.
— Я не скажу,— ответил Платонов.

1954 г.

Апостол Павел

Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе со скользкой лестницы из жердей, начальству стало ясно, что я прохромаю долго, и, так как без дела сидеть было нельзя, меня перевели помощником к нашему столяру Адаму Фризоргеру, чему мы оба — и Фризоргер, и я — были очень рады.

В своей «первой жизни» Фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ Маркштадта на Волге. Мы встретились с ним на одной из больших пересылок во время тифозного карантина и вместе приехали сюда, в угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побывал в тайге, побывал и в «доходягах» и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку. Нас отправляли в угольную разведку как инвалидов, как «обслужу» — рабочие кадры разведки были комплектованы только вольнонаемными. Правда, это были вчерашние заключенные, только что отбывшие свой «термин» или срок и называвшиеся в лагере полупрезрительным словом «вольняшки». Во время нашего переезда у сорока человек этих вольнонаемных едва нашлось два рубля, когда понадобилось купить махорку, но все же это был уже не наш брат. Все понимали, что пройдет два-три месяца, и они приоденутся, могут выпить, паспорт получают, может быть, даже через год уедут домой. Тем ярче были эти надежды, что Парамонов, начальник разведки, обещал им огромные заработки и полярные пайки. «В цилиндрах домой поедете», — постоянно твердил им начальник. С нами же, арестантами, разговоров о цилиндрах и полярных пайках не заводилось.

Впрочем, он и не грубил нам. Заключенных ему в разведку не давали, и пять человек в службу — это было все, что Парамонову удалось выпросить у начальства.

Когда нас, еще не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и доставили перед его светлые

и проницательные очи, он остался весьма доволен опросом. Один из нас был печник, седоусый остряк ярославец Изгибин, не потерявший природной бойкости и в лагере. Мастерство ему давало кое-какую помощь, и он не был так истощен, как остальные. Вторым был одноглазый гигант из Каменец-Подольска — «паровозный кочегар», как он отрекомендовался Парамонову.

— Слесарить, значит, можешь маленько,— сказал Парамонов.

«Могу, могу», — охотно подтвердил «кочегар». Он быстро сообразил всю выгодность работы в вольнонаемной разведке.

Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг Парамонова. На рваное тряпье, в которое был одет агроном, не было обращено, конечно, никакого внимания. В лагере не встречают людей по одежке, а Парамонов достаточно знал лагерь.

Четвертым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом. Но мой высокий рост, по видимому, успокоил Парамонова, да и не стоило возиться с исправлением списка из-за одного человека. Он кивнул головой.

Но наш пятый повел себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и закрывал лицо руками, не слыша голоса Парамонова. Но и это начальнику не было внове. Парамонов повернулся к нарядчику, стоявшему тут же и державшему в руках желтую стопку скоросшивателей — так называемых «личных дел».

«Это столяр», — сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова. Прием был закончен, и нас увезли в разведку.

Фризоргер после рассказывал мне, что, когда его вызвали, он думал, что его вызывают на расстрел, так его запугал следователь еще на прииске. Мы жили с ним целый год в одном бараке, и не было случая, чтобы мы поругались друг с другом. Это — редкость среди арестантов и в лагере, и в тюрьме. Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань достигает такого градуса, что кажется — следующей ступенью может быть только нож или в лучшем случае какая-нибудь кочерга. Но я быстро научился не придавать большого значения этой пышной ругани. Жар быстро спадал, и если оба продолжали еще долго лениво отругиваться, то это делалось больше для «порядка», для сохранения «лица».

Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была заслуга Фризоргера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не оскорблял, говорил мало. Голос у него был старческий, дребезжащий, но какой-то искусственно, подчеркнуто дребезжащий. Таким голосом говорят в театре молодые актеры, играющие стариков. В лагере многие стараются (и небезуспешно) показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле. Все это делается не всегда с сознательным расчетом, а как-то инстинктивно. Ирония жизни здесь в том, что бо́льшая половина людей, прибавляющих себе лета и убавляющих силы, дошли до состояния, еще более тяжелого, чем они хотят показать.

Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера.

Каждое утро и вечер он неслышно молился, отвернувшись от всех в сторону и глядя в пол, а если и принимал участие в общих разговорах, то только на религиозные темы, то есть очень редко, ибо арестанты не любят религиозных тем. Старый похабник, милейший Изгибин, пробовал было подсмеиваться над Фризоргером, но остроты его были встречены такой мирной улыбочкой, что изгибинский заряд шел вхолостую. Фризоргера любила вся разведка и даже сам Парамонов, которому Фризоргер сделал замеча-

тельный письменный стол, проработав над ним, кажется, полгода.

Наши койки стояли рядом, мы часто разговаривали, и иногда Фризоргер удивлялся, по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у меня знание каких-либо популярных евангельских историй — материал, который он по простоте душевной считал достоянием только узкого круга религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал подобные познания. И воодушевившись, принимался рассказывать мне то евангельское, что я помнил не твердо или чего я не знал вовсе. Очень ему нравились эти беседы.

Но однажды, перечисляя имена двенадцати апостолов, Фризоргер ошибся. Он назвал имя апостола Павла. Я, который со всей самоуверенностью невежды считал всегда апостола Павла действительным создателем христианской религии, ее основным теоретическим вождем, знал немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить Фризоргера.

— Нет, нет,— сказал Фризоргер, смеясь,— вы не знаете, вот,— и он стал загибать пальцы,— Питер, Пауль, Маркус...

Я рассказал ему все, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня внимательно и молчал. Было уже поздно, пора было спать. Ночью я проснулся и в мерцающем, дымном свете коптилки увидел, что глаза Фризоргера открыты, и услышал шепот: «Господи, помоги мне! Питер, Пауль, Маркус...» Он не спал до утра. Утром он ушел на работу рано, а вечером пришел поздно, когда я уже заснул. Меня разбудил тихий старческий плач. Фризоргер стоял на коленях и молился.

— Что с вами? — спросил я, дождавшись конца молитвы.

Фризоргер нашел мою руку и пожал ее.

— Вы правы,— сказал он.— Пауль не был в числе двенадцати апостолов. Я забыл про Варфоломея.

Я молчал.

— Вы удивляетесь моим слезам? — сказал он.— Это слезы стыда. Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на мою непростительную ошибку чужой человек. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты — это я сам, это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Все будет хорошо.

Я едва успокоил его, и с той поры (это было незадолго до вывиха ступни) мы стали еще большими друзьями.

Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну.

— Вот,— сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию-«моменталку». Это была фотография молодой женщины, с каким-то случайным, как во всех снимках «моменталок», выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой.

— Это моя дочь,— сказал Фризоргер торжественно.— Единственная дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверно. Я писал ей много и теперь пишу. Только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дому везу. Шесть лет назад я ее взял с комода.

В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов.

— Дочь, что ли? — сказал он, быстро оглядев фотографию.

— Дочь, гражданин начальник,— сказал Фризоргер, улыбаясь.

— Пишет?

— Нет.

— Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю. Как твоя нога?

— Хромаю, гражданин начальник.

— Ну, хромай, хромай.— Парамонов вышел.

С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улегшись на койку, доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек.

Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь, из заключенных, Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры с павших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре, и вести всю канцелярию начальника.

— Смотри-ка,— сказал он мне,— какое заявление на имя Фризоргера прислали.

В пакете было «казенное» отношение с просьбой познакомить заключенного Фризоргера (статья, срок) с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она коротко и ясно писала, что, убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от него и просит считать родство не бывшим.

Рязанов повертел в руках бумажку.

— Экая пакость,— сказал он.— Для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?

Я думал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это вид своеобразного садизма вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключенного или просто желание выполнить все «по закону»? Или еще что?

— Слушай, Ванюшка,— сказал я Рязанову.— Ты регистрировал почту?

— Где же, только сейчас пришла.

— Отдай-ка мне этот пакет.— И я рассказал Рязанову, в чем дело.

— А письмо? — сказал он неуверенно.— Она ведь напишет, наверное, и ему.

— Письмо ты тоже удержишь.

— Ну, бери.

Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.

Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли в той же самой печке.

Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался, и как он жил дальше — я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнованный шепот: «Питер, Пауль, Маркус...»

[1954 г.]

Тайга золотая

Малая зона — это пересылка. Большая зона — лагерь горного управления — бесконечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки, караульные вышки по-зимнему, похожие на скворечни. В Малой зоне — еще больше колючей проволоки, еще больше вышек, замков и щекколд — ведь там живут проезжие, «транзитные», от которых можно ждать всякой беды.

Архитектура Малой зоны идеальна. Это один квадратный барак, огромный, где нары в четыре этажа и где «юридических» мест не менее пятисот. Значит, если нужно, можно вместить тысячи. Но сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется почти пустой. Барак еще не успел высохнуть внутри — белый пар, на соснах лед. При входе — огромная лампа электрическая в тысячу свечей. Лампа то желтеет, то загора-

ется ослепительным белым светом — подача энергии неровная.

Днем зона спит. По ночам раскрываются двери, под лампой появляются люди со списками в руках и хриплыми простуженными голосами выкрикивают фамилии. Те, кого вызвали, застегивают бушлаты на все пуговицы — шагают через порог и исчезают навсегда. За порогом ждет конвой, где-то пыхтят моторы грузовиков, заключенных везут на прииски, в совхозы, на дорожные участки...

Я тоже лежу здесь — недалеко от двери на нижних нарах. Внизу холодно, но наверх, где теплее, я подниматься не решаюсь, меня оттуда бросят вниз — там место для тех, кто посильней, и прежде всего для воров. Да мне и не взобраться наверх по ступенькам, прибитым гвоздями к столбу. Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах — я уползу под нары, вниз.

Я не могу ни кусаться, ни драться, хотя приемы тюремной драки мною освоены хорошо. Ограниченность пространства — тюремная камера, арестантский вагон, барачная теснота — продиктовала «приемы» захвата, укуса, перелома. Но сейчас сил нет и для этого. Я могу только рычать, материться. Я сражаюсь за каждый день, за каждый час отдыха. Каждый клочок тела подсказывает мне мое поведение.

Меня вызывают в первую же ночь, но я не подпоясываюсь, хотя веревочка у меня есть, не застегиваюсь наглухо.

Дверь закрывается за мной, и я стою в тамбуре.

Бригада — двадцать человек. Обычная норма для одной автомашины стоит у следующей двери, из которой выбивается густой морозный пар.

Нарядчик и старший конвоир считают и осматривают людей. Справа стоит еще один человек — в стеганке, в ватных брюках, в ушанке, помахивает меховыми рукавицами — крагами. Его-то мне и нужно. Меня возили столько раз, что «закон» я знал в совершенстве.

Человек с крагами — «представитель», который принимает людей, который волен не принять.

Нарядчик выкрикивает мою фамилию во весь голос — точно так же, как кричал в огромном бараке. Я смотрю только на человека с крагами.

— Не берите меня, гражданин начальник. Я больной и работать на прииске не буду. Мне надо в больницу.

«Представитель» колеблется — на прииске, дома, ему говорили, чтобы он отобрал только «работяг», других прииску не надо. Потому-то он и приехал сам.

«Представитель» разглядывает меня. Мой рваный бушлат, засаленная гимнастерка без пуговиц, открывающая грязное тело в расчесах от вшей, обрывки тряпок, которыми перевязаны пальцы рук, веревочная обувь на ногах, веревочная в шестидесятиградусный мороз, воспаленные голодные глаза, непомерная костлявость — он хорошо знает, что все это значит.

Представитель берет красный карандаш и твердой рукой вычеркивает мою фамилию.

— Иди, сволочь, — говорит мне нарядчик зоны.

И дверь распахивается, и я снова внутри Малой зоны. Место мое уже занято, но я оттаскиваю того, кто лег на мое место, в сторону. Тот недовольно рычит, но вскоре успокаивается.

А я засыпаю похожим на забытие сном и просыпаюсь от первого шороха. Я выучился просыпаться, как зверь, как дикарь, без полусна.

Я открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же туфле, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом педераста:

— Скажи Валюше, — говорит он кому-то невидимому на верхних нарах, — что артистов привели...

Пауза. Потом хриплый голос сверху:

— Валюша спрашивает — кто они?

— Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.

Туфля зашевелилась и исчезла. Голос сверху сказал:

— Веди их.

Я подвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один в «вольной москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.

— Кто тут харбинский? — сказал голос.

— Это я, — почтительно ответил человек в бекеше.

— Валюша велит спеть что-нибудь.

— На русском? Французском? Итальянском? Английском? — спрашивал, вытягивая шею вверх, певец.

— Валюша сказал: на русском.

— А конвой? Можно негромко?

— Ничто... ничто... Вовсю валяй, как в Харбине. Певец отошел и спел куплеты тореадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом.

Тяжелое ворчание и голос сверху:

— Валюша сказал: какую-нибудь песню.

Побледневший певец пел:

**Шуми, золотая, шуми, золотая,
Моя золотая тайга,
Ой, вейтесь дороги одна и другая
В раздольные наши края...**

Голос сверху:

— Валюша сказал: хорошо.

Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.

— Ну, а теперь, — сказал голос, — снимай-ка свою «москвичку». Вот тебе сменка!

Сверху сбросили рваную телогрейку.

Певец молча снял «москвичку» и надел телогрейку.

— Иди теперь, — сказал голос сверху. — Валюша спать хочет.

Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане.

Я подвинулся, глубже скорчился, засунул руки в рукава телогрейки и заснул.

И, казалось, тотчас же проснулся от громкого, выразительного шепота:

— В тридцать седьмом в Улан-Баторе идем мы по улице с товарищем. Время обедать. На углу — китайская столовая. Заходим. Смотрю меню: китайские пельмени. Я — сибиряк, знаю сибирские, уральские пельмени. А тут вдруг китайские. Решили взять по сотне. Хозяин-китаец смеется: «Многа будет», — и рот растягивает до ушей. Ну, по десятку? Хохоchet: «Многа будет». Ну, по паре! Пожал плечами, ушел на кухню, тащит — каждый пельмень с ладонь, все залито жиром горячим. Ну, мы по полпельменя на двоих съели и ушли.

— А вот я...

Усилием воли заставляю себя не слушать и засыпаю снова.

Просыпаюсь от запаха дыма. Где-то сверху, в воровском царстве, курят. Кто-то слез с махорочной цигаркой вниз, и острый сладкий запах дыма разбудил всех внизу.

И снова шепот:

— В райкоме у нас в Северном этих окурков, боже мой, боже мой! Тетя Поля, уборщица, все ругалась, подметать не успевала. А я и не понимал тогда, что такое табачный окурочек, чинарик, бычок.

Снова я засыпаю.

Кто-то дергает меня за ногу. Это нарядчик. Воспаленные глаза его злы. Он ставит меня в полосу желтого света у двери.

— Ну,— говорит он,— на прииск ты не хочешь ехать.

Я молчу.

— А в совхоз? В теплый совхоз, черт бы тебя побрал, сам бы поехал.

— Нет.

— А на дорожную? Метлы вязать. Метлы вязать, подумай.

— Знаю,— говорю я,— сегодня метлы вязать, а завтра — тачку в руки.

— Чего же ты хочешь?

— В больницу! Я болен.

Нарядчик что-то записывает в тетрадь и уходит. Через три дня в Малую зону приходит фельдшер и вызывает меня, ставит термометр, осматривает язвы фурункулов на спине, втирает какую-то мазь.

[1961 г.]

Шоковая терапия

Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом и в самодельной крупорушке — большой консервной банке с пробитым дном на манер сита — можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утишать голод, еще тогда он думал над одним простым вопросом. Крупные обозные материковские кони получали ежедневно порцию казенного овса, вдвое большую, чем приземистые и косматые якутские лошаденки, хотя те и другие возили одинаково мало. Ублюдку-першерону Грому засыпалось в кормушку столько овса, сколько хватило бы пяти «якуткам». Это было правильно, так велось везде и не это мучило Мерзлякова. Он не понимал, почему лагерный людской паек, эта таинственная роспись белков, жиров, витаминов и калорий, предназначенных для поглощения заключенными и называемая котловым листом, составляется вовсе без учета живого веса людей. Если уж к ним относятся, как к рабочей скотине, то в вопросах рациона надо быть более последовательным, а не держаться какой-то арифметической средней — канцелярской выдумки. Эта страшная средняя в лучшем случае была выгодна только малорослым, и действительно, малорослые «доходили» позже других. Мерзляков по своей комплекции был вроде першерона Грома, и жалкие три ложки каши на завтрак только увеличивали сосущую боль в желудке. А ведь, кроме пайка, бригадный рабочий не мог получить почти ничего. Все самое ценное — и масло, и сахар, и мясо — попадало в котел вовсе не в том количестве, какое записано в котловом листе. Видел Мерзляков и другое. Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе не меняла тут ровно ничего. Щупленький интеллигент все же держался дольше, чем гигант калужанин — природный землекоп,— если их кормили одинаково, в соответствии с лагерной «пайкой». В повышении пайки за проценты выработки тоже было мало проку, потому что основная роспись оставалась прежней, никак не рассчитанной на рослых людей. Для того, чтобы лучше есть, надо было лучше работать, а для того, чтобы лучше работать, надо было лучше есть. Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они первыми «доходили», что вызывало всегда замечания врачей: дескать, вся эта Прибалтика послабее русского народа. Правда, родной быт латышей и эстонцев дальше стоял от лагерного быта, чем быт русского крестьянина, и им было труднее. Но главное все же заключа-

лось в другом: они не были менее выносливыми, они просто были крупнее ростом.

Года полтора назад случилось Мерзлякову после цинги, которая быстро свалила новичка, поработать внештатным санитаром в местной больничке. Там он узнал, что выбор дозы лекарств делается по весу. Испытание новых лекарств проводится на кроликах, мышах, морских свинках, а человеческая доза определяется пересчетом на вес тела. Дозы для детей меньше, чем дозы для взрослых.

Но лагерный рацион не рассчитывался по весу человеческого тела. Вот это и был тот вопрос, неправильное решение которого удивляло и волновало Мерзлякова. Но раньше, чем он ослабел окончательно, ему чудом удалось устроиться конюхом,— туда, где можно было красть у лошадей овес и набивать им свой желудок. Мерзляков уже думал, что перезимует, а там — что бог даст. Но вышло не так. Заведующий конбазой был снят за пьянство, а на место его был назначен старший конюх — один из тех, кто в свое время научил Мерзлякова обращаться с жестяной крупорушкой. Старший конюх сам поворовал овса немало и в совершенстве знал, как это делается. Стремясь зарекомендовать себя перед начальством, он, не нуждаясь уже в овсяной крупе, нашел и собственноручно разломал все крупорушки. Овес стали жарить, варить и есть в природном виде, полностью приравнивая свой желудок к лошадиному. Новый заведующий написал рапорт по начальству. Несколько конюхов, в том числе и Мерзляков, были посажены в карцер за кражу овса и направлены с конбазы туда, откуда они пришли,— на общие работы.

На общих работах Мерзляков скоро понял, что смерть близка. Его шатало под тяжестью бревен, которые приходилось перетаскивать. Десятник, невзлюбивший этого ленивого «лба» («лоб» — это и значит «рослый» на местном языке), всякий раз ставил Мерзлякова «под комелек», заставляя тащить комель, толстый конец бревна. Однажды Мерзляков упал, не мог встать сразу со снега и, внезапно решившись, отказался тащить это проклятое бревно. Было уже поздно, темно, конвоиры торопились на политзанятия, рабочие хотели скорее добраться до барака, до еды, десятник в этот вечер опаздывал к карточному сражению,— во всей задержке был виноват Мерзляков. И он был наказан. Он был избит сначала своими же товарищами, потом десятником, конвоирами. Бревно так и осталось лежать в снегу — вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова. Он был освобожден от работы и лежал на нарах. Поясница болела. Фельдшер мазал спину Мерзлякова солидолом — никаких средств для растирания на медпункте давно не было. Мерзляков все время лежал, полусогнувшись, настойчиво жалуясь на боли в пояснице. Боли давно уже не было, сломанное ребро срослось очень быстро, и Мерзляков стремился ценой любой лжи оттянуть выписку на работу. Его и не выписывали. Однажды его одели, уложили на носилки, погрузили в кузов автомашины и вместе с другим больным увезли в районную больницу. Рентгенкабинета там не было. Теперь следовало подумать обо всем серьезно, и Мерзляков подумал. Он пролежал там несколько месяцев, не разгибаясь, был перевезен в центральную больницу, где, конечно, рентгенкабинет был и где Мерзлякова поместили в хирургическое отделение, в палаты травматических болезней, которые по простоте душевной больные называли «драматическими» болезнями, не думая о горечи этого каламбура.

— Вот еще этого,— сказал хирург, указывая на историю болезни Мерзлякова,— переводим к вам, Петр Иванович, лечить его в хирургическом нечего.

— Но вы же пишете в диагнозе: анкилоз на почве травмы позвоночника. Мне-то он к чему? — сказал невропатолог.

— Ну, анкилоз, конечно. Что же я еще могу напи-

сать? После побоев и не такие штуки могут быть. Вот у меня на прииске «Серый» был случай. Десятник избил работягу...

— Некогда, Сережа, слушать мне про ваши случаи. Я спрашиваю — зачем переводите?

— Я же написал: «Для обследования на предмет активирования». Потычете его иголочками, активируем и на пароход. Пусть будет вольным человеком.

— Но вы же делали снимки? Нарушения должны быть видны и без иголок.

— Делал. Вот извольте видеть. — Хирург навел на марлевою занавеску темный пленочный негатив. — Черт тут поймет в такой снимке. До тех пор, пока не будет хорошего света, хорошего тока, наши рентгено-техники все время будут такую муть давать.

— Истинно, муть, — сказал Петр Иванович. — Ну, так и быть. — И он подписал на истории болезни свою фамилию, согласие на перевод Мерзлякова к себе.

В хирургическом отделении — шумном, бестолковом, переполненном отморожениями, вывихами, переломами, ожогами — северные шахты не шутили, в отделении, где часть больных лежала прямо на полу палат и коридоров, где работал один молодой, бесконечно утомленный хирург с четырьмя фельдшерами — все они спали в сутки по три, четыре часа, — там и не могли внимательно заняться Мерзляковым. Мерзляков понял, что в нервном отделении, куда его внезапно перевели, и начнется настоящее следствие.

Вся его арестантская, отчаянная воля была сосредоточена давно на одном: не разогнуться. И он не разгибался. Как хотелось телу разогнуться хоть на секунду. Но он вспоминал прииск, щемящий дыхание холод, мерзлые, скользкие, блестящие от мороза камни золотого забоя, миску «супчику», которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненужной ложкой, приклады конвоиров и сапоги десятников — и находил в себе силу, чтобы не разогнуться. Впрочем, сейчас уже было легче, чем первые недели. Он спал мало, боясь разогнуться во сне. Он знал, что дежурным санитарам давно приказано следить за ним, чтобы уличить его в обмане. А вслед за уличением — и это тоже знал Мерзляков — следовала отправка на штрафной прииск. А какой же должен быть штрафной прииск, если обыкновенный оставил у Мерзлякова такие страшные воспоминания?

На другой день после перевода Мерзлякова повели к врачу. Заведующий отделением расспросил коротко о начале заболевания, сочувственно покивал головой. Рассказал, как бы между прочим, что даже и здоровые мышцы при многомесячном неестественном положении привыкают к нему, и человек сам себя может сделать инвалидом. Затем Петр Иванович приступил к осмотру. На вопросы при уколах иглы, при постукивании резиновым молоточком, при надавливании Мерзляков отвечал наугад.

Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкают заключенных на симуляцию. Петр Иванович сам был недавно заключенным, и его не удивляло ни детское упрямство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович, бывший доцент одного из сибирских институтов, сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей. Но он был врачом в большей степени, чем человеком, он был специалистом прежде всего. Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача-специалиста. Он понимал задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой, общегосударственной точки зрения и не с позиций морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение своих знаний, своего психологического умения расставлять западни, в которые должны были, к вящей славе науки, попадаться го-

лодные, полусумасшедшие, несчастные люди. В этом сражении врача и симулянта на стороне врача было все — и тысячи хитрых лекарств, и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста, — а на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал заключенному силу для борьбы. Разоблачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение: еще раз он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию, а наоборот — отточил, отшлифовал ее, словом, что он еще может...

«Дураки эти хирурги, — думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова. — Топографической анатомии не знают или забывают, а рефлексов и никогда не знали. Спасаются одним рентгеном. А нет снимка — и не могут уверенно сказать даже о простом переломе. А фасону сколько! — Что Мерзляков симулянт — это Петру Ивановичу ясно, конечно. — Ну, пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме. Все бумажки в историю болезни подклеим».

Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект нового разоблачения.

Через неделю в больнице собирали «этап» на пароход — перевод больных на Большую землю. Протоколы писались тут же в палате, и приехавший из Управления председатель врачебной комиссии самолично просматривал больных, приготовленных больницей к отправке. Его роль сводилась к просмотру документов, проверке надлежащего «оформления» — личный осмотр больного отнимал полминуты.

— В моих списках, — сказал хирург, — есть некто Мерзляков. Ему год назад конвоиры позвоночник сломали. Я бы хотел его отправить. Он недавно переведен в нервное отделение. Документы на отправку вот, заготовлены.

Председатель комиссии повернулся в сторону невропатолога.

— Приведите Мерзлякова, — сказал Петр Иванович.

Полусогнутого Мерзлякова привели. Председатель бегло взглянул на него.

— Экая горилла, — сказал он. — Да, конечно, держать таких нечего. — И взяв перо, он потянулся к спискам.

— Я своей подписи не даю, — сказал Петр Иванович громким и ясным голосом. — Это — симулянт, и завтра я буду иметь честь показать его и вам, и хирургу.

— Ну, тогда оставим, — равнодушно сказал председатель, положив перо. — И вообще, давайте кончать, уже поздно.

— Он симулянт, Сережа, — сказал Петр Иванович, беря под руку хирурга, когда они выходили из палаты. Хирург высвободил руку.

— Может быть, — сказал он, брезгливо морщась. — Дай вам бог успеха в разоблачении. Получите массу удовольствия.

На следующий день Петр Иванович на совещании у начальника больницы доложил о Мерзлякове подробно.

— Я думаю, — сказал он в заключение, — что разоблачение Мерзлякова мы проведем в два приема. Первым будет рауш-наркоз, о котором вы позабыли, Сергей Федорович, — сказал он с торжеством, поворачиваясь в сторону хирурга. — Это надо было сделать сразу. А уж если и рауш ничего не даст, тогда, — Петр Иванович развел руками, — тогда шоковая терапия. Это — занятная вещь, уверяю вас.

— Не слишком ли? — сказала Александра Сергеевна, заведующая самым большим отделением больницы — туберкулезным, — полная, грузная женщина, недавно приехавшая с материка.

— Ну,— сказал начальник больницы,— такую сволочь...— Он мало стеснялся в присутствии дам.

— Посмотрим по результатам рауша,— сказал Петр Иванович примирительно.

Рауш-наркоз — это оглушающий эфирный наркоз кратковременного действия. Больной засыпает на пятнадцать — двадцать минут, и за это время хирург должен успеть вправить вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь болезненный нарыв.

Начальство, наряженное в белые халаты, окружило операционный стол в перевязочной, куда положили послушного полусогнутого Мерзлякова. Санитары взяли за холщовые ленты, которыми обычно привязывают больных к операционному столу.

— Не надо, не надо! — закричал Петр Иванович, подбегая.— Вот лент-то и не надо.

Лицо Мерзлякова вывернулось вверх. Хирург наложил на него наркозную маску и взял в руки бутылочку с эфиром.

— Начинайте, Сережа!

Эфир закапал.

— Глубже, глубже, дыши, Мерзляков! Считаю вслух!

— Двадцать шесть, двадцать семь,— ленивым голосом считал Мерзляков, и, внезапно оборвав счет, он заговорил что-то, не сразу понятное, отрывочное, пересыпанное матерной бранью.

Петр Иванович держал в своей руке левую руку Мерзлякова. Через несколько минут рука ослабла. Петр Иванович выпустил ее. Рука мягко и мертво упала на край стола. Петр Иванович медленно и торжественно разогнул тело Мерзлякова. Все ахнули.

— Вот теперь привяжите его,— сказал Петр Иванович санитарам.

Мерзляков открыл глаза и увидел волосатый кулак начальника больницы.

— Ну, что, гадина,— хрипел начальник.— Под суд теперь пойдешь.

— Молодец, Петр Иванович, молодец! — твердил председатель комиссии, хлопая невропатолога по плечу.— А ведь я вчера совсем собрался этой горилле вольную выдать!

— Развяжите его! — командовал Петр Иванович.— Слезай со стола!

Мерзляков еще не очнулся окончательно. В висках стучало, во рту был тошный сладкий вкус эфира. Мерзляков еще и сейчас не понимал — сон это или явь, и, может быть, такие сны видел он не один раз и раньше.

— А ну вас всех к матери! — неожиданно крикнул он и согнулся, как раньше. Широкоплечий, костлявый, почти касаясь своими длинными, толстыми пальцами пола, с мутным взглядом и взъерошенными волосами, действительно похожий на гориллу, Мерзляков вышел из перевязочной. Петру Ивановичу доложили, что больной Мерзляков лежит на койке в своей обычной позе. Врач велел привести его в свой кабинет.

— Ты разоблачен, Мерзляков,— сказал невропатолог.— Но я просил начальника. Тебя не отдадут под суд, не пошлют на штрафной прииск, тебя просто выпишут из больницы, и ты вернешься на свой прииск, на старую работу. Ты, брат, герой. Целый год морочил нам голову.

— Ничего я не знаю,— сказала горилла, не поднимая глаз.

— Как не знаешь? Ведь тебя только что разогнули!

— Никто меня не разгибал.

— Ну, милый мой,— сказал невропатолог.— Это уж вовсе лишнее. Я с тобой хотел по-хорошему. А так гляди, сам будешь проситься на выписку через неделю.

— Ну, что там еще будет через неделю,— тихо сказал Мерзляков.

Как ему было объяснить врачу, что даже лишняя

неделя, лишний день, лишний час, прожитый не на прииске,— это и есть его, мерзляковское, счастье. Если врач не понимает этого сам, как объяснить ему? Мерзляков молчал и глядел в пол.

Мерзлякова увели, а Петр Иванович пошел к начальнику больницы.

— Так можно завтра, а не через неделю,— сказал начальник, выслушав предложение Петра Ивановича.

— Я обещал ему неделю,— сказал Петр Иванович,— не обеднеет же больница.

— Ну, ладно,— сказал начальник.— Пусть через неделю. Только меня позовите. А привязывать будете?

— Нельзя привязывать,— сказал невропатолог.— Вывихнет руку или ногу. Держать будут.— И, взяв историю болезни Мерзлякова, невропатолог написал в графе назначений «шоковая терапия» и поставил дату.

При шоковой терапии вводится в кровь больного доза камфарного масла в количестве, в несколько раз превышающем дозу того же лекарства, когда его вводят подкожным уколом для поддержки сердечной деятельности тяжелобольных. Действие ее приводит к внезапному приступу, подобному приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. Под ударом камфары резко повышается вся мышечная деятельность, все двигательные силы человека. Мышцы приходят в напряжение небывалое, и сила больного, потерявшего сознание, удесятеряется. Приступ длится несколько минут.

Прошло несколько дней, а Мерзляков и не думал разгибаться по своей воле. Пришло утро, записанное в истории болезни, и Мерзлякова привели к Петру Ивановичу. На Севере дорожат всяким развлечением — докторский кабинет был полон. Восемь здоровенных санитаров выстроились вдоль стен. Посреди кабинета стояла кушетка.

— Здесь и будем делать,— сказал Петр Иванович, вставая из-за стола.— К хирургам ходить не станем. Кстати, где Сергей Федорович?

— Он не придет,— сказала Анна Ивановна, дежурная сестра.— Он сказал: «Занят».

— Занят, занят,— повторил Петр Иванович.— Ему полезно было бы посмотреть, как я делаю за него его работу.

Мерзлякову засучили рукав, и фельдшер помазал его руку йодом. Взяв в правую руку шприц, фельдшер проколол иглой вену близ локтевого сгиба. Темная кровь хлынула из иглы внутрь шприца. Фельдшер мягким движением большого пальца нажал поршень, и желтый раствор стал уходить в вену.

— Побыстрее вливайте! — сказал Петр Иванович.— И живей отходите в сторону. А вы,— сказал он санитарам,— держите его.

Огромное тело Мерзлякова подпрыгнуло и забилося в руках санитаров. Восемь человек держали его. Он хрипел, бился, лягался, но санитары держали его крепко, и он стал затихать.

— Тигра, тигра так удержать можно! — кричал Петр Иванович в восторге.— В Забайкалье тигров так руками ловят. Вот обратите внимание,— говорил он начальнику больницы,— как Гоголь преувеличивает. Помните конец «Тараса Бульбы»? «Мало не тридцать человек висело у него по рукам и ногам». А эта горилла покрупнее Бульбы-то. И всего восемь человек.

— Да, да,— сказал начальник. Гоголя он не помнил, но шоковая терапия ему чрезвычайно понравилась.

На следующее утро Петр Иванович во время обхода больных задержался у койки Мерзлякова.

— Ну, как,— спросил он,— какое твое решение?

— Выписывайте,— сказал Мерзляков.

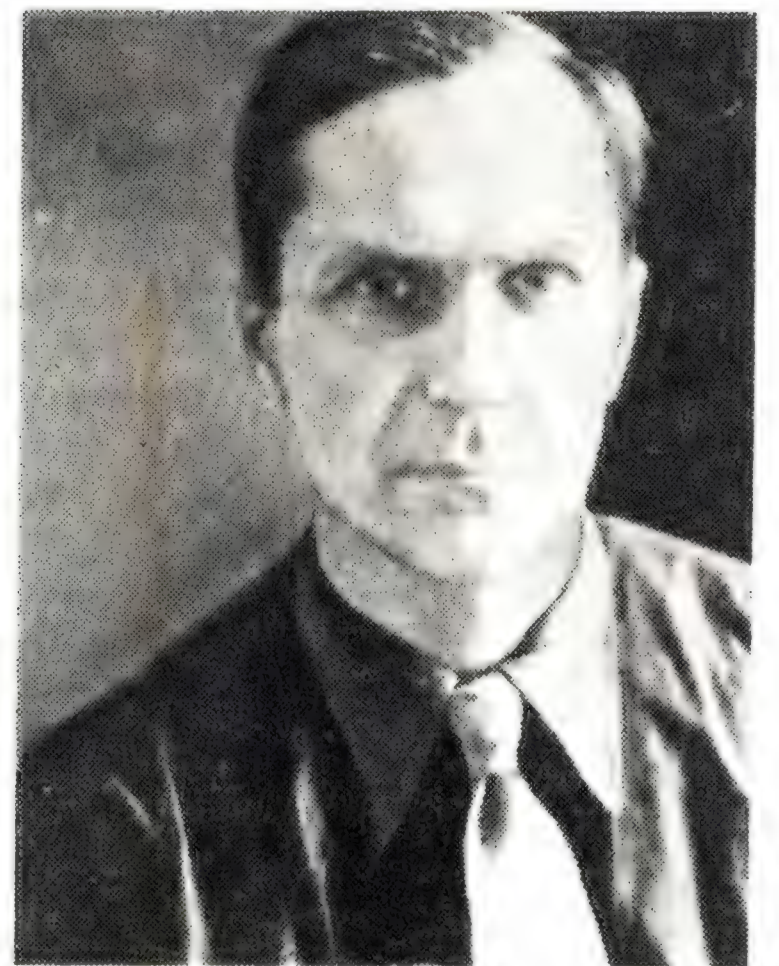
[1956 г.]

Публикация И. СИРОТИНСКОЙ



«РАЗГОВОРЫ О САМОМ ГЛАВНОМ...»

Переписка
Б. Л. Пастернака
и В. Т. Шаламова



Переписка эта началась в 1952 году. Варлам Тихонович Шаламов освобожден из заключения в 1951 году, но выехать с Колымы не мог.

Он работал фельдшером в маленьком поселке, в Якутии, около Оймякона. Кругом была тайга, снега, мороз, лагерные бараки, вышки с часовыми... Писать — все равно стихи или прозу — было подозрительным занятием. Вот оттуда ему и удалось с оказией отправить две тетрадки своих колымских стихов Б. Л. Пастернаку: их захватила с собой уезжавшая в отпуск врач Е. А. Мамучашвили. Жена В. Т. Шаламова — Галина Игнатьевна Гудзь с помощью Натальи Александровны Кастальской (дочери композитора А. Д. Кастальского) и В. П. Малеевой, знакомой Пастернака, встретила с Пастернаком и передала ему эти тетради. Впоследствии стихи эти в основном вошли в «Колымские тетради», как и стихи из «Синей тетради», и были частично опубликованы при жизни Шаламова в пяти сборниках, выпущенных издательством «Советский писатель». В 1988 году в этом издательстве выйдет книга В. Т. Шаламова, где значительное место займут стихи из «Колымских тетрадей».

В ноябре 1953 года Шаламов приехал в Москву, но жить здесь ему еще не разрешалось. В те два дня, что он был в Москве, он встретился с Борисом Леонидовичем, а затем уехал жить и работать на торфоразработки в Калининскую область. Переписка продолжалась, изредка были и встречи, и беседы, которые подробно записывал Шаламов.

Наступил 1956 год. В июле этого года В. Т. Шаламов был реабилитирован, осенью вернулся в Москву. Переписка прекратилась. Об остальном рассказано в воспоминаниях Варлама Тихоновича, и это уже другая тема.

Переписка же охватывает, пожалуй, самый драматический период в жизни двух поэтов: Пастернак работает над «Доктором Живаго» и переживает бурю, вызванную его публикацией за рубежом (1957 год). Шаламов после почти двух десятилетий бесправия, испытания голодом, холодом и лишением любимого труда в подлинном смысле воскресает из мертвых, воскресает и как писатель. Со страстью пишет дни и ночи, это страстное желание говорить, высказаться за все долгие годы молчания чувствуется и в его письмах. Переживает он в эти годы и личную трагедию — в 1956 году он расстается с Г. И. Гудзь, с женщиной, образ которой он пронес через колымский ад.

Что касается существа содержания писем, то хотелось бы пояснить только одно. Пастернак не одобрил излишнего, по его мнению, употребления Шаламовым в стихах пословиц и поговорок. Это отнюдь не было случайностью или недосмотром автора. Шаламову присуще было отношение к слову как к носителю закодированной информации высочайшей плотности. Мифы, сказки, пословицы, поговорки считал он какими-то извечными моделями отношений человека к чело-

веку, человека к природе, природы к человеку. И то, что он эти извечные модели притягивал, включал в свои стихи, было для него обращением к извечным ценностям, к миру, к человечеству. В этом было и нечто близкое, пожалуй, суждениям П. А. Флоренского (см. «Вопросы литературы», 1988, № 1, стр. 146—176). В. Т. Шаламов был знаком с некоторыми трудами Флоренского, во всяком случае, читал «Столп и утверждение истины» (М. 1914), а самого Флоренского хорошо знал со слов своего отца, священника.

Переписка двух поэтов касается важнейших, самых главных для них тем — творческих принципов. И речь идет не только о поэтическом мастерстве. Поэтические принципы обоими тесно связывались с этическими нормами, поэтому так захватывающе читаются эти письма — свидетельства твердости и высоты духа, нравственной чистоты и верности.

Насколько существенна была эта переписка для обоих поэтов — можно судить по тому, что отголоски ее внимательный читатель найдет в их творчестве, перечитав концовку романа «Доктор Живаго», стихи Шаламова «Некоторые свойства рифмы», «Орудье высшего начала», а также «Колымские рассказы», которые, надо надеяться, скоро будут опубликованы полностью.

Переписка публикуется в сокращенном виде, опущен детальный постраничный разбор Шаламовым «Доктора Живаго», перечень отдельных стихотворных строк Шаламова в первом письме Пастернака и некоторые другие подробности. В целом же публикуемые письма дают представление об атмосфере общения поэтов, их «разговорах о самом главном».

Письма В. Т. Шаламова были любезно предоставлены для публикации Е. Б. Пастернаком.

9 июля 1952.

Дорогой Варлам Тихонович!

В середине июня Ваша жена передала мне две Ваши книжки и записку. Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу Вам. Это очень трудно сделать.

Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о Ваших недостатках, потому что это не изъяны Вашей личной природы, а в них виноваты примеры, которым Вы следовали и считали творчески авторитетными, виноваты влияния и, в первую голову — мое.

И, для того, чтобы Вам стало яснее дальнейшее (а совсем не из поглощенности собой), я скажу несколько слов о себе.

Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этой возможностью для того, чтобы

отобрать очень, очень небольшое из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению.

Я пришел в литературу со своими запросами живости и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров» (1917 г.). Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры.

Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь». Но уже «Темы и Вариации» были компромиссом, шагом против творческой совести: такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении.

Дальше дело пошло еще хуже. Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период для Маяковского еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами. В разбор всей этой, и моей собственной, ерунды я вхожу только потому, что потом буду говорить о Ваших трагедиях.

Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль. Достать чернил и плакать... Был утренник, сводило челюсти) и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию, и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше.

Но, повторяю, только Вы сами и мое уважение к Вам заставляют меня касаться материй, не заслуживающих упоминания, потому что даже обладая даром Блока или Гёте и кого бы то ни было, нельзя останавливаться на писании стихов (как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки), но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддержанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющей мыслью всем этим мелким попыткам; надо что-то сделать в жизни; надо написать философию искусства, новую и по-новому реальную, а не мнимую и кажущуюся; надо написать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание; надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами; надо ПОСЛЕ этих стихов, как после неисчислимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них.

Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и Вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотой времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности ложно направленных толчков. (...)

Если бы даже двадцать Пастернаков, Маяковских и Цветаевых творили беззакония, расшатывая свои собственные устои и расковыливая враждебные им силы дилетантизма, все равно, эта Ваша связь с жизнью, а не их пример,

давно должны были подсказать Вам, что Вы себя и Ваши опыты должны подчинить дисциплине более даже суровой, чем школа жизни, такая строгая в наши дни.

Но довольно о стихах. Я бы о них не писал, и я не писал бы Вам, если бы мне не верилось, что атмосфера в будущем, м. б. уже недалеко, смягчится, что наваждение безвыходности развеется и снято будет с общего склада современных судеб, что у Вас будет простор и выбор, когда Вам понадобится более вольный и менее стесненный взгляд. И вот с этой целью, чтобы отвести Ваш взор, слишком прикованный к стихам (все равно своим и чужим), прикованный слишком колдовски, мелко и слепо, я и написал Вам это все. Будьте здоровы. Не сердитесь на меня. Я верю в Ваше будущее.

Ваш Б. Пастернак.

(...) (Далее рукою Г. И. Гудзь, жены В. Т. Шаламова.) Он сказал, что он писал так, как говорил сам с собой. Что потому так много и строго написал, что это большое, настоящее творчество, что это — «серьезный случай» в литературе.

24 — XII — 52. Кюбюма.

Дорогой Борис Леонидович.

Только неделю назад Ваше чудесное летнее письмо оказалось в моих руках. Я проехал за ним 1½ тысячи километров в морозы свыше 50° и только позавчера я вернулся домой. Спасибо Вам за сердечность, за доброту Вашу, за деликатность — словом, за все, чем дышит Ваше письмо — такое дорогое для меня тем более, что я вполне готов был удовлетвориться сознанием того, что Вы познакомились с моими работами, и видел в этом чуть не оправдание всей своей жизни, так угловато и больно прожитой. Я так боялся, что Вы ответите пустой, не нужной мне похвалой, и это было бы для меня самым тяжелым ударом. Я хотел строгого суда, без всяких и всяческих скидок на что бы то ни было. Я и сейчас еще не знаю — есть тут скидки или нет. Я ведь не так уж ждал и ответа. Я послал их потому, что в жизни есть всегда какое-то неисполненное обещание, несделанный поступок, неосуществленное намерение и боязнь раскаяния в том, что обещание, поступок, намерение — не выполнено. Я ощущал долг перед собственной совестью, беспокойство душевное — что я не могу ничем, кроме простого и показавшегося бы странным, письма, благодарить Вас за все то хорошее, чистое и прямое, что было в Ваших стихах и освещало мне дорогу в течение многих лет.

Я видел Вас один раз в жизни. Не то в 1933 или в 1932 году в Москве в клубе МГУ Вы читали «Второе рождение», а я сидел, забившись в угол, в темноте зала и думал, что счастье — вот здесь, сейчас — в том, что я вижу настоящего поэта и настоящего человека — такого, какого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами. Всего за несколько лет я был огорошен и подавлен строками: «Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд» и т. д. Я волновался и не понимал, какую силу и глаз надо иметь, чтобы написать такие стихи. И с того времени каждая Ваша строка, бывшая в печати, привлекала и тревожила меня.

Стихи я пишу давно, с детства, но, кажется, никогда показывать их кому-либо не пробовал и впервые показал вот Вам. Все, что было написано раньше, — безвозвратно потеряно, да мне и не жаль тех стихов. Мне жаль стихов последних лет — их растеряно немало, и только десятая, может быть, часть показана Вам.

Позднее, когда я встретился со стихами Анненского и они стали очередным откровением для меня — мне было ясно, что поэтические идеи Анненского близки Вашим. Вы пишете о влияниях. Я никогда как-то не доверял этому понятию. Мне казалось, что в ряде случаев (и в моем также) дело не во влиянии, а в исповедывании одной и той же веры. Влияние — это порабощение, а единоверие — это свобода.

Я всей душой согласен с Вами, что писание стихов, как самоцель — чужь. Но ведь как рождалось то и росло: игра, в которой ощущаешь силу, голос старых мастеров, от которого перехватывает дыхание, топотанье стихов в мозгу — такое неотвязное, что легче становится только тогда, когда запишешь их, мир, который с каждым годом все покорнее ложился на бумагу.

А потом — ведь с юности думалось, как бы послужить

людям, принести хоть какую-нибудь пользу, недаром прожить жизнь, сделать что-то, чтобы люди были лучше, чтобы жизнь была теплей и человечней. И если чувствуешь в себе силу сделать это стихами, в искусстве — тогда все другие пути теряются в тумане и все становится неважным, подчас и сама жизнь. Так многое растеряно, брошено, убито, не достигнуто и только самое дорогое пронесено через всю жизнь: любовь к жене и стихи.

К тому же я верю давно в страшную силу искусства, силу, не поддающуюся никаким измерениям и все же могучую, ни с чем не сравнимую силу. Вечность этих Джиоконд и Инфант, где каждый находит свое смутное, не осознанное и волнующее, и художник, умерший много веков назад, силой своего искусства воспитывает людей до сих пор, что может быть завидней такой силы и какое счастье может ощущать тот, кто положил свой камень в это вечное здание. Я никого ни с кем не сравниваю, я снимаю понятие масштабов.

И как бы ни была грандиозна сила другого поэта — она не заставит меня замолчать. Пусть в тысячу раз слабее выражено виденное мной — это впервые сказано. Я счастлив оттого, что я понимаю, ощущаю, как писалась эта картина, я понимаю волнение художника и завидую ему, понимаю его душу, понимаю, как он говорил с жизнью и как жизнь говорила с ним. И больше того: я глубоко убежден, что искусство — это бессмертие жизни. Что то, чего не коснулось искусство — умрет рано или поздно.

Может быть, Вам смешно читать эти наивные строки. Я ничего не понимаю в теоретической стороне дела. Я просто объясняю Вам — почему я пишу стихи. Притом я уже ничего не могу с собой сделать — то, что заставляет брать карандаш и бумагу — сильнее меня. Притом я смею надеяться, что все, написанное мной — меньше всего литература.

Я пишу и не вижу конца всему тому, что мне хочется сказать и рассказать Вам. Вижу у себя тысячи недостатков, кроме указанных Вами, но все же написанное мною — стихи, и общение с жизнью на этой дороге — оправдано. (...)

Второй вопрос — это ассонирующая рифма. Тут, мне кажется, вы неправы — ибо рифма ведь это не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она — и главное ее значение в этом — инструмент поисков сравнений, метафор, мыслей; оборотов речи, образов — мощный магнит, который высовывается в темноту и мимо него пролетает вся вселенная <...>

С письмом меня торопят — уезжает машина — здесь ведь все оказией. Поэтому простите меня за сбивчивость и торопливость. (...)

У меня немного осталось. Когда-то было много планов и ощущение возможности кое-что сделать. Я много ошибался, путал и искал синюю птицу не там, где она была.

Двадцатые годы я был в Москве юношей, и триумф конструктивизма наблюдал я с удивлением и тоской. Ведь среди них не было поэтов. Багрицкий только, может быть. Сельвинский нигде, ни в чем, ни в одной строке не был поэтом, и на его работах особенно тягостно ощутил я весомость версификации.

Впервые в Вашем письме услышал я живое осуждение конструктивизма с позиций подлинной поэзии, осуждение по существу. «Во весь голос» в этом плане был только выражением борьбы школ. Вы называете три фамилии настоящих поэтов, пришедших на смену версификации двадцатых годов — Твардовского, Исаковского и Суркова. Из них только Твардовский кажется мне безусловным, подлинным и сильным поэтом.

И вот тогда, в середине 20-х годов, в Румянцевской библиотеке я впервые встретился с Вашими стихами. Я не буду писать здесь о том, почему мне казались нужными поговорки, осужденные Вами, как словесная игра. Они ощущаются Вами, в большинстве случаев, как натянутость, фальшь. Как бы ни казались они мне оправданными и даже необходимыми — раз это понятно только для меня — это уже плохо и подлежит уничтожению. Я и так взволнован до глубины души и горд тем, что Вы нашли время и терпение прочесть эти две книжки внимательно — не книжки, конечно, а черновики-тетрадки. Чтоб стать книжкой, над каждой строкой надо еще много поработать. Я переписывал их для Вас подряд и уже потом пожалел, что многих не включил, вместо посланных. Я не могу, не привык писать на людях, а в морозы, зимой, куда денешься. Спасибо за присланные пять чудесных стихотворений.

О каждом из них можно много говорить, вернее, с каждым из них, потому что — разве надо говорить о стихотворении? Жена прислала мне еще стихи Цветаевой, но большинство — из «Верст», которые я хорошо знаю, и большим удовольствием было перечитать их снова и снова. Вот какой праздник сейчас у меня на полюсе холода — письма жены, Ваше письмо и стихи. Ваши и Цветаевские. У меня есть, конечно, немногие Ваши стихи — переписанные из «Земного простора»¹ — заполненные старые, подклеенные листочки из книжки, случайно попадавшиеся мне в последние годы.

Еще раз я горячо благодарю Вас за письмо. Вы ставите передо мной большие и высокие задачи. Бог знает, сумею ли я победить в этой борьбе, но мне кажется, я понял правду и душу поэзии, и сознание этой силы заставит меня держаться бумаги и чернил. (...)

Желаю Вам здоровья, счастья, душевного мира и покоя. Желаю творческой силы — такой, какая отличала Вас всегда, как взыскательного художника. Берегите себя.

Передайте мой сердечный привет Вашей жене.

Поздравляю Вас и Вашу жену с новым годом. Желаю его видеть для Вас счастливым творчески и в добром здравии.

В. Шаламов

Томтор, 28 марта 1953 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Наши расстояния, измеряемые днями, а не верстами, в сложном расчете пешеходно-олене-собачье-конно-автомобильно-самолетного пути подчас преодолеваются сюрпризно легко. Если первое Ваше письмо я получил через полгода после написания, то письмо жене попало в мои руки всего через 18 дней.

Мне очень совестно отнимать у Вас время на чтение моих наверняка наивных и неуклюжих рассуждений о стихах. Я бы и не позволил себе этого, если бы не верил Вам, не верил, что Ваше внимание к моим скромным работам вызвано не какими-то другими побуждениями и причинами (лишь косвенно связанными со стихами), как бы эти побуждения ни были благородны и обличали лишний раз качества высочайшей человечности, давно мною ощущенные из Ваших стихов.

Вера в искренность, в критичность Вашего мнения и вместе с тем вера в себя — вот что дает мне разрешение попытаться выговориться перед человеком, который давно является для меня образцом творческой жизни, образцом поэтических исканий.

Я не умею писать писем, да и не только писем. Всякий раз после кажется, что написал не то, не главное, написал не так, плохо. Это и в письмах, и в стихах, и в рассказах, которые я пробовал писать.

Я плохо знаком, почти незнаком с литературной терминологией и зачастую сам для себя придумываю определения и без них потом не могу обойтись. Перед Вами заранее прошу прощения, если определение не представит для Вас ничего нового. Собственно, суть дела не в новом, не в старом — просто, верно ли понято, ощущено то главное, специфическое, чем красна поэзия. Статья Цветаевой² о Ваших работах мне не очень понравилась. Она весьма меня интересовала, как работа поэта о поэте, творца о творце. Я глубоко убежден, что ощутить, оценить (в деталях) поэта может только другой поэт, подобно тому, как столяр-краснодеревец может и завидовать, и поучиться, и понять «секреты» другого мастера, когда судит о его работах. Подобно тому, как живописец видит и понимает, какой сложности творческий процесс прошел его сосед, работая над картиной — по иногда даже беглому взгляду на результат. Это понимание дается обмолвками, намеками, догадками, подчас несвязно выраженными, но, угаданное, оно понятно художнику и им объяснено.

В этом отношении, конечно, в статье много интересного, замеченного верно и тонко. Но при всем моем уважении к поэтическим работам Цветаевой, восхищении ее стихами (я, правда, кроме «Верст», знаю лишь несколько ее замечательных стихотворений) — эта ее статья не понравилась мне своей манерностью, нарочитостью примеров, притянутых за волосы, прямых передержек, лишь бы иллюстрировать предвзятый тезис о сходстве или контрасте двух поэтов. Между прочим упущена или обойдена весьма характерная общность Вас и Маяковского — ни одно стихотворение не стало песней, не положено на музыку («Возьмем винтовки новые» — нельзя считать за песню). Или объяс-

нения не найдено. А объяснение этому есть (в природе дарования). Почему Ваши стихи, стихи человека, близкого музыке больше, чем кто-либо из поэтов — не «музыкальны»? Штука в том, что их музыка — она есть, но она сложнее песенной музыки (кроме других качеств, затрудняющих переход в песню). Пастернак может вдохновить музыканта, подтолкнуть его на ощущение, творчески обогатить душу композитора — но дать ему слова для романа или песни это, конечно, чепуха. Почему Пастернак понимается кусками, кусками даже строф, а чувствуется стихотворениями, книгами? Потому, что Ваши стихи — это дневник человека. Все, все так:

Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Он сам прокладывает выход
Из вероятья в правоту.
«Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла и т. д. и т. д.*

Я убежден, что Вы не вели и не ведете дневника. Стихи — Ваши книги — дневник Ваш.

Задача поэзии — это нравственное совершенствование человека — та, та самая задача, которая стоит в программе всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий. Никакой другой задачи ни у каких поэтов, хотя бы и Виллонов — нет, тем более, что негативный нравственный результат начала работы по улучшению человеческой породы с улучшения материальных условий без предварительного внедрения общечеловеческой морали — очевиден. Пусть это называется толстовщиной, гандизмом, ярлыки можно давать какие угодно — это так, тем не менее.

Тот специфический материал, которым для этого пользуется поэзия, — это художественное слово, определенным образом интонированное и ритмизированное. Свойством, качеством поэзии является еще и то, что она по своей природе, по своей подлинности говорит человеку, а не людям, убеждает «глаз на глаз». Картины природы пишутся затем, что поэт думает, что ощутив пейзаж так же, как ощущал его поэт, человек будет лучше жить. Кстати (назад на 20 лет) куда делся конец «Весной бездонною»? («О том ведь и веков рассказ» и т. п.). В одномомнике уже этого конца не было. И сам одномоник. Будто сейчас держу его в руках — изданный, как раскольниковый «Часослов»³ — с заставками, шрифтом, черной и красной краской, — оформление этой книги, качество оформления никак-то не были даже замечены, а намеренность и существование его — очевидна.

О творческом процессе: поэта преследует не тема, а ощущение. Душевное состояние определяется именно ощущением, знобанием и немым. Оно возникает внутри в каком-то ритме, данном самой природой ощущения. И едва успевая торопливо пройти через мысль, оно уже пытается оформиться в ритмизированные слова, в рифмованную строку, в интонацию. Тревожность ощущения нарастает, поэт торопится ощущение свести в слово, когда и мыслей-то ясных по этому поводу у него еще нет, а в мозгу скользят только намеки, обмолвки, догадки — а ощущение совершенно ясное, определенное и может быть проверено, возвращено повторением записанного.

Поэзия — это особым образом отфильтрованное ощущение. О роли рифмы я Вам уже писал. Понятно, одновременно в подборе слов дается музыкальный строй фразы, звуковая опора стиха, без которой стих жить не может, и в борьбе созвучия со смыслом рождается поэтическое слово.

Большие поэты — Пушкин, Лермонтов, Блок, Пастернак — делают это почти неосязаемо и, наверное, не нарочно, доверяясь только уху.

«Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид.
Невы державное течение,
Береговой ее гранит».

Или:

«Люблю тебя, Петра создание,
Люблю твой строгий, четкий вид.
Невы стенанья и рыданья,
Ее удары о гранит»

— стихотворение пропало, хотя слово «стройный» ни к чему; а если и к чему, так поймано на звук, а не ради смысла. «Петра творенье» по звуку превосходно, а создание — точнее по смыслу. «Воды удары о гранит» лучше по смыслу, чем «береговой ее гранит». И т. д. и т. п. — примеры бесчисленны.

Работа по отбору ощущений идет в самом процессе возникновения стихотворения — в этом поэтическая работа резко отличается от работы романиста, хотя там тоже есть музыкальный ключ фразы. «Бог помарок» Флобера — другой Аполлон, хотя и первый, поэтический Аполлон — тоже бог помарок.

Дальше идет процесс замены слов, и мысль догоняет ощущение, уже ушедшее в стихи.

Занятно, что почти всегда можно угадать в чужих, в любых стихах (в небольшом стихотворении), какая строфа в стихотворении родилась раньше и какие пришли потом.

Ко всему этому словесный ряд, возникший в определенном ритме (ощущение сообщило уже ему интонацию), другим ритмом изложен быть не может — он потеряет силу, потеряет «что-то» — то самое, что называется поэзией. А тема, сюжет, и часть словаря, и даже метафорный арсенал будут сохранены. А стихотворения не будет. Можно также намеренно напеть, натвердить себе стихотворение, но сильным, настоящим оно никогда не будет.

Возвращусь к ощущению. Возникши, оно требует словесного, стихотворного выхода, выхода на бумагу. В мозгу каждого грамотного человека, любящего стихи, топчется огромное количество стихов, обрывков стихов, отдельных строк — разных поэтов. И если возникшее ощущение может соответствовать уже сказанным другими и подсказанным сейчас памятью стихам — Блок ли это, Тютчев, Державин, Некрасов, стихи вспоминаются, перечитываются (если есть под рукой книга), и ощущение уже разряжено, и форма выхода найдена. Но если ощущение не находит выхода в чужих стихах — оно ищет своих слов и требует записи на бумагу.

Писалось когда-то много о Ваших «приемах». Разные Тарасенковы⁴ проделывали формальные анализы, копаясь в вещах, к которым и прикоснуться-то недостойны. (Между прочим, занятно, что эти «работы» в плане формальных исследований исходили как раз не из группы формалистов — те, будучи поумнее, даже не рисковали решаться на такой шаг — а совсем из другого литературного лагеря.)

Мне думается, что никакой «техники», никаких «приемов» у Вас нет. Как Михайлов в «Анне Карениной» не понимал, что такое «техника», так не понимаете этого ни Вы, ни любой большой художник.

Искусство — дерзость глазомера,
Волнение, сила и захват —

тут нет ничего от «техники».

Штука вся в тонкой, тончайшей наблюдательности, в острой душевной тревоге и в душевной честности. Попробуйте, напишите хоть строчку против собственной совести. Этого сделать Вы не можете, и лучшее, что было в русской интеллигенции, глубже всех в мире понимавшей правду и болезненно боящейся всякой фальши, лжи, кривизны души — все это воплощено в Вас, в Вашем творчестве, и оттого-то так волнующе и тепло стихотворное общение с Вами. Как в Гефсиманском саду. Без преувеличения, право. Я уже не говорю о письмах, об этой светлой и чистой родниковой воде. Цветаева — горожанка, которая и природы-то никакой не видала, а только читала о ней. «Тютчевская гроза», «Пастернаковский орешник» — так хвалить таких поэтов — недорогая похвала.

Разве в «Цицероне» или в «Край ты наш многострадальный» — пейзажи? Разве главное в «Silentium!»⁵ — картины природы? Тютчев будет Тютчевым и без грозы, и Вы будете Пастернаком и без Урала.

Говорят, у Вас нет юмора и иронии. Это верно. Но это потому, что жизнь слишком серьезная штука (а где юмор у Блока?) и Ваша поэтическая приподнятость и вдохновенность почти религиозно серьезны (Вы и Гейне никогда не переводили). Вы просто настоящий живой хороший человек, серьезно и глубоко понимающий, как трудно жить. Рассказывают, что Флоренский надевал епитрахиль, когда садился писать «Столп и утверждение истины». И я этому верю. И отношусь к этому с величайшим уважением.

Письмо никак не придет к концу. О «Лейтенанте Шмид-

* — Здесь и далее сохранена цитата автора письма.

те» — тут Цветаева очень права⁶. И здесь такая же передержка, как передернут парадокс Уайльда о том, что жизнь больше подражает искусству, чем искусство — жизни.

О многом мне хотелось бы спросить у Вас: об Иннокентии Анненском. О всей этой линии русской поэзии Лермонтов — Тютчев — Анненский — Пастернак в отличие от Пушкинской линии, где в поэтическую цепь входят звеньями другие имена, о том, что такое «понятность» и «непонятность» стихов, о внутренней связи «Высокой болезни» и «Гефсиманского сада». О Вашей переводческой работе. О Фаусте⁷, который Вы так любезно обещали дать прочесть моей жене. И о многом, многом другом.

Прошу извинения за это затянувшееся письмо. У жены есть несколько стихотворений последнего года, если Вас заинтересуют они.

Желаю Вам здоровья, здоровья и творческих сил. И душевного мира.

Привет Вашей жене.

Глубоко уважающий Вас В. Шаламов.

25 мая 1953 г. Томтор.

Дорогой Борис Леонидович.

Жена прислала мне запись телефонного разговора с Вами 16 апреля о моих письмах Вам. Не знаю, чем заслужил я столь сердечное отношение Ваше. Нет, не качества мои, а Ваша врожденная деликатность и сердечность подсказывают Вам столь преувеличенные похвалы моим попыткам осмыслить вопрос, который мучает меня давно — то, чему я не находил ранее выхода и ответа.

Но если отбросить все преувеличенное, незаслуженное, лишнее, сказанное Вами, то останется все же самое для меня дорогое и важное — Ваш интерес к тем сущностям, грубым, нестройным и м. б. наивным — но выношенным жизнью, найденным в личном ощущении и им проверенным. Вы многократно видели все это в настоящем свете и цвете и определите ложность и правильность моих догадок.

За эту переписку задет такой большой кусок моей жизни, что и не писать Вам я не могу, хотя и чувствую, как я врываюсь в Ваше спокойствие, в Ваше здоровье и силы и чересчур жадно и беззастенчиво пользуюсь Вашим вниманием, деликатностью и сердечностью. Я чувствую себя как-то виноватым перед Вами. И все-таки пишу.

Я слишком давно оторван от общественной жизни, от культурной жизни, чтобы жалеть об этом. И чтобы желать чего-либо другого, кроме прояснения вопросов этих всех для себя.

Я продолжаю тот, наверное, бесконечный список вопросов, который я начал разворачивать перед Вами в прошлых письмах.

Нет слов с одинаковым значением для каждого, с одинаковым смысловым содержанием. Даже такое, казалось бы, универсального значения слово, как «смерть», отнюдь не воспринимается всеми людьми одинаково. В нашем вопросе поэтическая интонация сообщает слову (за которым стоит понятие) смысловые оттенки. Это обстоятельство, бесспорность которого очевидна для поэта (да и не только для поэта), определяет то, что поэт пишет для самого себя, хочет, по Флоберу, «нравиться самому себе», ищет ясности ощущения в самом себе, находит ее и увлекает других собственным ощущением слова, события, темы. Подлинная поэзия, конечно, всегда земная поэзия. Но не арифметическая поэзия. Подлинная поэзия предстает, как некий алгебраический ряд, алгебраическая задача, куда каждый читатель может вносить свою арифметику, делать свои жизненные, арифметические подстановки.

Именно эти находки — теоремы и формулы — делают гениев, и в этом одна из главнейших причин вечности, скажем, Шекспира.

Есть другая поэзия — оперирующая арифметическими величинами, когда читательской работы не требуется и приводится цифровая выкладка, дается однократное и тем самым не вечное, а временное решение задачи. Примеров этой второй, арифметической поэзии приводить не надо.

Алгебраическими величинами поэт может сделать любые слова, ибо поэтических слов, как таковых, нет. Но есть поэтический ряд, расположение слов. Зачем ходят в театр смотреть Шекспира? Зачем (почему) его читают? Почему «Ромео и Джульетта» даже в кино, искусстве, по сравнению с театром, второсортном, волнует до слез лю-

дей, которым, казалось бы, вовсе и всячески чужда жизнь Вероны, итальянского города, о котором написал англичанин, никогда не видевший ни ее, ни ее людей в глаза? Не быт же ходят изучать по Шекспиру? Я еще не видел в исторических музеях плачущих людей, я видел их только в художественных галереях. Почему возникает возможность для гения создать этот алгебраический ряд? (Математическое сравнение — грубое сравнение, но суть дела оно передает. Взаимоотношения, взаимозависимость науки и искусства — предмет особой темы, особого, если Вы разрешите писать Вам — письма, ибо я убежден, что наука не делает человека ни лучше, ни счастливее, и обмолвка Чехова насчет пара и электричества, в которых любви к человеку больше, чем во всех писаниях — это грустная шутка художника).

Потому что мир меняется невероятно медленно и м. б. в основе своей не меняется вовсе. И если художник в своем творчестве вошел в эту извечность отношений (ведь не платье же Моны Лизы вечно, а ее глаза, мир) и чувств, он будет волновать всегда людей во все времена и вне их социальных категорий. М. б. только тот и гений, кто смог эту извечность угадать и показать в каких ему угодно масках. «Ромео и Джульетта» никогда не будут чем-то вроде исторической драмы. Не будут ею и «Гамлет», и «Отелло», и «Король Лир». Я вспоминаю Вахтанговскую, т. е. театра им. Вахтангова, Акимовскую интерпретацию «Гамлета»⁸. Зритель, читавший Шекспира, глядел этот спектакль с недоумением. Зрителю, не читавшему Шекспира, было просто скучно, ибо он чувствовал, что ничего, кроме быта, тут не предлагается ему. И как ни тонки были актерские, режиссерские, декораторские находки, как ни чудесен был кровавый плащ Клавдия — спектакль не пошел.

Я могу привести Вам много, много таких примеров, вплоть до потрясшего меня признания Станиславского за год до смерти в беседе с учениками — уже большими и почтенными мастерами, его адептами, что Художественный театр — это хрупкий организм, что он при небрежности исчезнет в 2 недели, погибнет в два спектакля.

«Алгебра» в поэзии — это, конечно, не «символы» русских поэтов начала двадцатого века. Она трижды, четырежды земная, из земли родившаяся, но не возвратившаяся в землю, а продолжающая жить на земле.

Это касается ощущений «Гефсиманского сада» — я горжусь Вашей внутренней свободой и благоговеем перед ней.

Удивительно и больно то, что слишком часто люди принимают за стихи вовсе другое. Стихи эти, поэтически безупречные, полны необычайной силы, прелести и задушевности. А книга эта — родник чистоты, и кто обойдется без образов этого мира? И кем бы был, например, Толстой (весь от ранних вещей до последних) без нее?

Письмо мое снова затянулось, а сказать не удалось и тысячной доли того, что надо бы.

Доброго Вам здоровья, Борис Леонидович, творчества, творчества. Мне очень, очень жаль, что я не могу познакомиться с Вашим романом — куски переписывать нет смысла — нужна вещь вся. <...>

Привет Вашей жене.

Еще раз желаю Вам счастья, здоровья и творчества.

В. Шаламов.

Надпись на книге «Фауст» Гете
Варламу Тихоновичу Шаламову

Среди событий, наполнивших меня силою и счастьем на пороге нового 1954-го года, было и Ваше освобождение и приезд в Москву. Давайте с верою и надеждой жить дальше, и да будет эта книга не содержанием, не духом своим, а просто, как предмет в пространстве и объект суеверия, талисманом Вам в постепенно облегчающейся Вашей судьбе и утверждающейся деятельности.

Б. Пастернак 2 янв. 1954 г. Москва.

Дорогой Борис Леонидович.

Я не знаю только, как мне писать. То, что пишется, это и письмо Вам, и дневник, и замечания на «Доктора Живаго» — все вместе.

Я прочел Ваш роман. Я никогда не думал, не мог себе даже в самых далеких моих чаяниях последних пятнадцати лет представить, что я буду читать Ваш ненапечатанный, неконченный роман, да еще получаемый в рукописи от

Вас самих. Всего два месяца назад, чужой всем окружающим, затерянный в зиме, зиме, которой вовсе и нет дела до людей, вырвавших у нее какие-то уголки с печурками, какие-то избушки среди неизбывного камня и леса, среди чужих пьяных людей, которым нет дела ни до жизни, ни до смерти, я пытался то робко, то в отчаянии стихами спасти себя от подавляющей и растлевающей душу силы этого мира, мира, к которому я так и не привык за семнадцать лет.

Затерянный, но не забытый. Я вернулся и пришел в Лаврушинский. Встретился с Вами. Поймите, чем это было для меня. Поймите даже мою немоту. Ведь от встречи после разлуки с городом можно плакать на подъезде вокзала, а тут была встреча с моей женой, женщиной, подвиг которой я не могу поставить в ряд ни с чем слыханным или читанным. Ведь ожидание мужей с войны — этой «нрзб», ребячество, даже по времени ребячество. Когда все искусство, все газеты, доклады — все кричит на каждом шагу, увязывая ее с мужем и провозглашая ее героизм и совсем, совсем другого масштаба дело, когда все ей кричит: «твой муж — преступник, порви с ним и ты будешь свободна от дискриминации», ее лишают службы, ей мстят всей силой государства. Она годами бедствует и плакать уже разучилась. На руках ее 1,5-летний ребенок. И какую нужно иметь душевную силу и веру в человека, чтобы семнадцать лет писать по 100 писем в год, встретить его на вокзале. Вот на другой день после этой встречи я и был у Вас впервые. И эту встречу, зная, чем она является для меня, она подготовила.

И встреча с дочерью, второе ее для меня рождение, а меня для нее — первое — я ведь оставил ее ребенком 1,5 лет, а сейчас ей 18, и она студентка 2 курса.

И, наконец, в эти же 2 дня — эта необыкновенная встреча с Вами. Кем Вы были для меня, чем были Ваши стихи для меня целых двадцать лет — об этом надо и рассказывать и писать отдельно.

Не правда ли — не слишком ли много событий для двух дней одного человека. Простите меня, что я пишу не о романе, это тоже о романе, впрочем — это состояние, созданное его чтением, это фразы, подсказываемые Вашими героями — так что они толкнули меня на исповедь.

Видите ли, Б. Л., я никогда не выступал в роли литературного критика. И никогда не пробовал писать роман. Это казалось мне каким-то первовосхождением на какой-то Эверест, восхождением, к которому я вовсе не подготовлен. Но рассказы я писал и даже лет 18 назад печатал — рассказы плохие. Я напряженно работал тогда над коротким рассказом, лет пять, кажется, учился понимать, как сделан рассказ Мопассана «Мадмуазель Фифи», а потом понял, что вовсе не это знание нужно для писателя.

Я понял, что писателя делает поэтический напор почувствовать впечатление, как будто слова спасаются от пожара, возникшего от случайной причины где-то внутри, и вырываются, выбегают на бумагу.

Я не задаю вопроса, для чего роман написан и не отвечаю на этот вопрос. Он написан потому, что нечто тревожащее Вас требует выхода на бумагу, требует записи и притом не стихотворной. Сильны какие-то чувства, которые поэт не вправе или не в силах выполнить в стихах и не вправе удержать в себе. Они живут рядом со стихами, они в сущности своей то же самое, что стихи. Остаются идеи, требующие трибуны не стихотворной.

Ваш роман поднимает много вопросов, слишком много, — для того, чтобы перечислить и развить их в одном письме. И первый вопрос — о природе русской литературы. У писателей учатся жить. Они показывают нам, что хорошо, что плохо, пугают нас, не дают нашей душе завязнуть в темных углах жизни. Нравственная содержательность есть отличительная черта русской литературы. Это осуществимо лишь тогда, когда в романе налицо правда человеческих поступков, т. е. правда характеров. Это — другое, нежели правда наблюдений. Я давно уже не читал на русском языке чего-либо русского, соответствующего адекватно литературе Толстого, Чехова и Достоевского.

«Доктор Живаго» лежит, безусловно, в этом большом плане.

И знаете что? Я могу следить за организацией, за композицией романа, обращать на нее внимание только тогда, когда у автора оказывается мало силы, чтобы увлечь меня своими ощущениями, мыслями, образами, словарем. Но когда мне хочется с автором, с его героями спорить, когда их мысли я могу противопоставить свою — или побежден-

ный, или согласиться, пойти за ними, или их дополнить — я говорю с его героями как с людьми у себя в комнате — что мне за дело до архитектуры романа. Она, вероятно, есть, как эти «внутренние своды» в «Анне Карениной», но я встречаюсь с писателем, как бедный читатель лицом к лицу с его мыслями и чувствами — без романа, забывая о художественной ткани произведения.

Вот почему нет мне дела — роман ли «Д. Ж.» или картины полувекowego обихода, или еще что. Там много таких мыслей (высказанных Веденяпиным, Ларой, самим Живаго), о которых мне хочется думать, и все это отдельно от романа живет во мне, и душевная тревога, поднятая этими мыслями.

Обратили ли Вы внимание (конечно, Вы ведь все видите и знаете), что в сотнях и тысячах произведений нет **думающих героев?** Мне кажется, это потому, что нет **думающих авторов.** Это в лучшем случае.

К мыслям Веденяпина, Лары, Живаго я буду возвращаться много раз, записывать их, вспоминать ночью.

Когда-то на Севере, в удивительнейшем образе возникших литературных разговорах, спорили мы о литературе будущего, о языке художественных произведений грядущих лет; ближайшим поводом, мне помнится, был сценарий Чаплина «Комедия убийств». Сценарий этот Вы знаете, он с сильным налетом Достоевщины (в хорошем смысле), талантливый сценарий. Один из участников разговора энергично защищал ту точку зрения, что языком художественной литературы будущего явится язык киносценария, экономный и компактный, и что все к этому идет. Романы пишутся рыхлые, и никто их не может прочесть, кроме кормящихся возле этих романов критиков.

Я решительным образом говорил против, видя в киносценарии своеобразный «бейсик инглиш», устраняющий тонкость и глубину передачи ощущения. Я, соглашаясь с характеристикой выходящих романов, выражал тогда надежду, что русская литература не прервется, что кто-нибудь настоящий и большой напишет такой роман, который, может быть, и будет разорван критикой в куски, но все разорванные части срастутся, и роман будет снова жить. Мне думается, «Д. Ж.» и есть такой роман.

Дело ведь не в том, устремлен ли он в будущее или это — факел, озаряющий лучшее из прошедшего.

По времени, по событиям, охваченным «Д. Ж.», есть уже такой роман на русском языке. Только автор его, хотя и много написал разных статей о родине — вовсе не русский писатель. Проблемность, вторая отличительная черта русской литературы, вовсе чужда автору «Гиперболоида» или «Аэлиты». В «Хождении по мукам» можно дивиться гладкости и легкости языка, гладкости и легкости сюжета, но эти же качества огорчают, когда они отличают мысль. «Хождение по мукам» — роман для трамвайного чтения — жанр весьма нужный и уважаемый. Но при чем тут русская литература?

Но уж лучше по порядку, от страницы к странице.

Великолепен рыдающий мальчик на свежем могильном холме, протягивающий руки в повествование.

Сейчас отвыкли от такой прозы, весомой, требующей внимания. — Это я не о мальчике, а обо всем романе.

Никем вслух не уважается то, что тысячелетиями волновало человеческую душу, что отвечало на самые сокровенные ее помыслы. Выработан, м. б., лучшими умами человечества и гениальными художниками язык общения человека со своей лучшей внутренней сущностью — всеми этими апостолами и позднее таким писателем, как Иоанн Златоуст, умевший управлять всеми тайнами человеческой души вперед на тысячелетия. Я читывал когда-то тексты литургий, тексты пасхальных служб и богослужения Страстной недели и поражался силе, глубине, художественности их — великому демократизму этой алгебры души. А в корнях своих она имела Евангелие. Толстой понимал всеконечность Христа хорошо, стремясь со своей страшной силой поднять из той же почвы новые гигантские деревья жизни. А Лютер?

И как же можно любому грамотному человеку уйти от вопросов христианства?

И как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу. Ведь такому будет стыдно перед простой бабой, идущей ко всенощной, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет.

А как же быть мне, выдавшему богослужения на снегу, без риз, среди тысячелетних лиственниц, с наугад расчи-

танным востоком для алтаря, с черными белками, пугливо глядящими на таежное богослужение.

Об истории, как установлении вековых работ по последовательной разгадке смерти — очень интересно. Я не думал об истории в таком оптимистическом разрезе. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но раскрытие думающего человека, абсолютно утраченное, возвращает нас к Толстому и Достоевскому. Я Достоевского намеренно тут везде вставляю. Он, видите ли, представляется мне совершенным образом писателя, как такового, более совершенным, чем Толстой, хотя, м. б., и не таким великим, всеобъемлющим. (...)

Так что же такое роман, да еще доктор Живаго, которого долго-долго, до половины романа, нет, нет еще и тогда, когда во весь рост и во весь роман развернулась подлинная героиня первой половины картин — во всем своем обаянии (только отчасти — тургеневско-достоевском) — чистейшая, как хрусталь, сверкающая, как камни ее свадебного ожерелья — Лара Гишар. Очень Вам удался портрет ее, портрет чистоты, которую никакая грязь никаких комаровских не очернит и не запачкает. Я таких Лар, ну не таких, а поменьше, помельче, знавал. Она живая в романе. Она знает что-то более высокое, чем все другие герои романа, включая Живаго, что-то более настоящее и важное, чем она ни с кем не умеет поделиться (хотя бы и хотела).

Имя Вы ей дали очень хорошее — это лучшее русское женское имя. Это имя женщин русской горестной судьбы — имя Бесприданницы, героини удивительной пьесы, необычайной для Островского, и в то же время имя женщины, героини моей юности, женщины, в которую я по-мальчишески был влюблен без памяти, и эта влюбленность очищала, поднимала меня — если можно влюбиться, раза два видав ее издали на улицах, сотни раз перечитывая каждую строку, которую она написала, и видеть, как ее в гробу выносят из Дома печати. На похороны Ларисы Михайловны Рейснер я не имел силы идти. Но обаяние ее и теперь со мной — оно сохраняется не памятью ее физического облика, не ее удивительными книгами, начисто изъятыми давно из всех библиотек, не ее биографией, короткой, блестящей и стремительной — оно сохраняется в том немногом хорошем, что все-таки, смею надеяться, еще осталось во мне, противу всяких естественных законов. Вы-то знали ее, Вы даже стихотворение о ней написали.

Но я не о ней, а о Ларисе Гишар. Все, все правдиво в ней. И труднейшая сцена падения Лары не вызывает ничего, кроме ощущения нежности и чистоты (61 стр.). И даже в воспоминании о мерзком она «шагает, словно по воздуху, гордая, воодушевляющая сила». (...)

Женщины Вам удаются лучше мужчин — это, кажется, присуще самым большим нашим писателям. (...)

Теперь подойдем к вопросу, который мучает меня, который так дисгармоничен книге, который наряду с важнейшими мыслями, с тончайше-чудесными наблюдениями природы, плотно увязанными с настроениями героев, с единством «нравственного и физического мира», наиблестящим образом достигнутого, осуществленного в романе, представляет собой грубое, резко кричащее, выпадающее из всего строя романа явление, и от которого мне больно за Вас, художника.

Я говорю о языке простого народа в Вашем романе.

Именно о языке, а не психологическом оправдании поступков этих людей. Ваш язык народа — все равно — рабочий ли это, крестьянин ли, или городская прислуга. Кроме того, он одинаков для всех этих групп, чего не может быть, даже сейчас, а тем более раньше, при большей разобщенности этих групп населения. Ваш народный язык — это лубок, не больше. Я знаю этот язык и знаю слишком. Словарь там беден, бедность словаря компенсируется преимущественно интонациями за счет пересыпания речи матерщиной, а без нее он не представляет никаких «блестящих». В крестьянском быту больше поговорок, обыкновенных широко известных, язык городской прислуги скуден, но в общем чист, рабочие тоже говорят обыкновенным языком и даже не любят словесных узоров, всяких художественных расцветок. (...)

Может быть, лучшее место книги это кусок о Риме и Христе — дневник Веденяпина. Я переписал себе этот чудесный кусок и, м. б., его выучу.

И вот еще что: когда солдатчина, военщина начинает править миром, мне кажется, что если это пойдет так

дальше — будет Третье пришествие и начнется история нового, второго христианства. (...)

В христианстве все дело в пришествии, в перемещении в быт.

Не палка, а музыка, сила безоружной истины — правильно.

Вот обо всем таком и надо говорить, думать, писать романы. Я раньше, до знакомства с Вами, поражался, случайно встречаясь с кем-либо из печатающихся — никто не интересовался таким вопросом, как что такое искусство. Я думал, они притворяются, должны же они хотя бы хотеть понимать такое.

Еще один момент важный, отличающий со всей положительностью «Д. Ж.» — это **спокойствие** повествования. Оно иного характера, чем библейский язык или, скажем, военные отчеты, и далеко от того и другого — при обилии мест высокой лиричности голос никогда не повышается. Это я считаю огромным достоинством и драгоценной особенностью языка, знакомого мне и по «Детству Люверс».

«Когда человека одолевают загадки вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзамеры «Илиады». Это и так и не так.

В физике он найдет очень немного весьма сомнительных истин, и то истин до завтрашнего дня. И Гёте, зная косность современности (а сказка наша продолжает жить такой же, как и 100 лет назад, и так же действует на детей), вернулся к старейшей сказке, чтоб с помощью ее атрибутов провозглашать то, что душе людей было ближе поэтически, чем если б было доказано в какой-либо научной работе. Научные истины менее долговечны, чем истины искусства, и к тому же наука — не проповедь, а искусство — проповедь. (...)

В морге 1 МГУ я когда-то был с целью пополнения общеобразовательных знаний. Конечно, у Вас здорово описан морг, но мне кажется, тело человеческое красиво далеко не всегда (и живое и мертвое) и при делении (ампутированная нога, например, безобразна и страшна) так же. Мне кажется, только дикая природа красива — камень, который куда ни брось, находит себе место. У деревьев и у диких животных нет уродов. Уродство природы только в ее соприкосновении с человеком. (...)

Превосходен вальс, платок и выстрел. Женский платок у губ Живаго, как романтическая окраска тех самых дел, которые в ином разрешении приводят к выстрелу. И выстрел раздается (...)

Много похвал заслуживает лес-жизнь, в котором заблудился мальчик Юра, который вырос и, встречая опять смерть близкого ему человека, уже ничего не боялся, ибо «все вещи были словами его словаря». (...)

Искусство, неотступно размышляющее о смерти и неотступно творящее жизнь. То искусство, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает — как это чудесно верно. И как это мало понято. Жизнь бессмертна только благодаря искусству. Искусство — это бессмертие жизни.

Страницы с описанием родов Тони — хорошо, не хуже описания родов Китти. И верно, конечно, что мучаешься только ее судьбой, не думая о ребенке.

Смелый образ разгруженной баржи, высадившей в мир душу — очень хорош. (...)

Прекрасны огни воинского поезда, врывающиеся в звездный свет, и вообще все о звездах, о которых пишут, пишут, пишут и бесконечно находятся новые слова. Как это далеко от науки Воронцовых-Вельяминовых. Звезды, с которыми советуются люди, не нуждаются в каталогах астрономов.

Хорошо и это: «Фактов нет, пока человек не внес в них что-то свое, какую-то сказку».

О царе и народе тоже очень хорошо.

Конечно, верно, что христианство было предложением жизни человеку, а не обществу.

И еще раз с силой поставлены вопросы еврейства — в которых ведь все непросто, а этот вопрос должен быть ясно и сознательно разрешен в мозгу каждого. (...)

Фадеев доказал, что он не писатель, исправив по указаниям критики напечатанный роман, то, что объявлено доблестью, на самом деле трусость писателя, неверие в самого себя, в верность собственного глаза. (...)

«Со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать». Это формула верная и точная. (...)

Очень хороши слова о второй революции — личной для каждого, весь этот кусок вообще. И только Лариса ее невесомым взглядом, Лариса, своей внутренней жизнью богаче доктора Живаго, не говоря уже о Паше. Лариса — магнит для всех, в том числе и для Живаго.

200 страниц романа прочитано — где же доктор Живаго? Это — роман о Ларисе.

Великолепна сцена с утюгами — одна из центральных сцен романа. Прекрасна буря при отъезде Живаго, смятение его души после победившего его вырвавшегося объяснения с Ларисой. И хороши черты удаляющейся грозы.

Какую массу Вы увидели, запомнили, Б. Л., какое богатство в стихах, в прозе. {...}

Чуть ли не каждая фраза романа — значительна. Она так наполнена содержанием, вовсе необычным по существу, что требует или покорного удивления, или раздраженного спора. Резко и немедленно определить отношение к себе или в виде покорного удивления или раздраженного спора. {...}

Мне кажется, дом кажется огромным оттого, что стоишь вблизи его у его подошвы. Это — впечатление, вызванное ракурсом.

Нигде нет больше оптических обманов, как в строениях общества. {...}

...И деревня, деревня, которая в революцию увидела возможность самостоятельного решения своей судьбы. Ее усмиренное разочарование. Деревня осталась все той же, не верящей городу и мечтающей о собственной изъясной судьбе. Новый поход «в народ» имеет целью сблизить, укрепить связи с деревней. На этот раз это поход специалистов-техников. Это вообще-то дело не новое — мы знали в Китае миссионеров-врачей, миссионеров-инженеров.

Прекрасно и сильно замечено, что не люди заботятся о человеке, о его отдыхе и спокойствии, а природа (поразительный водопад, заглушающий ночное гроыханье и галдеж людей). {...}

Стрельников очень хорош с его одаренностью, заставляющей в одежде грязное считать чистым, мягкое — глаженным. Очень важно показывает автор и подчеркивает Стрельников, чтоб читатель не забыл, что Галиулин, командующий белыми частями, более пролетарского происхождения, чем Стрельников, командир красных частей. Интересны и верны рассуждения о беспринципности сердца, о даре нечаянности.

Мне кажется, высший принцип морали — это как раз и есть эта беспринципность сердца.

Я все поддакивал и хватился сейчас: не обманываю ли я сам себя, не заставил ли роман меня думать, что я все это чувствовал раньше, хотя данное ощущение явилось только что данным чужими словами. Нет. Эти ощущения близки моим, может быть, не так полным, не так ярко и законченно выраженным.

Россия — половодье, стихия, но не свобода звериных сил. Явление лучшего **человеческого** в человеке, которому дана возможность вырасти и блистать.

Живы фигуры первого плана: Лара, Живаго, Тоня. Из фигур второго плана — Комаровский. Уже Веденяпин, как он ни важен для романа, много бледней, как и Громеко.

Роман не кончен. Зачем же все же Евграф?

Для выздоровления, как призрак смерти?

Ваше посещение больного Пришвина — чудесно. И так это и должно быть. Он хотел Вас видеть, он звал Вас, далекого в жизни, казалось бы, от него человека. Апостольское есть в жизни каждого большого поэта, и это ведь чувствуют люди, общающиеся с Вами, читающие Ваши стихи.

И я считаю своим счастьем, что могу знать Вас, слушать Вас.

Не знаю, как будет встречен роман официальной критикой. Читатель, не отученный еще от настоящей литературы, ждет именно такого романа. И для меня, рядового читателя, стосковавшегося по настоящим книгам, роман этот надолго, надолго будет большим событием. Здесь с силой поставлены вопросы, мимо которых не может пройти никакой уважающий себя человек. Здесь со всем лирическим обаянием встали живые герои трагического нашего времени, которое ведь и мое время. Здесь удивительный глаз художника увидел так много нового в природе и кисть его использовала тончайшие краски для того, чтобы с помощью их раскрыть душевное состояние человека.

Здесь набросана картина предчувствованного Гоголем «мира в дороге», русского половодья времен граждан-

ской войны, «России в вагонах», мира, сдвинувшегося с тысячелетних устоев и куда-то плывущего. Я еще раз возвращусь к похвалам весны, весеннего разлива.

Весомый язык, где каждая фраза сдвигает какие-то тяжести в мозгу, открывает какие-то новые двери, мимо которых мы проходили раньше, даже не зная, что это двери и они заперты.

Здесь (и во многом исчерпывающе) столько о том, о чем человек не может не думать.

Спасибо Вам, Б. Л., за то счастье, счастье и волнение, которое пришло ко мне вместе с Вашим романом.

О всем ведь не напишешь в такой короткой записке. Хотелось бы о Блоке, о еврействе, о вопросе, в котором все не просто, а тем не менее вопрос для любого человека — один из главных, из основных. Семья, в которой я рос в российской провинции, отец, водивший меня, мальчика, в синагогу, говоривший: смотри — вот храм, где люди нашли бога раньше нас. Истина — это желание истины. И что-то в этом роде.

Это — попытка вернуть русскую литературу к ее настоящим темам и ее генеральным идеям. Это попытка ответить на те вопросы, которые задали тысячи людей и у нас и за границей, ответов на которые они напряженно и напрасно ждут в тысячах романов последних десятилетий, не веря газетам и не понимая стихов.

Еще два таких романа, и русская литература — спасена.

Наконец, это — пример установления тесной связи между человеком и природой, связи, которой занимаются все поэты и писатели.

Смерть Гинца, как своеобразный вывороченный вариант «смешное убивает».

Романтика — это штука минутной силы. И если эта сила упущена или скомпрометирована какой-либо бытовой мелочью — человек платился жизнью, как поскользнувшийся Гинц. Но что-то подобное я видел где-то у Толстого.

Лара Гишар — материнское чувство, входящее с любовью.

Самыми слабыми художественно и порочными идейно (не с официальных позиций, конечно, а по большому существу искусства) являются страницы показа забастовки, вообще портреты людей из рабочего класса. Конечно, не наивные «Журбины» могут тут служить примером, и не горьковский Павел.

Но и Ваши портреты — не верны. Они не принижают, а как-то проходят мимо. {...}

В заключение позвольте рассказать Вам одну историю — сухую быль. Один правый эсер, бывший террорист, вечный царский каторжник, считающий день 12 марта 1917 года — лучшим днем своей жизни, едет в Нарым, в трехлетнюю ссылку в 1924 году. Ссылные разведены по глухим деревням. Место жительства ему назначено очень дальнее, отлучаться с мест не позволяют, встречаться разрешают лишь друг с другом, заставляя вариться в собственном соку. В долгом санном пути он попадает на ночевку в одну деревушку, где колония ссыльных — 7 человек. У одного из них он и останавливается, ночует, здесь его застигает пурга, и он живет тут неделю, знакомясь со всей колонией. Это — два комсомольца-анархиста (были такие в 20-х годах), два сиониста — муж и жена, и два правых эсера — тоже муж и жена. Седьмой колонист — епископ, один из профессоров Духовной Академии. Пестрота состава, насильственное общение друг с другом — мелкие ссоры, разрастающиеся в болезненные скандалы, взаимное недоброжелательство, много свободного времени. Но все — каждый по-своему, очень хорошие, думающие, честные люди... Наконец, пурга легла, рассказчик наш уезжает и целых два года «отбывает» где-то в Нарымской глуши. Через два года ему разрешают вернуться в Москву и, уже не ссыльный, он едет назад той же дорогой. Во всем этом длинном пути у него лишь в одном месте есть знакомые — там, где его задержала пурга. Он вновь заезжает с ночевкой в эту деревню. — И что вы думаете, там случилось? — спрашивает он меня. Я пожал плечами. Там ведь были сионисты, эсеры и комсомольцы-анархисты, помните? — Да! Ну, так вот — они все приняли православие. Поп их сагитировал, этот ученый епископ. Молятся теперь богу вместе, живут этаким евангельской коммуной. — И сионисты? — И сионисты. — Действительно, странная история. Почему это могло случиться? — Рассказчик помолчал.

— Видите, я много думал об этом, да и сейчас, вот через столько лет, не могу забыть. У них, видите ли,

у всех — у эсеров, у сионистов, у комсомольцев была одна общая черта. — ??? Они все слишком верили в силу интеллекта.

В чем роман поистине замечателен и уникален для всей русской литературы — в том самом качестве, которым дышит и «Детство Люверс» и несравненные Ваши стихи, — это в необыкновенной тонкости изображения природы и не просто изображения природы, а того единства нравственного и физического мира, единственного умения связать то и другое в одно, и не связать, а срастить так, что природа живет вместе и в тон душевным движениям героев. Пользуются этой штукой, как контрастом, противопоставлением. Иногда это удается. Тонкость тут необходима затея, что ведь нет у Вас самодовлеющих оттенков природы, вмонтированных куда-то более или менее подходяще. Идет жизнь героев, сюжет романа развивается вместе с природой, и природа — сама часть сюжета. Я не очень правильно владею терминологией, но Вы меня поймете.

Я начну выписывать — не все, конечно (это значило бы переписать добрую треть романа), с муаровой капусты, с вьюги и воздуха, дымящегося снегом, с воробьев, вылетающих из кустов и шумящих, как шумит вода.

...Стебли хвоща, как посохи с египетским орнаментом.

Солнце, по-вечернему застенчиво освещающее происходящее на рельсах.

Сухой морозный день со снежинками.

Вечер был сух, как рисунок углем.

Всему вторящий настороженный горный воздух.

Крыша, перестукивающаяся с крышей, как весна.

Выточенные круглые звуки в морозное утро.

Снег вообще везде чудесен. Он рассыпан по всей книге.

Совершенно исключительно — горящая свеча, подглядывающая за городом сквозь протаявшую дырку в обледенелом стекле.

(Мои глаза, подвижные, как пламя... — Цветаева).

Иней, бородатый, как плесень.

Небо в спиртовом пламени горящих ярко звезд.

Апрельское утро серое, горное, теплое.

Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее. Деревья подошли из глубины дворов к окнам под огонь горящих ламп.

Пахло всеми цветами сразу, как будто земля днем лежала без памяти и теперь этими запахами приходила в сознание.

Все кругом бродило, росло и т. д.

Удаляющаяся гроза.

Гуси, белеющие под черным грозовым небом.

Густая, как ночь, листва, мелко усыпанная восковыми звездочками мерцающих соцветий.

Буря при отъезде Живаго.

Запах лип, опережающий поезд.

Тень березовых ветвей, как женская шаль.

Исключительная картина половодья, предварительно невиданная, скрытая работа весны под снегом.

Весна ударяла, хмелея, в голову неба.

И даже эта рискованная метафора — уподобление солнцу сквозь туман — появление голого человека в бане сквозь мыльный пар.

Озерки, 22 января 1954 года.

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю за Вашу всегдашнюю заботу обо мне, за сердечное внимание, которое мне дороже всего на свете. Благодарю за чудесную надпись на «Фаусте», за слова, вновь и вновь утверждающие душевные мои стремления.

Вам не надо так говорить о моем письме по поводу «Доктора Живаго». Вряд ли оно было для Вас сколько-нибудь интересным и значительным. Мне же, конечно, не жаль никакого времени, жизни не жаль для того, чтобы иметь возможность говорить с Вами, писать Вам, проверять Ваши мысли на себе и в себе самом открывать какие-то новые уголки, которые были настолько затемнены, что, думалось, их вовсе не существовало. От наших встреч я вырос, разбогател душевно и благодарю Бога за великое счастье, которое досталось мне в жизни — счастье личного общения с Вами.

Думается — схлынет, пройдет вся эта эпоха зарифмованного героического сервизизма, с полной утерей и перспективных оценок и взгляда назад, и светлый ручей поэзии вновь покажет свою неиссякаемую силу со всей ее свежестью и чистотой. Грустно, конечно, что подлинные стихи

для нынешней молодежи (осведомленность о них, вкус к ним) представляют сейчас, как никогда ранее, какую-то (в лучшем случае) звездную туманность, новую Галактику, скопление далеких миров, в котором под силу разобраться только старикам-астрономам. Одна из причин этого — воспитанное годами недоверие к поэзии, боязнь ее, подмена ее рифмованными «кантатами». Но все это удешевляет требования к искусству, к его честным и искренним слугам. В сохранении верности поэзии трижды укрепить себя. Мне думается, никогда еще в истории русской поэзии не было такого трудного времени для искусства, когда смещены понятия, когда старые слова наполнены новым, иным, фальшивым и притом меняющимся смыслом, когда читатель (и поэт, как читатель) полностью дезориентирован этой фальшивостью понятий. Чрезвычайно трудно (и не по мотивам личной славы, гордости, что ли) не сбиться с дороги.

Не у всякого сердце — надежный и верный компас. Даже т. н. «общение» поэта с широким читателем — тоже очень сложная штука. Дело в том, что поэт чувствует себя как бы в кольце охраны — всех этих лжеисследователей, лжепророков и вынужден через головы стражи, через ряды конвоя обращаться к верующей в него толпе, если и не полностью понимающей, то чувствующей его истину и доверяющей его чутью. Даже в ближних конвоем рядах этой толпы могут быть люди, которые как бы и народ, но которые вовсе не народ, а только подголоски конвоя. Жить поэту очень трудно, и только глубочайшая вера в справедливость своих идей, вера в свое искусство заставляет жить и работать, создавая новые вещи, год от году все большей силы, глубины и художественной убедительности. Он не только чувствует — он знает, что он необходим времени, что он не простой свидетель. Он — совесть времени, его неподкупный судья. И он с удовлетворением отмечает, что гений его все крепнет год от году, что голос его становится все проникновенней и чище, что смысл всех событий и идей становится все яснее и безоговорочней. Я отнюдь не смотрю пессимистически на будущее поэзии. Ее способность к бессмертию бесспорна для меня. Бесспорна для меня и ее нерукотворность, что ли — что она живет и в поэте и как-то помимо поэта, как Блоковская Прекрасная Дама, как Гриновская Бегущая по волнам. Что ее нельзя отменить, растоптать, как нельзя и создать. Что мир предстает как какой-то материал для ее детских игр, для ее роста и раздумий. Что она входит в людей случайно, и вовсе не со всеми, в кого вошла, бывает до конца их дней. Что она порабощает человека. Что она отводит его в сторону от других людей. Что она спасает и легко может губить, что она заставляет человека доверять только ей. И, наконец, что она обращается постоянно к единственно вечному в человеке, присущему ему — к его страданию. Страдание вечно само по себе, мир почти не меняется временем в основных своих чертах — в этом ведь и сущность бессмертия Шекспира.

Именно страдание человека есть коренной предмет искусства, есть сущность искусства, его неизбывная тема.

Опять, как всегда, письмо не находит конца, а я боюсь Вас утомить вещами, которые мучают меня, а Вам-то давно и хорошо известны.

Я хочу просить Вас, Борис Леонидович, прочесть еще одну тетрадку стихов моих. Частью это — вовсе новые стихи, частью — стихи прошлого года, написанные после тех, что Вы видели в последний раз. И теперь, как и раньше, в последние годы, удержаться от записей этих нельзя. Жизнь как-то требует переписать и в стихах, как-то выбросить это беспокойство ощущений на бумагу, что понемногу и делается.

Вместе с этим письмом посылаю одно прошлогоднее, которое до Вас не дошло. Посылаю потому, что все, что есть в этом письме, представляется мне уже сказанным Вам, и сказанным именно тогда, когда это письмо написано.

Привет Вашей жене.

Желаю счастья, творчества.

Ваши В. Шаламов.

4 июня 1954

Дорогой мой Варлам Тихонович!

Ваша синяя тетрадь, еще не дочитанная мною, ходила по рукам и везде вызывала восторги. Я только сегодня получил ее обратно и увезу на дачу, где дочитаю до конца

и перечту еще раз заново. Когда я принялся читать ее, я стал отчеркивать карандашом наиболее понравившееся мне и исчертил сплошь почти все страницы прочитанной половины. Наверное, я напишу Вам подробно об этом соображении, когда толком перечту его. Вы одна из редких моих радостей и в некоторых отношениях единственная, и Вам, наверно, странно, как это можно, не кривя душой, так долго воздерживаться и отказываться от того, что так близко и дорого. Но я так создан, что пока мучаюсь над чем-нибудь, что надо сделать и что еще не сделано, я вынужден отгораживаться от самого естественного и милого. Это еще продолжается, потерпите, распространите свое всепрощение на более долгий срок.

Никто из читавших не говорил о незаконченности, о неокончателъности отдельных стихотворений, никаких недостатков никто не находил, а я по-прежнему поразился богатством основного потока, питающего стихотворение, одухотворенностью наблюдения, чувств и мыслей, точности слов и их тонкости, и относительной, по сравнению со всем этим, недостаточностью того, что превращает некоторую последовательность строф в отдельно стоящее стихотворение, в самостоятельную форму, в какое-то последнее слово по данному поводу. Напрасно я завязал вновь разговор об этом. Я не собирался писать Вам ничего серьезного, а перед отъездом на дачу хотел еще раз сказать Вам, что я люблю Вас, считаю, что Вы одарены настоящим талантом, и верю в Вас.

Посылаю Вам в качестве подарка полученный из «Знамени» читательский отклик на стихотворение в апрельском номере⁹. Не сопровождаю комментарием, Вы слишком тонки, чтобы не оценить всей прелести этих рассуждений. Меня с детства удивляла эта страсть большинства быть в каком-нибудь отношении типическими, обязательно представлять какой-нибудь разряд или категорию, а не быть собою. Откуда это, такое сильное в наше время поклонение типичности? Как не понимать, что типичность — это утрата души и лица, гибель судьбы и имени!

Будьте здоровы, всего лучшего.

Ваш Б. П.

22 июня 1954 года, Озерки.

Дорогой Борис Леонидович.

Только теперь добралось до меня Ваше, как всегда сердечное, чудесное письмо. В нем очень много душевного, дорогого, родного мне — всего, что меня бесконечно радует и укрепляет.

Для меня ведь ощущение самой жизни после личных встреч с Вами стало иным — и все мне теперь кажется, будто бы я знал Вас всегда, всю мою жизнь, что Вы всегда были со мной и вовсе неестественной кажется истина. И это как-то не потому, что Вы были со мной Вашими стихами и прежде. Это какое-то новое озарение.

Конечно, мне огорчительно, что целых полгода я Вас не видел. Тут нет никакой обиды, я все понимаю. Я хорошо представляю болезненность от прикосновений всего внешнего, входящего в творчество. И, как бы ни было это внешнее дорого, — оно мешает, оно слишком грубо просто потому, что оно — внешнее. Хирургия знает воспалительные процессы. Когда нельзя подуть на рану — такая чувствуется боль. Понимание этого учит меня терпению. И само творчество — это ведь и есть лечение душевной раны.

То, чего я ищу в жизни, то, что я в какой-то мере пытался выразить в стихах, обязывает меня беречь совесть. Я видел сразу — из Вашего первого письма, что это понято Вами и, боже мой, как я был счастлив. Мне очень лестно было прочесть (и ранее услышать переданные по телефону) Ваши общие замечания по поводу синей тетради, лестно было прочесть обещание подробного разбора. Но мне хотелось бы критики наистрожайшей.

Вопрос «печататься — не печататься» — для меня вопрос важный, но отнюдь не первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, которые переагнуть я не могу. Но достаточно о себе. Я очень просил бы Вас, когда будет закончен роман, — дать мне один экземпляр с машинки на все. Не потому, что я не хочу ждать его напечатания или там рукопись «коллекционная», что ли, — вовсе не поэтому (простите меня за эти оговорки — их, наверно, не следовало делать). Мне хочется кое о чем подумать с романом, кое о чем поговорить с собой. Каким будет «Д. Ж.» в печати — я не знаю. Из «Свидания» в «Знамени»

отнята важнейшая концовка, да и «Хмель» в какой-то строке, мне кажется, изменен не к лучшему. Я боюсь, что кое-что ценное, важное для меня в «Д. Ж.» (а этим важным и ценным является почти весь роман в его первом варианте) — изменится или сгладится.

В «Знамени» нет «Рассвета», нет «Земли», нет «Сказки». Появления других (многих) вещей я и не ждал пока.

Я живу таким медведем — здесь очень плохая библиотека, даже журналов толстых свежих нет — что даже о Ваших стихах в апрельском номере «Знамени» я узнал лишь несколько дней назад в Твери от одного молодого студента, в котором есть кое-что от того, чем привлекательна юность, — какое-то туманное, неосознанное стремление, собранность какая-то, ищущая приложения сила, готовность отдать всего себя без остатка и сразу чему-то большому и главному, послужить какому-то еще не найденному, но обязательно доброму богу.

И мне было как-то жаль, что, вот, те чудесные стихи, которые Вы читали мне в январе, напечатаны в журнале, а я и не знаю, что вы отдавали их в журнал и т. д. и т. п. Смешное чувство, конечно. И радость, что они напечатаны.

Тираж номеру Вы сделали, вероятно, большой, четвертого № не найти в киосках. В каком-то журнале несколько лет назад были напечатаны Ваши стихи о зверинце, о Московском зоосаде, легкие такие строчки — развлекающего собственными стихами и темой поэта. Куда они делись? Ни в каких сборниках их, мне кажется, не было. Жена не велела мне писать Вам длинное письмо, а я не могу остановиться. Вы не написали в письме — ни о «Докторе Живаго», ни о новых стихах, ни о здоровье, почему Вы не хотите понять, что ведь мне это дороже, важнее, всего, м. б.; открытку какую-нибудь. А то ведь узнаешь все из десятых рук.

Письмо Ваше было лучшим подарком мне на день рождения и осветило особым светом этот день.

Будете ли Вы на съезде? Выступать, поди, не будете.

Этот ящик Пандоры, из которого дружно вылетели и статьи Померанцева, «Времена года», «Гости», «Оттепель» и т. д.¹⁰ — все это говорит не только о послушности литературного пера, но и о совсем другом говорит настойчиво.

От подарка — читательского «отклика» на Ваши стихи я в полном восторге. Вот так и отучили людей от стихов. В молодости я начал было коллекционировать подобный материал, но скоро бросил, увидя, что нельзя объять необъятное. Эта рецензия мне еще сослужит службу и не только, как показатель «уровня». Достаточно представить страшное — литературные факультеты, часы русского языка в средних школах, доклады, лекции, курсы, литкружки, сессии Академии наук и писательские собрания — ведь где-то вот там рецензент формировал свои понятия и вкусы.

О типичности — при личной встрече.

Желаю Вам здоровья, творчества, душевной силы.

Привет Вашей жене.

Ваш В. Шаламов.

27 окт. 1954

Дорогой мой Варлам Тихонович!

Никогда Вас не забываю. Ничем не могу Вас порадовать относительно себя. Если говорить об окончании романа в смысле плана и общего построения, то в этой грубой приближенности я дописал его еще в ноябре прошлого года. Но в выполнении подробностей я еще очень далек от цели.

Еще недавно я не мог нахвалиться своим самочувствием, трудолюбием, настроением. Сейчас не помню и, может быть, не знаю, что его изменило. В один из промежутков отчаяния, когда силы души оставляют меня, я отвечаю Вам.

Ужасна эта торжествующая, самоудовлетворенная, величающаяся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески-застойная. Я так не люблю ее.

Я сам желал встреч с Вами и легко назначал их Вам, когда мог сойтись с Вами хоть на клочке какой-то твердой почвы, и радость достигнутой определенности звала и побуждала делиться ею с самыми близкими. А теперь я снова плаваю, вязну, тоню, погрязая в начатом, неоконченном, несделанном, несовершенном, безнадежном. И руки опуска-

ются. И не вижу конца. Не сердитесь на меня, милый друг.

Я живу на даче, отделанной по-зимнему, со всеми удобствами, наподобие дворца, и живу непозволительно и незаслуженно, до бесстыдства роскошно. Я тут буду зимовать. Я Вас непременно вызову к себе. Вы, я знаю, думаете, что я Вас обманываю. Увидите.

Все-таки случай со «Знаменем» был хорошим просветом. Можно было временно надеяться, обольщаться не на свой собственный счет — на общий. А тогда я пренебрежительно отнесся к этим возможностям. Не оценил.

Я никогда не верну Вам синей тетрадки. Это настоящие стихи сильного, самобытного поэта. Что Вам надо от этого документа? Пусть лежит у меня рядом со вторым томом алконостовского Блока. Нет, нет, и загляну в нее. Этих вещей на свете так мало. А что тут еще выдумать. Стихов новых не писал и не пробовал. Их по плану до окончания прозы и не полагалось.

Поклон Галине Игнатьевне.

Еще раз: не сердитесь на меня.

Ваш Б. П.

Пишите, если захотите и понадобится, на городской адрес. Оттуда почту доставляют раз в неделю.

22. Дек. 1955

Дорогой друг мой! Спасибо за скорый ответ. Страшно второпях мне пришла безумная мысль послать Вам конец романа на спешное прочтение, до отдачи в дальнейшую переписку, недели на полторы — на две, до первых чисел января. Как только у Вас освободятся обе тетради, доставьте их для передачи мне на городскую квартиру. Если никого там не будет, в 5-м подъезде Лаврушинского дома дежурит лифтерша Мария Эдуардовна Киреева, отдайте пакет ей, для передачи мне в собственные руки, когда я заеду в город. Киреева проживает у нас.

Не утруждайте себя подробным обстоятельным отзывом. Не тратьте на это времени и души. Я по двум-трем словам все угадаю.

Но вот условие. Если Вам будет до неприемлемости чуждо общее восприятие вещей в романе и Вас от меня отшатнет, простите мне мое ошибочное отношение к ним ради тех отдельных страниц, которые останутся Вам родными в нем и понравятся.

Я совершенно был согласен с Вашим замечанием о разговорах людей из простого народа, что они представляют лубок и неестественны. Вы обнаружите, как я упорствую в своих пороках и продолжаю им предаваться.

Дорогой, дорогой мой! То, что Вы усмотрите в этих тетрадях, не следствие тупоумия или черствости души, наоборот, у меня почти на границе слез печаль по поводу того, что я не могу как все, что мне нельзя, что я не в праве.

Сейчас большой поворот в сторону «левого искусства», «опальных имен» и пр. Конечно, я не составляю исключения. Часто куда-то зовут, что-то предлагают. За всеми этими движениями твердая уверенность, что у всех в головах одна и та же каша, и ничего другого быть не может, и только в том разница, в каком виде ее подают, горячем или холодном, с молоком или маслом. Того, что можно думать совсем о другом и совсем по-другому, нет и в допущении. Конечно, я от всего отказываюсь и еще более одинок, чем прежде. Пожалейте меня. Прочтите, прочтите роман. Неважно, что Вы забыли предшествующее. Это несущественно. Привет Галине Игнатьевне.

Любящий Вас Б. П.

Туркмен, 8 января 1956 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю за чудесный новогодний подарок. Ничто на свете не могло быть для меня приятней, трогательней, нужней. Я чувствую, что я еще могу жить, пока живете Вы, пока вы есть — простите уж мне эту сентиментальность.

Теперь — к делу. Лучшее во второй книге «Д. Ж.» это, бесспорно — суждения, оценки, высказывания — ясные, записанные с какой-то чертежной четкостью — это то, что хочется переписывать, учить, запоминать. Прежде всего это — суждения самого Юрия Живаго, но не только доктор говорит голосом автора. Это в плохих романах бывает такой «избранный» рунор. Голосом автора гово-

рят все герои — люди и лес, и камень, и небо. И слушать надо всех: и Симу, и Ларису, и Тягунову, и бельевщицу Таню, и других. В этом — в новых в таких непривычно верных суждениях — главная сила романа. В суждениях о времени, которое ждет не дожидается честного слова о себе. Целые главы: «Варыкино», «Против дома с фигурами», «Рябина в сахаре», Лариса у гроба — очень, очень хороши суждения об искусстве, о вдохновении, о догмате зачатия, о марксизме, оценки времени — все это верно — т. е. понятно и близко мне. Да и всех, кто читал роман, сколько я мог заметить, эта сторона сильно волнует. — Каждого на свой лад. Все оценки времени верны, хотя они и даны, оглядываясь — из будущего, ставшего настоящим. Но они тем самым становятся еще более убедительными. Все, что Живаго успел сказать, — все действительно, значительно и живо, все это очень много, но мало по сравнению с тем, что он мог бы сказать.

В романе в огромном количестве — ценнейшие наблюдения, неожиданно вспыхивающие огни, вроде столба, которого не заметил Живаго, уезжая, вроде соловья, незримой несвободы, вроде книжек доктора, которые читает хозяин квартиры на глазах дроворуба, вроде ладанки с одинаковой молитвой у партизана и у белогвардейца. И многое, многое другое. Удачно по роману ввязаны в ткань романа стихи, данные в приложении. Меня занимал способ их «подключения» в роман.

Второе бесспорное достоинство — те необычайные акварели пейзажа, которые, как и в первой части, — на великой высоте. Вообще, не только в пейзажном плане, вторая книга не уступает первой, а даже превосходит ее. Рябина превосходна, снег, закаты, лес, да все, все. Дождливый день в два цвета, рукопись березок, листы в солнечных лучах, скрывающие человека, — все, все.

Пейзаж Толстого — безразличен к герою, описание его самодовлеющее: репейник в «Хаджи Мурате» и трава в тюремном дворе «Воскресения» — это символы или своеобразные эпитафии, а не ткань вещи.

У Достоевского нет никакого пейзажа (что, конечно, косвенным образом свидетельствует о Вашей правоте в определении искусства, как некоего самостоятельного начала, входящего в любую обстановку и заставляющего все окружающее служить ему. Помните Цветаевскую статью о поэзии, как едином Поэте. Эта формула тоже каким-то краем касается этого дела).

Пейзаж Чехова — противопоставление внешнего и внутреннего мира («Припадок», «Степь»). Ваш пейзаж — внешнее, подчеркивающее внутренний мир героя — эмоциональное постижение этого внутреннего мира.

О героях. Доктор Живаго по-настоящему вышел в главные герои. Умный и хороший человек, привлекающий к себе всех; все его любят, ибо каждый ищет в нем свое, подлинно человеческое, утерянное в житейской суете, в жизненных битвах. Помогая ему, облегчая его быт, его житейское, каждый платит как бы свой долг, род штрафа за то, что человек не удержал в себе того, что давалось ему с детства, жизнь не дала удержать. Так делает и Самдевятков, и Стрельников и Ливерий и конечно и в первую очередь и это совершенно естественно, — женщины с их конкретным мышлением, с их жертвенностью. Поэтому-то и третья жена — Марина, по-настоящему любящая, не снижает образа Живаго и — нужна. Вся эта разная и все-таки единая любовь Тони, Ларисы, Марины — показана очень хорошо. О Ларисе — обреченность на несчастье, на житейские неудачи. Освещающая все лучшее в романе — под колеса, раздавить, растоптать. Все, что я писал о ней Вам раньше, — не сбавлено во второй части ни на йоту, и просто — горька судьба. Но, верно, так и надо.

Ничего не нашел я фальшивого в судьбах главных героев. Мне, правда, по первой части иначе рисовалось развитие романа, но и так хорошо. Мне думалось, что вот интеллигент, брошенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время, страшен не тем, что это — затопляющее половодье, а тем растлевающим злом, которое он оставляет за собой на десятилетия, доктор Живаго будет медленно и естественно раздавлен, умерщвлен, где-то на каторге. Как добивается, убивается XIX век в лагерях XX века. Похороны где-нибудь в каменной яме — нагой и костлявый мертвец с фанерной биркой (все ящики от посылок шли на эти бирки), привязанной к левой щиколотке на случай эксгумации.

Что Лариса не уйдет от его судьбы. Что «пустое сча-

стве ста» — это и есть залог счастья общественного. Как где-то рождается мальчик, девочка, для которых все, скопленное Ларисой и Юрием, — не пустые слова, что это то, с чем он не боится идти по своей трудной дороге, м. б., Сизифовой дороге, ползти шаг за шагом, отвоевываая самое важное, что было добыто его дедами и утеряно его отцами. Как умирает Живаго, теряя силы, сберегая на самом доньшке сердца самое последнее, самое дорогое, и как это кое-что сохранено, как он поправляется, как к нему возвращаются слова, понятия, жизнь — и как он обманывается снова и снова умирает.

Бледен Стрельников, хотя его трагическая судьба (я говорю не о самоубийстве) намечена верно — так это и есть и было. Евграф объяснен частично, да, кажется, я уже понял, зачем живет в романе этот Евграф. Брат, который найдет, подберет, утвердит лучшее, что было у Юрия Живаго, воспитает его дочь, издаст его книги, не даст исчезнуть тому, что хочет растоптать жизнь.

Прекрасно о человеке, который рождается жить, а не готовиться к жизни, прекрасно о причинах инфарктов, да, наверно, так оно и есть.

«Лубок» ощутил почему-то меньше во 2-й книге, хотя Вы и предупреждали о его упрямом существовании. Даже Вахх не портит дела.

Кое о чем хочется и поспорить. О «нравственном цвете поколения», например, о подготовке героизма, проявленно-го в этой войне. Бесспорно, что на войне умирала молодежь легко. Но на какой войне не умирает молодежь легко? Она ведь не знает, не ощущает, что такое смерть, не понимает, не чувствует внутренне, что жизнь — одна. Оттого и самоубийств в молодежном возрасте — больше, чем в другом. Нашу молодежь убеждали еще со школы, с детского сада, что мир, в котором она живет, — это и есть лучшее завоевание человечества, а все сомнения по этому поводу — вредная ложь и бред стариков. Есть, стало быть, что защищать. Не последнюю роль играла знаменитая «вторая линия» с пулеметами в спину первой и смертная казнь на месте, вошедшая в юрисдикцию командира взвода, — аргументы весьма веские. Вы, конечно, помните у Некрасова (Виктора) в книжке «В окопах Сталинграда» (кстати, это чуть не единственная книжка о войне, где сделана робчайшая попытка показать кое-что, как это есть) рассказывается, как на проведение атаки 11 солдатами (которых «поднимают» (термин!) 2 командира с вынутыми револьверами) приезжают представители политотдела, СМЕРШ полка, роты — человек 8 в общей сложности. <...>

О детдомовцах. Это, вероятно, благородное дело — красиво о них говорить. Но это все фальшь и ложь. Это будущие кадры уголовины, с которой десятилетиями заигрывало государство, начиная с пресловутой беломорской «перековки» и кончая «друзьями народа» на Колыме, которых представители государства призывали помочь уничтожить «врагов народа». И их кровавый отклик на этот провокационный призыв никогда не изгладится из моей памяти. Это — люди, недостойные имени человека, и им нет места на земле.

Ужасна и верна история Тани-бельевщицы. Увы, ничего наследственности в таком деле не дает (т. е. никогда не скажется, если не будет благоприятных условий). Таких детей я знаю много — напр., лагерные дети, родившиеся от арестантов, — это большая и грустная тема.

Лагерь (он давно — с 1929 г. называется не концлагерем, а исправительно-трудовым лагерем (ИТЛ), что, конечно, ничего не меняет, — это лишнее звено цепи лжи) описан неверно. Никаких столбов там не бывает — ГУЛАГ — это название гл. управления. Прямоугольник арестантов лицами наружу — не бывает, так как это незачем — ведь они неизбежно будут работать вместе. Переключек там действительно много — раз 20 в день. Фамилия, имя, отчество, статья, срок — по такой вот краткой схеме.

Первый лагерь был открыт в 1924 г. в Холмогорах, на родине Ломоносова. Там содержались, гл. обр., участники Кронштадтского мятежа (четные №№, ибо нечетные были расстреляны на месте, после подавления бунта).

В период 1924—1929 гг. был 1 лагерь Соловецкий, т. н. УСЛОН с отделениями на островах, в Кемь, на Ухта-Печоре и на Урале (Вишера, где теперь г. Красновишерск). Затем вошли во вкус и с 1929 г. (после известной расстрельной комиссии из Москвы) передали исправдома и домзаки ОГПУ. Дело стало быстро расти, началась «перековка», Беломорканал, Потьма, затем Дмитлаг (Москва — Волга), где в одном только лагере (в Дмитлаге) было свыше

800.000 чел. Потом лагерям не стало счета: Севлаг, Сев-востлаг, Сиблаг, Бамлаг, Тайшетлаг, Иркутлаг и т. д. и т. п. Заселено было густо. Белая, чуть синеватая мгла зимней 60° ночи, оркестр серебряных труб, играющий туши перед мертвым строем арестантов. Желтый свет огромных, тонущих в белой мгле бензиновых факелов. Читая списки расстрелянных за невыполнение норм.

Беглец, которого поймали в тайге и застрелили «оперативники». Отрубили ему обе кисти, чтобы не возить труп за несколько верст, а пальцы ведь надо печатать. А беглец поднялся и доплелся к утру к нашей избушке. Потом его застрелили окончательно. Рассказывает плотник, работавший в женском лагере: «За хлеб, конечно. Там, В. Т., было правило — пока я имею удовольствие — она должна «пайку» проглотить, съесть. Чего не доест — отбираю обратно. Я, В. Т., с утра пайку кину в снег, заморожу, суну в пазуху и иду. Не может угрызть — баб на трех хватает одной «пайки».

Свитер шерстяной, домашний часто лежит на лавке и шевелится — так много в нем вшей.

Идет шеренга, в ряду люди сцеплены локтями, на спинах жестяные №№ (вместо бубнового туза), конвой, собаки во множестве, через каждые 10 минут — Ло-о-жись! Лежали подолгу в снегу, не поднимая голов, ожидая команды.

Кто поднимает — 10 пудов — тот морально, именно морально, нравственно ценней, выше других — он достоин уважения начальства и общества. Кто не может поднять — недостойн, обречен. И побои, побои — конвоя, старост, поваров, парикмахеров, воров.

Пьяный начальник на именинах хвалится силой — отрывает голову у живого петуха (там все начальство держит по 50—100 кур, яйца 120 руб. десяток — подспорье солидное). Состояние истощения, когда несколько раз за день человек возвращается в жизнь и уходит в смерть.

Умиравшему в больнице говорит сердобольный врач: «Закажи что ты хочешь!» — «Галушки», — плача говорит больной.

У кого-то видели листок бумаги в руках — наверное, следователь выдал для доносов. Шестнадцатичасовой рабочий день. Спят, опираясь на лопату, — сесть и лечь нельзя, тебя застрелят сразу.

Лошади ржут, они раньше и точнее людей чувствуют приближение гудочного времени. И возвращение в лагерь в т. н. «Зону» где на обязательной арке над воротами по фронту выведена предписанная приказами надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и героизма».

Тех, кто не может идти на работу, привязывают к волокушам, и лошадь тащит их по дороге за 2—3 километра.

Ворот у отверстия штольни. Бревно, которым ворот вращают, и семь измученных оборванцев ходят по кругу вместо лошади. И у костра — конвоир. Чем не Египет?

Все это — случайные картинки. Главное не в них, а в растлении ума и сердца, когда огромному большинству выясняется день ото дня все четче, что можно, оказывается, жить без мяса, без сахара, без одежды, без обуви, а также без чести, без совести, без любви, без долга. Все обнажается, и это последнее обнажение страшно. Расшатавшийся, уже дементивный ум хватается за то, чтобы «спасти жизнь» за предложенную ему гениальную систему поощрений и взысканий. Она создана эмпирически, эта система, ибо нельзя думать, чтобы мог быть гений, создавший ее в одиночку и сразу. Пак 7 «категорий» (так и написано на карточке «категория такая-то») в зависимости от процента выработки. Поощрения — разрешение ходить за проволоку на работу без конвоя, написать письмо, получить лучшую работу, перевестись в другой лагерь, выписать пачку махорки и килограмм хлеба — и обратная система штрафов, начиная от голодного питания и кончая дополнительным сроком наказания в подземных тюрьмах. Пугающие штрафы и максимум поощрения — зачеты рабочих дней. На свете нет ничего более низкого, чем намерение «забыть» эти преступления. Простите меня, что я пишу Вам все эти грустные вещи, мне хотелось бы, чтоб Вы получили сколько-нибудь правильное представление о том значительном и отменном, чем окрашен почти 20-летний период — пятилеток, больших строек, т. н. «дерзаний» и «достижений». Ведь ни одной сколько-нибудь крупной стройки не было без арестантов — людей, жизнь которых — непрерывная цепь унижений. Время успешно заставило человека забыть о том, что он — человек.

Вот и письмо мое, неизбежно большое, подходит к концу. Вы должны простить мне это многословие.

И еще в двух поступках я должен покаяться перед Вами. Я получил роман 1 января. Хотелось прочесть его не за чайным столом, а как следует. Я задержал его на 2 недели. Второе — не удержался и послал Вам стихи последних лет. Мне так хотелось, чтоб они были у Вас. Просто, чтоб были у Вас. Не затрудняйте себя откликами, ответами обязательными. Кое-что путное там есть. Названия приблизительные, это сборнички, а не книги, тематически стихи могут быть передвинуты из тетрадки в тетрадку — налаживать сейчас нет возможности. Переписку от руки тоже прошу простить.

Еще раз — искренне благодарю Вас за роман, которому нет цены, за все, что Вы в нем сказали.

Сердечный привет Зинаиде Николаевне.

Ваш В. Шаламов.

Когда-то давно Вы получали мои письма с заклеенными клеем конвертами. Это я заклеивал сам для крепости.

Туркмен, 12 июля 1956 г.

Дорогой Борис Леонидович.

День 24 июня был одним из самых больших дней всей жизни моей. Более 25 лет назад я себе выдумал смелую сказку — что когда-нибудь я буду читать свои стихи у Вас в доме. Это было одно из самых скрытых, самых дорогих мне, самых страстных моих желаний, самое затаенное, в котором я никогда никому не признавался. Бесчисленное количество раз появлялось это видение. Я так привык к нему, что даже гостей сам приглашал, самовольно рассаживая их по креслам (так, вместо Берггольца у меня сидела Ахматова), так было задумано, с этой верой я жил, никогда ее не теряя. Было много таких лет, когда подобное казалось бредовой фантастикой, сумасбродней которой и придумать нельзя. И все это сбылось самым феерическим образом 24 июня.

Вы для меня давно перестали быть просто поэтом. Иное я искал, находил и нахожу в Ваших стихах, в Вашей прозе. Но даже Вы, боюсь, не измерите для себя всей глубины, всей огромности, всей особенности этой моей радости.

Ведь для меня этот день не просто встреча, льстящая самолюбию, что ли, не просто «честь», не только «признание», «рукоположение». Это — осуществление сердечнейшего, затаеннейшего из **загаданного** — это та самая сказка, которая, как ей и положено, становится все-таки жизнью и в жизни утверждает себя, как некая новая данность. Такова природа всех настоящих сказок.

У меня не было в жизни так называемых «удач», мое счастье если и приходило, то приходило по другим дорогам. С годами это привело к недоверчивости в отношениях с людьми, к вере только в самого себя, к запрещению для себя пользоваться очень многими людскими путями. Я привык встречаться с жизнью прямо, не различая большого от малого. Так меня учили жить, так сам я учил жить других.

Обещаний и зарок в юности было немало. Слишком многое, конечно, разбито, разломано, уничтожено, не осуществлено. В свое время мне не дали учиться, самым коварным и жестоким образом обрекая меня на вечную полуграмотность, на невежество, сковывая меня безвозвратно и безнадежно навеки. А годы шли. Двадцать лет жизни моей отдал я Северу, годами я не держал в руках книги, не держал листка бумаги, карандаша. О всем прочем я и говорить не хочу. Но когда я приходил в себя — а это все-таки бывало — я возвращался к стихам и возвращался к своему заветному видению. И я — счастлив сейчас.

Каждый человек в 16 лет дает себе какие-то клятвы, какие-то обещания. Иными они забываются, иными не забываются. Для многих слишком хорошая память служит причиной увлечения водкой или еще чем-либо подобным. Я очень боялся в молодости прожить жизнь напрасно, и вот, по тем письмам, которые я получаю с Севера до сих пор, я имею право считать, что жизнь моя там не была совсем напрасной, что меня помянут добрым словом и помянут люди хорошие. Несчастные, но хорошие.

Для меня никогда стихи не были игрой и забавой. Я считал стихи беседой человека с миром на каком-то третьем языке, хорошо понятном и человеку и миру, хотя родные-то языки у них разные. Но вовсе не у всех поэтов находил

я то, что считал главным в поэзии. Мне казалось, что историческое развитие поэзии шло следующим путем. Стихи, конечно, родились из песни. Но, отделившись от песни и развиваясь самостоятельно и далеко от песни уходя (мне кажется пустяшным значение фольклора для творчества большого поэта и со светлой легендой об Арине Родионовне давно пора кончать), обогащаясь не только за счет соседних искусств и науки, а исследуя жизнь прежде и раньше всего, стихи обнаружили в себе такие способности и скрытые силы, о которых никакая песня и мечтать не могла. Да, по сути дела, с песней-то эти силы имеют очень мало общего. Песня просто перестала быть нужной стихам. Стихотворная форма в своем развитии показала возможности особенные, оказалась неизмеримо шире и глубже любого другого искусства — музыки, живописи, скульптуры.

Она показала возможность размышления над судьбами жизни, возможность, превосходящую в некотором важном отношении средства художественной прозы хотя бы (не говоря уже о собственно философии). Это стихотворное размышление не использует исключительно арсенал философии (как это было в ритмизованном трактате Лукреция Кара, например). Но самую природу свою звуковую и свое ритмичное музыкальное начало делает средством искания истины. Никакое другое искусство не обладает такой важной особенностью.

Не развлекательная балабайщина, не балагурство, не дидактика гражданской поэзии, а только размышления специфически-стихотворного порядка утверждают высокую поэзию. Рифма, как поисковый инструмент, только один из сотен примеров использования специфики стиха для искания истины. Любой ассонанс, любой звуковой подбор служит той же цели, если он не хочет обратиться в погрешку, где нарочитость уничтожает стихотворение.

Только в этом направлении, думается, лежит сегодня путь, ведущий поэзию к новым высотам. Ее развитие безгранично потому, что поэзия прежде всего лична, индивидуальна, и только тогда она поэзия. Специфика (кроме прочего) заключается в том, что в этом размышлении нет никакого угнетения смыслом эмоции. Нет никакой иссушающей рассудочности.

Поэзия просто должна помнить простую истину, что чувства богаче слов и мыслей, и именно поэзии дано показать нечто большее, чем может сделать логика, ограниченная правилами использования слова. Логика часто не знает силы интонации, не понимает, что такое поэтический напор, лирический поток.

Содержание стихотворения отнюдь не исчерпывается его логической убедительностью, его философской новизной и к ней вовсе нарочито не стремится. Эта убедительность — только попутное завоевание.

Я не хочу, конечно, сказать, что «размышление» исключает все остальное в стихах. Но остальное — второстепенность, и на этих путях победы и открытия поэзии не могут быть столь важны людям в их непосредственном реальном влиянии.

Этот элемент (размышление) есть, конечно, в творчестве каждого большого поэта. Он силен в Державине, Пушкине, а Лермонтов даже начинает эту важнейшую линию русской поэзии, вершинами которой (по хронологии) являются три поэта: Баратынский, Тютчев и Пастернак. Я не знаю языков, но по переводам вижу, что и работы Рильке и Гёте того же самого ряда, утверждающего главное в поэзии.

Горестно думать, что именно эта сторона стихотворчества (важнейшая, выводящая поэзию далеко за границы возможностей всех других искусств) находилась так много лет и сейчас находится в совершенном пренебрежении. Если нынешние отцы отечества хотят успехов русской поэзии, то они должны сделать все для того, чтобы вернуть поэзии ее серьезность. Я знаю, вам не покажутся наивными и смешными все эти рассуждения. Да я и не хотел другого языка, чтоб говорить о самом главном в жизни.

Еще раз — благодарю за 24 июня. Я об этом дне еще не один раз погадаю с рифмами в руках — если бог даст силы и время.

Сердечный мой привет.

Всегда Ваш В. Шаламов.

Лучшие мои приветы Зинаиде Николаевне.

Дорогой Борис Леонидович.

Позвольте мне еще раз (в тысячный раз, вероятно, если подсчитать все мои заочные разговоры с Вами) сказать Вам, что я горжусь Вами, верю в Вас, боготворю Вас.

Я знаю, Вам вряд ли нужны мои слабые слова, знаю, что у Вас достаточно душевной твердости, ясности и силы, чтобы идти своей дорогой на той невиданной высоте, сказочной для нашего растленного времени, что никакой соблазн, очередная приманка не обманут Вас.

Я никогда не писал Вам о том, что мне всегда казалось — что именно Вы — совесть нашей эпохи — то, чем был Лев Толстой для своего времени.

Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвение всего, что составляет гордое и великое имя русского писателя, на измелъчание, на духовную нищету всех этих людей, которые по удивительному и страшному капризу судеб, продолжают называться русскими писателями, путая молодежь, для которой даже выстрелы самоубийц не пробивают отверстий в этой глухой стене — жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней — с жаждой настоящей правды, тоскующей о правде; жизнь, которая, несмотря ни на что, имеет же право на настоящее искусство, на настоящих писателей.

Здесь дело идет — и Вы это хорошо знаете — не просто о честности, не просто о порядочности моральной человека и писателя. Здесь дело идет о большем — о том, без чего не может жить искусство. И о еще большем: здесь решение вопроса о чести России, вопроса о том — что же такое, в конце концов, русский писатель? Разве не так? Разве не на этом уровне Ваша ответственность? Вы приняли на себя эту ответственность со всей твердостью и непреклонностью. А все остальное — пустота, никчемное дело. Вы — честь времени, Вы — его гордость. Перед будущим наше время будет оправдываться тем, что Вы в нем жили.

Я благословляю Вас. Я горжусь прямою Вашей дороги. Я горжусь тем, что ни на одну йоту не захотели Вы отступить от большого дела своей жизни. Обстоятельства последнего года давали очередную возможность послужить мамоне, лишь чуть-чуть покривив душой. Но Вы не захотели этого сделать.

Да благословит Вас бог. Это великое сражение будет Вами выиграно, вне всякого сомнения¹¹.

Ваш всегда В. Шаламов.

1. Б. Л. Пастернак «Земной простор», М., 1945.

2. М. И. Цветаева «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак». Соч., М., 1980, т. 2, стр. 399—423.

3. Стихотворение «Весеннее порою льда» из книги «Второе рождение». В переиздании 1934 года отсутствовал конец стихотворения.

4. А. К. Тарасенков (1909—1956) — критик, литературовед, библиограф. В 1952 году выходит его книга «О советской литературе».

5. Упоминаются стихотворения Ф. И. Тютчева, неточно цитируется стихотворение: «Эти бедные селенья, Эта скудная природа — Край родной долготерпенья, Край ты русского народа!»

6. М. И. Цветаева в статье «Поэты с историей и поэты без истории» писала: «Пастернак лишь зацепился за Шмидта, чтобы еще раз заново дать все взбунтовавшиеся стихии плюс пятую — лирику. И он дал их так, что центр оказался пустым. Уберите из Шмидта все то, что держит напряжение деревьев, плеск волн, пространство, погоду, ослабьте это напряжение — и фигура пастернаковского Шмидта рухнет, как фантом» (там же, стр. 454).

7. «Фауст» Гете в переводе Б. Л. Пастернака вышел в издательстве «Художественная литература» в 1953 году.

8. Спектакль «Гамлет» Театра имени Евг. Вахтангова (1932) был первой режиссерской работой Н. П. Акимова и был решен в вульгарно-социологической трактовке, стержнем спектакля была борьба Гамлета за престол. Роль Гамлета сыграл характерный актер А. И. Горюнов.

9. Читательский отклик на «Стихи из романа» содержал такой вывод: «По-моему, это не та лирика, тов. Пастернак, которую ждет от своих поэтов советский читатель! Это не поэзия, а... из любвей и соловьев какое-то варево». И печатание подобных вещей не делает чести журналу «Знамя». Стихи произвели на читателя «дурное впечатление своей сыростью, грубой неотесанностью, попранием смысла».

10. Имеются в виду статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» («Новый мир» № 12, 1953), роман В. Пановой «Времена года» и повесть И. Эренбурга «Оттепель», пьеса Л. Зорина «Гости». После публикации в «Новом мире» статей В. Померанцева, Ф. Абрамова А. Т. Твардовский был освобожден от должности главного редактора журнала. Произведения Л. Зорина, В. Пановой, И. Эренбурга получили резко отрицательные отзывы критики.

В декабре 1954 года состоялся II съезд писателей.

11. В течение 1956 года Б. Пастернаку было отказано в публикации романа «Доктор Живаго» «Литературной Москвой», «Новым миром» (подробнее см. «Новый мир», 1988 г., № 6, стр. 245—248).

АНОНС

До конца года и в начале следующего читайте в нашем журнале:

✦ Владимир АМЛИНСКИЙ — «В марте 1953-го». Повесть

✦ Фазиль ИСКАНДЕР — рассказы

✦ Олег ВОЛКОВ — «Горстка праха». Из книги воспоминаний

✦ Владимир ЛУКЪЯЕВ — «Судьба балкарцев»

✦ Рой МЕДВЕДЕВ — «Они окружали Сталина»

✦ Лев РАЗГОН — «Непридуманное». Продолжение книги

✦ Юрий ЩЕРБАК — «Голод на Украине» 1932—33 гг.

✦ Аркадий АВЕРЧЕНКО — из наследия

✦ Евгений ЗАМЯТИН — из наследия

✦ Владислав ХОДАСЕВИЧ — «Некрополь»

✦ Академик Андрей САХАРОВ: размышления...

✦ 20-я комната. Диалоги с читателем: «Все-таки Тверь или Калинин?

Мариуполь или Жданов?»; «Информационный голод и независимая пресса»;

«Новая старая Москва — это возможно!»

✦ стихи Юрия БЕЛАША, Рыгора БОРОДУЛИНА, Наума КОРЖАВИНА, Владимира КОРНИЛОВА, Павло МОВЧАНА,

Роберта РОЖДЕСТВЕНСКОГО, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Владимира СОКОЛОВА,

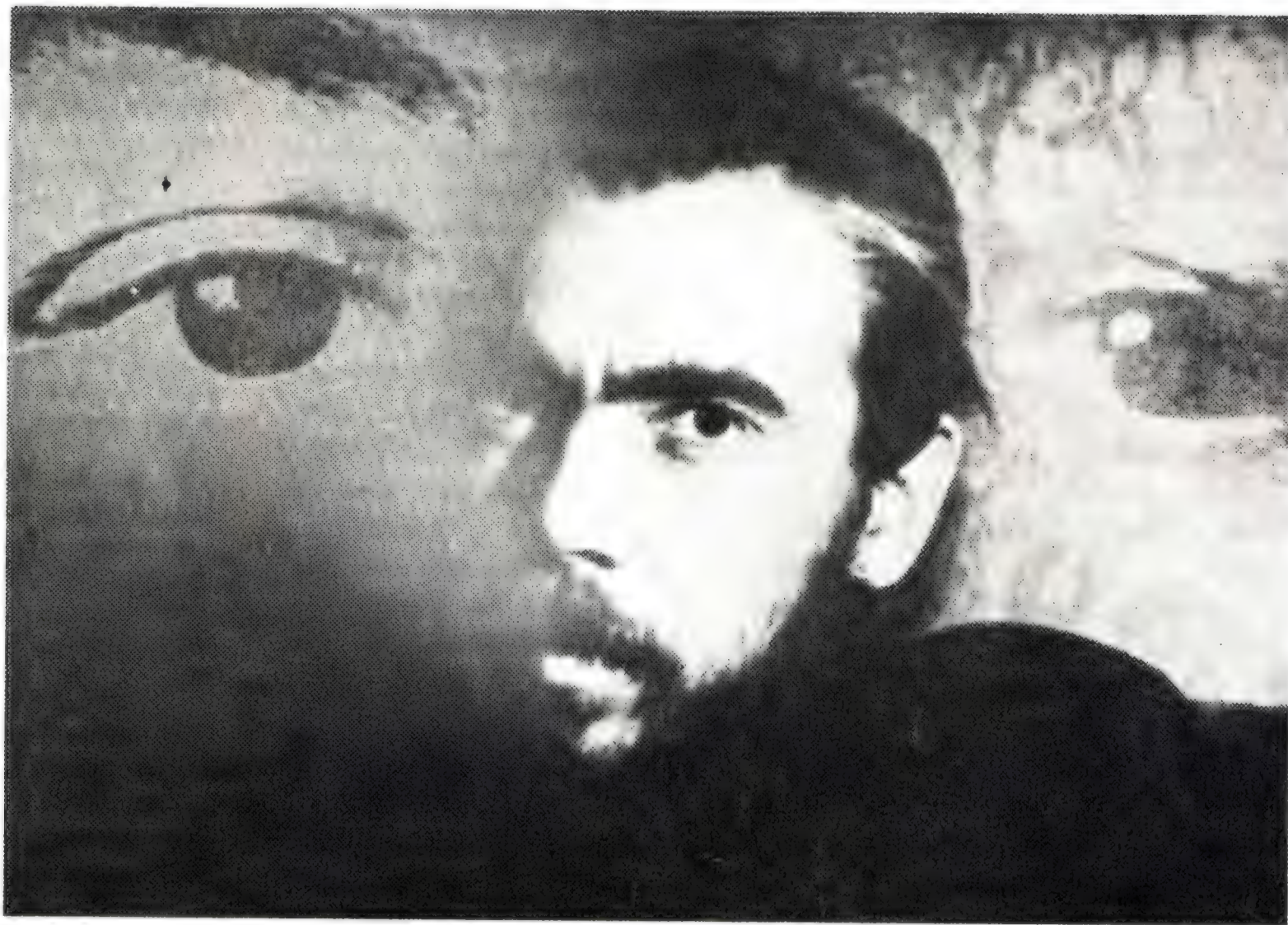
Бориса ЧИЧИБАБИНА, Олега ЧУХОНЦЕВА, Игоря ШКЛЯРЕВСКОГО

✦ «Испытательный стенд» — стихи и проза молодых.

Сергей
ЧЕТВЕРТКОВ

МОНЕТА

Рассказ



Днем, часов этак в двенадцать, с Ипатием произошел курьезнейший случай: он купил в кулинарии пару пирожков к чаю, а когда дома, уже сидя за столом, откусил один из них и нечаянно глянул внутрь, то увидел нечто совершенно удивительное: вместо мясной с луком начинки перед ним раскинулся небольшой, в несколько домов и с одним колодцем, степной хуторок. Было утро. Горланили петухи. Возле ближнего дома у плетня стоял взъерошенный со сна крестьянин в рубахе навыпуск и, почесывая одной рукой поясницу, а другую приложив козырьком ко лбу, глядел на Ипатия. В это время у него за спиной на холме появился и встал танк; тяжело, со скрежетом откинулась крышка люка, и высунулась голова танкиста с грязным, мокрым лицом. Крестьянин, увидев танк, испуганно закричал на незнакомом Ипатию языке. Танкист на том же языке крикнул что-то в ответ, спрятался, и танк осторожно пополз с холма к хуторку; крестьянин скрылся в хате...

Ипатий побежал в кулинарию возвращать пирожок.

Продавщица охотно выслушала его претензии. Заглянув внутрь (там уже все горело маленьким ярким пламенем и заволакивалось дымом), она рассмеялась, выковыряла содержимое на пол и, сосредоточенно топая, доела оставшееся тесто. Возвращая Ипатию деньги, она что-то весело приговаривала на языке обитателей пирожка.

Второй был обычный, с мясной начинкой.

Подкрепившись, Ипатий быстренько переоделся во фрак (ему сегодня предстояло такое!), вышел на улицу, лег и, сосчитав до десяти, полетел низко над тротуаром, равномерно, через каждые двести тридцать три метра роняя капельку пота с носа и глядя внимательно вниз — не попадется ли что: гривенник, стеклышко от часов или троллейбусный талон. По пути встретил ректора института, в котором некогда учился, известного на весь городок негодяя, и сделал вид, что поправляет бабочку. Чтобы сократить дорогу (он очень спешил), Ипатий пролетел Лизин двор через комнату соседей (влетел в одно окно, вылетел в противоположное, сорвав головой марлю), которые были заняты перестановкой мебели и ничего не заметили.

Возле Лезинового подъезда он остановился, быстренько поправил костюм и со всех ног помчался вверх по узкой винтовой лестнице, опережая и спиралью наматывая тянущееся за ним время. Только его и видела дворничиха, заматавшая площадку.

Лиза ждала его. Он еще не успел постучать условным стуком, как она распахнула дверь, схватила его за руку и, упершись кончиками пальцев в переносье, со слезами на глазах побежала по длинному, темному коридору. Комнаты замелькали в глазах у Ипатия: в одной шло шумное застолье, в другой — просмотр «Крестного отца», в третьей невыносимо сильно пахло стружкой, в четвертой... — всего не заметишь и не упомнишь.

В Лезиной комнате они сели на диванчик бок о бок, спиной к раскрытому окну, через которое туда-сюда сновали голуби и чайки.

— Вам не жарко? — ласково спросила Лиза, касаясь платком глаз, и предложила: — Разденьтесь, не стесняйтесь... Кого вам стесняться?..

Ипатий послушно встал, снял фрак, повесил его на спинку стула и в манишке, манжетах и «бабочке» вернулся на место. Сел на самый краешек, галантно подобрав под себя ногу (каблуком уперся во что-то твердое), и нежно, со значением посмотрел на Лизу.

— Я вас так ждала, Ипполит. — Лиза дотронулась до его руки. — Вы себе не можете представить! Где вы пропадали, дорогой мой? Я извелась, ожидаючи!..

Рисунки В. Коваля

Ипполит поцеловал тонкую кисть.

— Простите. Я хоронил друга, он умер в расцвете лет, ни за грош, почем зря, а мы с ним вместе росли, наши матери дружили с нашими отцами... Я расскажу как-нибудь потом, простите...— Поцеловал руку и пригорюнился.

Мимо гусиным шагом прошел Лизин отец, гадкий старикашка, нумизмат и охальник.

— Что приуныли, молодежь! — Он весело дернул головой.

Миновав комнату дочери, вошел в следующую, заставленную зеркалами, и там размножился и потерялся в своих отражениях.

— Ах, как я вас ждала!..— сокрушенно качнувшись всем телом, запричитала после вынужденной паузы Лиза.— Как я вас ждала!.. Вы ведь знаете этого ужасного Нечипоренку? Так вот, он позавчера сделал мне предложение. И в какой форме! Он заявил, что, если я не выйду за него, мой отец никогда не получит какую-то древнеримскую монету, то ли первого века до нашей эры, то ли нашей, я уже не помню, у меня голова кругом...

— Подлец,— прошептал сквозь зубы Ипполит.

— А вы же понимаете, Ипатий, что для отца эти монеты значат!

Ипатий кивнул. Он нервничал.

В соседней комнате опять показались, замаячили отражения, затем материализовались в отца Лизы, и он, напевая, прошел обратно.

— И что же было дальше, Лиза? — спросил Ипатий, провожая старика холодным взглядом.

— Скиньте манишку, вы упарились,— нежно сказала Лиза.

Ипатий исполнил.

— Дальше...— продолжила она,— мало того, что этот скверный, низкий человек сделал мне подобное предложение, он еще сделал его при отце! Вы понимаете, с какой целью?..

— Да, да, конечно, чтобы...

— Вот именно... Все рассчитал... И когда я ему отказала, с отцом началась настоящая истерика. Это было что-то ужасное! Он так плакал и кричал, что я испугалась за него!.. Пришлось звать соседку снизу, Беллу Васильевну, чтобы она дала ему пощупать грудь — только так его можно в подобных случаях успокоить. Я отдала ей последние три рубля... А этот негодяй Нечипоренко стоит и улыбается. Я ему крикнула: «Никогда!» — а он мне говорит, что ничего, я не гордый, могу и подождать, а вам, то есть мне, все равно деваться некуда, мол, трешек не напасетесь своего папашу успокаивать... Ох, что-то совсем душно.— Лиза стянула с себя платье и осталась в красивой кружевной комбинации.

— Простите, Ипполит, сил нет,— извинилась она.

Ипполит кивнул и прижался лбом к ее прохладному плечу.

— А потом? — спросил он и оглянулся: за их спинами завопили, захлопали крыльями, спариваясь, голуби.

— Как было бы прекрасно, если б мы были голубями,— неслышно, одними губами прошептал Ипполит.

— А потом он сказал, что будет ждать моего согласия хоть всю жизнь и, пока не получит его, никуда отсюда не уйдет.

— Как это так? — воскликнул Ипполит и даже подскочил от возмущения.

— Да, представьте себе... Отец, конечно же, поддержал его в этих гнусных намерениях — он все надеется получить монету. Ну, а тот рад-радешенек, остался и никуда не думает уходить... Да он и сейчас здесь.

— Где?!

Лиза вытерла пот со лба и устало произнесла:

— Здесь. Под диваном. Сделайте что-нибудь, Ипатий, ведь сил же никаких нет...

Ипатий заглянул под диван: его каблук упирался в голову Нечипоренко. Тот лежал тихо, ничком.

— Хотите, я его прогоню? — спросил Ипатий; Лиза кивнула.

Он ухватился за напояженные волосы, накрутил их на

палец и потащил Нечипоренко из-под дивана. Тот извивался, постанывал и помогал себе руками. Извивался он при этом больше, чем нужно, словно хотел оскорбить Ипатия своими телодвижениями.

— Вот видите, Ипполит,— печально говорила Лиза,— он не дает мне жить... просто не дает! И где у таких людей совесть, честь, собственное достоинство?... Как вы думаете, Ипполит, этому виной плохое воспитание или гены?

Ипполит пожал плечами. Тем временем Нечипоренко быстро и весело приводил себя в порядок: громко хлопал по груди, ногам и бокам. Почистившись, встал напротив дивана и радостно закричал:

— А пораздевались-то, пораздевались! — Он хлопнул в ладоши и развел руки в стороны.— Вот вы и попались, дорогая Лизавета Михайловна! Все вашему папочке расскажу... Посмотрите-ка на них — он полуголый, она в одном белье... Все-е расскажу.

Лиза ойкнула и схватила забытое платье. Ипполит взял фрак.

— Вы мерзавец и скотина, товарищ Нечипоренко,— сказал он, одеваясь,— вы прекрасно знаете, что между мной и Лизаветой Михайловной ничего предосудительного не было, просто стало жарко.

— Не-ет, этого я не знаю, этого я не знаю,— запел тот.— Жарко... Знаем мы эти «жарко»! А отчего труха на меня сыпалась, а? «Жарко»! Понимаем, не маленькие...

— Какая труха?! О чем вы говорите? Как вам не стыдно! — возмутилась Лиза.

Нечипоренко ухмылялся и был, наоборот, невозмутим.

— Какая? Самая обыкновенная. Целый килограмм мне на голову высыпался, пока вам здесь было «жарко». Вот, полюбуйтесь!..

Он взъерошил волосы, и с них действительно полетела какая-то труха и опилки.

— Голову надо мыть чаще,— сказал Ипполит, презрительно щуря глаза.

Нечипоренко пропустил его слова мимо ушей и продолжал ухмыляться.

— И мне же еще должно быть стыдно!.. Как вам это нравится! Они тут, видишь ли, наразвратничали, а МНЕ должно быть стыдно! Нет, Лизавета Михайловна, вы решительно не знаете меры в своих непристойных похотливых устремлениях! Все вашему папочке так и выложу. Вот только причешусь и пойду. Пусть он знает, кто нужнее его дочери да и ему самому на старости лет — я или же вот этот хлюст, эта верста коломенская, эта сопля во фраке...

— Как вы смеете! — воскликнул Ипполит, вскакивая.

— Сидите, Ипатий, сидите,— Лиза взяла его за руку и усадила на место,— пусть идет. Во-первых, отец ему не поверит, а во-вторых, он только что ушел на работу, во вторую смену.

— Ничего, я к нему и на работу зайду,— сказал Нечипоренко. Он вытянул из заднего кармана расческу, продул ее и пошел причесываться в зеркальную комнату.

— Теперь вы видите, в какой я опасности? — тихо сказала Лиза Ипатию, когда они остались одни.

— Не отчаивайтесь,— так же тихо, но бодро произнес Ипатий,— что-нибудь придумаем...

— Ах, Ипполит,— вздохнула Лиза,— если б у вас была эта проклятая монета.

Нечипоренко, причесываясь, заглянул к ним в комнату.

— Не надейтесь, Лизавета Михайловна,— сказал он,— и посоветуйте своему дорогому хахалю, чтоб он тоже не надеялся. Я вас люблю безумно, как никого и никогда, и сделаю все, чтобы вы были обязательно моей. Я тут костями лягу, но своего добьюсь. Нечипоренко слов на ветер не бросает! А вашему длинному и тощему, сй-богу, было бы лучше убраться отсюда подобру-поздорову... Пусть поищет себе что-нибудь подходящее на стороне...

— Негодяй! — Ипполит ринулся к Нечипоренко. Тот ударил его в скулу. Ипполит медленно и неуклюже упал на спину. Нечипоренко спрятал расческу и ушел, посылая Лизе на ходу воздушный поцелуй.



Лиза бросилась к Ипполиту.

— Зачем вы, у него же разряд,— говорила она, помогая подняться.

Когда они сели на диван, Лиза заплакала.

— Как страшно, как страшно... Вы себе даже не представляете, Ипатий, как я боюсь, что он окажется прав!

Ипатий трогал взбухшую скулу, гладил Лизу по колену и пробовал успокоить:

— Все будет хорошо, не бойтесь...

Промокнув платком глаза, Лиза попросила:

— Отвлеките меня от этих мыслей, расскажите что-нибудь...

— Хотите, я расскажу вам про детство? — сразу же предложил Ипатий.

— Сделайте одолжение...

— Вы собирали когда-нибудь кизил?

— Кизил? — Лиза покачала головой.

— А я вот очень часто вспоминаю, как мы с мамой давно, давным-давно собирали кизил... Мы жили тогда на Северном Кавказе в маленькой, тихой станице. По утрам брали корзины — мать побольше, я поменьше — и подымались на гору, поросшую редким лесом и яблоневыми рощицами... и орешником. Орехи были еще неспелыми, молочными, горьковатыми, с мягкой кожурой, а кизил к тому времени был уже хорош и самые темные, мягкие ягоды были почти сладкими. Ах, Лиза, если бы вы знали, как это красиво: желтые плетеные корзины, доверху наполненные яркими ягодами! Как они перекатывались, играли на солнце, когда мы шли домой! А с горы бежал узенький ручей — чистый, холодный, выложенный по дну плоскими белыми камнями, и вода в нем была удивительно вкусная. Я однажды упал, перевернул в него полную корзину и собрать все назад не успел, а вода подхватила оставшиеся ягоды и понесла вниз. Представьте: зеленая трава, белый ручей в красных дрожащих точках и под горой в мареве лежит станица... И небо над нами чистое, в чистых облаках... Как мне иногда хочется туда! Вы меня понимаете, Лиза?

Лиза, глубоко задумавшись, медленно закивала.

— А вы любите вспоминать детство? — спросил Ипатий. Лиза кивнула.

— Я тоже очень люблю. Если бы не служба, которая отнимает так много времени, я бы сидел и вспоминал дни и ночи напролет. И ведь каждый раз всплывает что-нибудь новое, казалось бы, уже давно забытое: какой-то цвет или слабый запах... мелькнувший у самых глаз майский жук или взрослый собачий взгляд... Я, бывает, даже плачу, вспоминая, как хорошо было тогда. Часто, особенно часто по ночам, случается, наплывает вдруг на тебя воспоминание — такое яркое, звонкое, почти осязаемое, что кажется: вот-вот еще немного и сможешь окунуться, нырнуть в него и остаться там навсегда. — Ипатий улыбнулся своим мыслям, мечтательно завел глаза. — Удивительное ощущение... Даже замечаешь, как непроизвольно делаешь физические усилия... Это сродни ловле солнечных зайчиков: наверняка знаешь, что не поймашь, и все-таки ловишь, стараешься...

— Вот же придурок, прости господи! — не своим голосом произнесла Лиза, вытирая платком лицо.

Ипатий смолк и удивленно взглянул на нее.

— Простите, Ипполит, я вас, кажется, перебила, — спохватилась Лиза, — у меня все этот Нечипоренко из головы не выходит. Придут вечером с отцом пьяные, будут всю ночь в домино играть — ни заснуть, ни почитать... Знаете, что вчера заявил отец? Он сказал, что кормить меня больше не собирается, что я должна сама о себе подумать. Это он все для того делает, чтобы я побыстрее за Нечипоренко вышла, понимаете?

— А Нечипоренко хорошо зарабатывает? — спросил Ипполит.

— Да. Он часто работает проходчиком в метро, получает по триста рублей.

— Ничего, Лиза... Я вас не оставлю, положитесь на меня.

— Спасибо, Ипатий, вы всегда были настоящим другом.

Ипатий вздрогнул, поправил манжеты, прогладил ладонью на груди фрак, поднялся и встал напротив Лизы. Лицо его было розово и торжественно.

— Я хочу вам сказать, Лиза, — начал он деревянным от волнения голосом, — хочу сказать, что я вам не друг, то есть я не хочу вам быть другом...

Лиза глядела на него встревоженно, что-то предчувствуя.

— ...вернее, хочу быть не только другом, — продолжал Ипатий, понемногу овладевая собой. — Я сегодня шел к вам, точнее будет сказано — летел, для того, чтобы предложить вам свою руку и сердце, чтобы просить вас стать моей женой, я люблю вас, Лиза... Погодите! — попросил он, протянув руку, хотя Лиза ничего говорить не собиралась, а только села поудобнее. — Выслушайте меня, пожалуйста! Сейчас я решителен и красноречив, скоро это пройдет, и мне надо успеть. Я люблю вас, Лиза, и мне порой кажется, что я вам тоже безразличен... Не знаю, может быть, это ошибка, но если только это так, если мои предчувствия не обманывают меня, если я настолько счастливчик, что все это не фантазия, не игра воображения, а правда, если даже то, что вы чувствуете ко мне не любовь, а намек, склонность, безразличие — пусть только это, — то давайте соединимся, и я сделаю все, чтобы вы никогда не разочаровались... Нам надо соединиться, Лиза, да, я знаю, доказательством тому сотни бессонных ночей, тысячи дурацких вывихнутых дней, вся моя жизнь, наконец!... Я, наверное, говорю непонятно, путано, но вы постарайтесь меня понять...

Где-то совсем рядом на всю громкость включили радио, мужской голос лихо запел: «Кто может сравниться с Матильдой моей?» В комнату через окно влетела большая птица — альбатрос и заметалась в тесноте и полутьме. Ипатию пришлось перейти на крик, чтобы пересилить голос из радиоприемника: время от времени он обеими руками отпихивал налетавшую на него перепуганную птицу. Ветер играл занавесками; в мелькании света и тьмы Ипатию было очень трудно разглядеть настоящее выражение Лизиного лица: на

свету оно казалось скорбно-внимательным, а в тени — на-смешливым, и это мельтешение, быстрая смена выражений еще больше волновали и так не на шутку взволнованного, возбужденного своими речами и надеждами Ипатия.

— Посмотрите вокруг! — кричал он. — Как все нелепо и перепутано... и страшно! Даже пирожки начинены войной, и самый близкий вам человек — отец! — против вас, согласен обменять на какую-то дурацкую монету! Нельзя так жить, Лиза, невозможно! Я предлагаю вам руку, мы должны объединиться... Вы такая хрупкая, беззащитная, я тоже слаб, но у нас будет наша любовь, понимаете?! Она будет большой и тяжелой, она будет нашим якорем, мы уцепимся за него крепко-крепко, чтобы ничто на свете, никакая волна, никакая сила не смогла нас смыть и разнести в разные стороны! Вокруг все так губительно меняется и мелькает — одному с этим не справиться, ни за что не совладать!

Есть еще время — злейший враг одинокого человека... О, я хорошо изучил его повадки! Это самая капризная, самая коварная, самая подлая тварь на свете. И самая мстительная... Оно лжет, делает вид, что стоит или течет еле-еле, а потом больно и жестоко мстит за свой же обман! Но если мы будем вместе, мы наплюем на него и выбросим на помойку, мы посмеемся над ним! Мы перехитрим саму хитрость! Согласитесь, Лиза, и мы будем счастливы, умоляю вас, я так устал...

Ипатий последний раз с трудом оттолкнул альбатроса — тот упал за диван — и опустил руки. Стало совсем тихо.

Тишину нарушила Лиза. Она подозвала Ипатия и усадила его рядом.

— Почему вы не сказали этого раньше, Ипполит, зачем так долго молчали, мучили меня и себя? Я так ждала от вас этого признания, — сказала она.

— Так вы согласны?! — воскликнул Ипполит.

— Ну, конечно же, конечно, дурачок...

Ипполит сполз с дивана, обнял Лизины ноги и прижался щекой к коленям.

— А как же быть с монетой, Ипатьюшка? — ласково спросила Лиза. — Без нее это невозможно...

— Я достану ее, — отвечал Ипатий.

— Надо торопиться, отец ждать не будет...

— Я потороплюсь. Я дам объявление в газете, объезжу всех коллекционеров, я украду ее у Нечипоренко, я убью его, но завтра или послезавтра она будет здесь. Какая она из себя?

Лиза пожала плечами.

— Круглая. С каким-то императором... Вам тогда надо очень спешить, Ипполит...

Ипполит встал, встала Лиза, и они пошли к дверям.

— Сделайте что-нибудь, достаньте ее, заклинаю вас, — говорила Лиза.

— Я достану ее, — коротко отвечал Ипполит.

Уже у распахнутой двери она, попрощавшись, сказала:

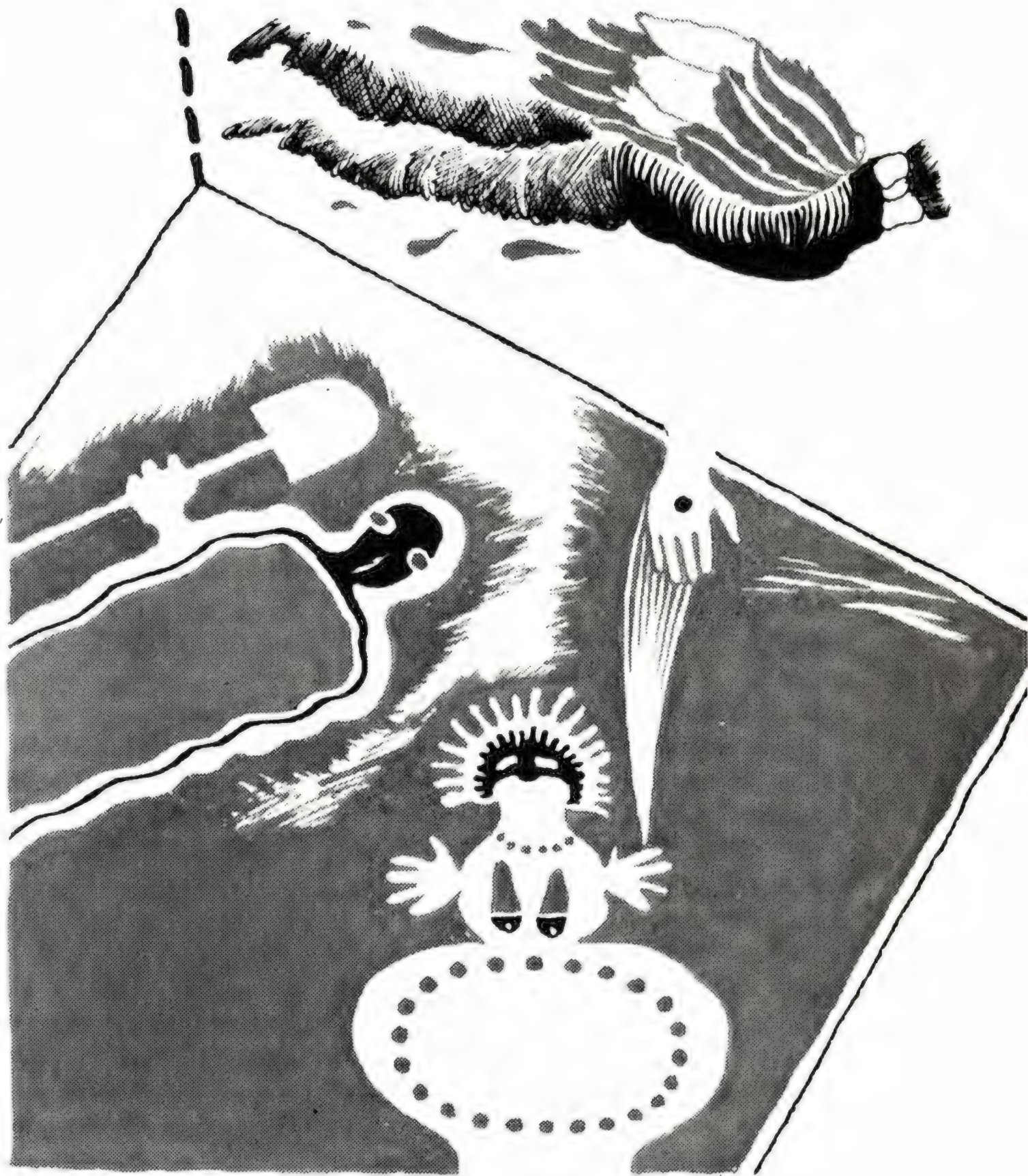
— И еще: Ипатий, дорогой мой, изложите, пожалуйста, поподробней на листке бумаги историю ваших интимных отношений с женщинами. Вступая в брак, я должна знать о вас все.

Ипатий кивнул и побежал вниз.

Вечером он поместил во все газеты объявления: «Срочно куплю за любую цену или выменяю на все что угодно древнеримскую монету... и т. д.»

Ничего в этот день больше не предприняв, он, вернувшись домой, весь вечер о чем-то грустно думал, выдувая свою тронутую неясной печалью радость в ренессансный гобой, и ничего придумать не мог.

Так наступила ночь — черная, безлунная и уж чересчур звездная и тихая. Ипатий лежал без сна и смотрел через отворенное окно на две яркие звезды. В темном пустом пространстве между этими светящимися точками обнаружилось несколько звезд поменьше и потусклее, незаметных с первого взгляда. Некоторое время спустя он различил затерявшиеся между ними совсем мелкие и слабые. Между теми еще мельче и слабее, потом совсем крохотные и,



наконец, такие, о которых скорее можно было догадаться, чем увидеть их на самом деле.

Ипатий утомился, моргнул и просто посмотрел в окно. Однако глаза еще были напряжены, зрение обострено, и вместо обычного ночного неба в звездах он увидел сплошное, сверкающее — где поярче, где поглуше — пространство без единого темного шва или зазора.

Постепенно взгляд остывал, утрачивал кратковременную фантастическую зоркость, и Ипатий, понаблюдав, как на светящейся, ограниченной прямоугольником окна плоскости проступают пятна и ручейки тьмы и, разрастаясь все шире, заполняют собой все небо, кроме негасимых точек звезд, тяжело вздохнул, закрыл глаза и повернулся на бок, лицом к стене.

Бессонница. Где-то под сердцем легко и свободно высокой травой качались предчувствия, но какие — плохие или хорошие, — Ипатий понять не мог.

Утром, когда уже совсем рассвело, он на несколько секунд окунулся в сон, и ему приснилась мать: подошла, склонилась, погладила по голове и сказала: «Ты есть умный и каро-ший мальшук. Не надо перешифайт, надо искать свой монет, ведь где-то он должен иметь место быть...»

И исчезла.

Ипатий встал, оделся и пошел искать монету.

Он нанес визит самому известному в городе коллекционеру. Сидел, спрашивал, выворачивал наизнанку кошелек, предлагал все имеющиеся в наличии деньги и обещал в случае чего еще столько же, но старик лишь тряс головой и на все вопросы твердил одно и то же: «Ничего определенного сказать не могу...» Два раза Ипатий становился на колени и целовал ему руку. После каждого поцелуя получал по кусочку колотого сахара. Наконец Ипатий понял, что даром тратит время.

— До свидания, — сказал он, направляясь к выходу.

— Ничего определенного сказать не могу... — ответил коллекционер.

Около двух часов проплутал Ипатий по узеньким окраинным улочкам города. Он внимательно смотрел под ноги, выискивая монету, почему-то связывая это занятие со

своим коротким сновидением; заходил во все полуразрушенные, приготовленные под снос дома, попадавшие по дороге, и долго, тщательно, шаг за шагом, в холодной, сырой полутьме осматривал их, заглядывая за плинтусы, шаря руками под сломанными половицами...

Солнце уже начинало пригревать в полную силу, когда Ипатий добрался до центральной улицы города. Он вышел на ту ее часть, в самом конце, где она круто поднималась вверх и откуда была видна вся, до самого моря.

На булыжной мостовой лежали три больших, каждый в два человеческих роста, грубо отесанных креста. Рядом темнели три ямы, вокруг которых были раскиданы булыжники и высохшая земля.

У бровки тротуара расположились одетые в какие-то лохмотья босоногие рабочие: один из них лежал, вытянувшись, на спине, закрываясь рукой от немилосердного солнца, остальные четверо играли на разостланной тряпке в кости.

Ипатий подошел к ним. Рабочие играли молча, лениво, подолгу тряся кружку. Ипатий несколько минут наблюдал за игрой, потом спросил:

— Ребята, а что здесь будет?

Ему не ответили. Тот, что сидел к нему спиной, выбросив кости, зачерпнул освободившейся кружкой воды из кожного ведра и вылил себе за шиворот; затем обернулся и показал Ипатию рукой, чтобы он отошел. Ипатий послушно попятился.

С каким удовольствием он и сам бы облился водой — жара, духота были нестерпимыми! Удивляло небо: оно было слишком уж синим и невиданно высоким, как будто взлетело насколько возможно и вот-вот готово упасть. Воздух — тяжелый, плотный — наполнился однотонным гулом, время от времени прерывающимся далеким глухим грохотом со стороны моря. И гул, и грохот постепенно как бы толчками наполняли сердце Ипатия неясной тревогой.

Спящий рабочий вздрогнул, пошевелился, потревожив лежавшую в ногах собаку, и захрипел.

У изголовья крестов, где в кучу были свалены кирки, лопаты, мотки веревок и прочие инструменты, остановился средних лет мужчина со свернутой газетой в руке. Ипатий направился к нему. Тот, нахмурившись, сосредоточенно вертел в пальцах длинный гвоздь.

— Кино, что ли, снимать собираются? — приветливо улыбаясь, обратился Ипатий.

Человек поднял голову, швырнул гвоздь под ноги (там лежало еще с два десятка таких же) и коротко пожал плечами.

Мысль о кино, едва вспыхнув, тотчас и погасла: оглядевшись, Ипатий не заметил ничего, что подтвердило бы его догадку, — вокруг было слишком пустынно.

— А может быть, скрытой камерой? — спросил он.

Мужчина неожиданно возмутился и с нескрываемым раздражением воскликнул:

— Послушайте, какого черта вы пристали?! «Кино»! «Скрытой камерой»! Я-то откуда знаю! Прицепился, как банный лист...

Хлопая по ноге газетой, он пошел прочь, не доходя до угла, остановился, обернулся и, прищурившись, некоторое время глядел куда-то мимо растерянного и смущенного Ипатия.

Проследив направление его взгляда, Ипатий увидел сквозь голубую дымку две огромные толпы по обеим сторонам мостовой, а между ними — группу людей в блестящих на солнце одеждах. Все это медленно, вязко, неотвратимо двигалось вверх.

Заметили и рабочие: вскочили, растолкали спящего и засуетились вокруг ям, собирая булыжники. Их возбуждение передалось Ипатию, и он устремился навстречу шествию; за сотню шагов остановился и занял место у перил, отгораживающих тротуар от мостовой.

Толпа приближалась. Ипатия все чаще и все сильнее толкали, наступали на ноги, пришлось крепко ухватиться за поручни.

Скоро показалось и само шествие — неспешное, молчали-

вое, растянувшееся по мостовой. Впереди шел барабанщик. Стучал он ловко, привычно не глядя на барабан, время от времени, не прерывая ни на мгновение частый сухой стук, бодался мокрым лбом в высоко поднятый локоть. Беспокойно и ослепительно сверкали на солнце его шлем, пряжки сандалий и золоченые части ножен короткого меча. Вторым следовал знаменосец с шестом, на верхушке которого качался узкий длинный флаг. Была совершеннейшая тишь, и, чтобы как-то оживить мертвовисящую тряпку, ему приходилось постоянно шестом размахивать. За ними шагом на конях проехали три всадника. Потом в две шеренги прошли воины с копьями на плечах. За воинами опять всадник, а уже за ним медленно катилась арба, которая везла трех человек с громоздкими колодками на ногах. Все трое были бледны, нечесаны и вели себя по-разному: первый лежал, запрокинув голову, словно пьяный или сильно побитый, а может быть, и вовсе мертвый; второй, в колющем венце, раскачиваясь вперед-назад, не переставая что-то шептал и утирал ладонью лицо; третий стоял во весь рост (чтобы удержаться, он то и дело опирался на плечо второго), плевался во все стороны, задирая лохмотья, показывал зад, и даже начал мочиться, стараясь достать толпу (толпа с шумом отпрянула, а он расхохотался).

Арба проехала, и за ней опять потянулись воины, всадники, какие-то люди, несколько женщин в черном и опять воины.

Гул и грохот все росли; барабанная дробь до сих пор висела в воздухе, хотя барабанщик давно исчез из виду.

Толпа, жадно следившая за шествием, перемигивалась, перешептывалась, пожимала плечами, испуганно переглядывалась и медленно заходила вперед. С громким скандальным карканьем с дерева на дерево перебирались вороны. Где-то впереди закричала женщина — вопль пронзительный и долгий.

От духоты Ипатию сделалось дурно, однако уйти не было никакой возможности. Дождавшись, когда толпа, перекатившись через него, ушла вперед, он попробовал привести себя в порядок. Одергивая помятые брюки, озабоченным взглядом уткнулся в лежавшую под бровкой монету. Сердце затрепетало и остановилось. Он поднес монету к лицу и увидел вычеканенный профиль кесаря.

— Та самая, — прошептал Ипатий и помчался к Лизе.

Ему долго не открывали. После каждого звонка он прижимался ухом к двери и старался услышать легкие Лизины шаги. Тишина, тишина... Наконец заскрипели половицы.

Дверь приоткрылась, незнакомый мужчина спросил:

— Вам кого?

— Я к Лизе!

Дверь отворилась пошире, и Ипатия пригласили войти.

— Лизок, к тебе гости! — крикнул мужчина, уходя по коридору.

Ипатий стоял в углу темной прихожей и, прижав кулак с монетой к груди, ждал. Монета жгла ладонь и грела разбушевавшееся сердце. Ипатий закрыл глаза; он был пьян и чувствовал, как с каждым мгновением все быстрее и быстрее несется в бездонную пропасть. В ушах стоял ровный гул.

— Вы ко мне? — услышал он и очнулся.

Перед ним стояла Лиза. Он почти не видел ее в темноте, но сразу узнал по запаху.

— Доброе утро, Лиза, — зашептал Ипатий. — Я принес вам то, что обещал... та самая... вот она, возьмите.

Нашупав Лизину ладонь, он хотел положить в нее монету, но Лиза отдернула руку и испуганно воскликнула:

— Что это? Кто вы такой?

— Это я, Ипатий... Вы меня не узнали? Здесь так темно... Я принес вам монету... древнеримскую...

— Монету?... — задумчиво переспросила Лиза. — Какую монету? Кому?

Ипатию вновь показалось, что он падает.

— Лиза, что вы? Вспомните, ведь только вчера, — заговорил он, — вашему отцу нужна была монета, помните? Я пообещал достать ее, а вы...

Лиза всплеснула руками.

— Так это вы, Пафнутий?! Бог ты мой, сколько лет, сколько зим! Сколько времени прошло!

— Один день, Лиза, всего лишь один день! Я прошу вас!.. — чуть не плача воскликнул Ипатий, кое о чем догадываясь.

— Да-да, как один день,— подтвердила Лиза.— Где же вы столько времени пропадали? Расскажите!.. — Она взяла его за руку и потянула за собой!.. — Идемте в комнату, чего мы стоим на пороге, идемте!..

Скрипнула дверь, они вошли, и, привыкнув к свету (ах, лучше бы не привыкать!), Ипатий увидел то, что предчувствовал и чего так боялся: Лизу — располневшую, изрядно попорченную временем, беременную.

Она усадила его на стул, сама опустилась на диван и, взяв с пола корзинку с вязаньем, сказала:

— Ну, рассказывайте, как вы жили все это время.

— Один день, одни сутки,— промямлил Ипатий,— один день!..

— Вы-таки достали свою монету? — спросила Лиза.— Сколько же это лет вы за ней гонялись?! — Она улыбнулась и покачала головой: — Сумасшедший вы народ, коллекционеры!.. По своему отцу знаю. Может быть, покажете?

Ипатий молча раскрыл одеревеневший кулак. Сухие, неузнаваемые и такие знакомые пальцы взяли с ладони монету.

В комнату вошел дородный, одетый по-домашнему мужчина — тот самый, что открыл Ипатию дверь.

— Знакомьтесь,— сказала Лиза и представила их друг другу,— мой муж Петр Петрович Нечипоренко, а это, Петенька,— Мефодий, старый друг нашей семьи, коллекционер, в некотором роде папин ученик. Я до сих пор помню, какие жаркие споры вы вели с моим отцом, просто настоящие баталии, хоть из дому беги!.. — с улыбкой обратилась она к Ипатию.— Что и говорить, вы, можно сказать, скрасили его последние дни, и я вам за это очень благодарна.

Ипатий мало что понимал; в мозгу безостановочно вертелось: «...все погребло, пропала жизнь!..»

Нечипоренко осторожно взял у жены монету и, внимательно разглядывая ее, покинул комнату.

— Но как прекрасно вы выглядите! — воскликнула Лиза.— Просто поразительно! Вы еще и помолодели как будто, честное слово! Ведь мы ровесники, не правда ли? Да нет, вы даже на пару лет меня старше! Удивительно! Расскажите, как вам это удастся, если!..

Ипатий, согнувшись, закрыл лицо руками и закачался на стуле.

— Что с вами? Вам плохо? — встревоженно спросила Лиза.

— Это все время, оно погубило меня! — застонал Ипатий.— Убило, господи!.. Неужели вы ничего не помните, Лиза? Вчерашнее утро, птицы, монета?..

Лиза глядела на него удивленно.

— Какое утро, какие птицы? Какой вы странный!.. Что с вами? Вам плохо?

— Неужели вы ничего не помните? — повторял Ипатий.

— Конечно, помню!.. Не все, разумеется!.. Не знаю, что вы имсете в виду!.. Я ведь уже говорила, что отец вас очень любил, уважал, как коллекционер коллекционера, ценил ваши знания, способности, не раз отмечал ваше трудолюбие, сметливость, рассказывал о вашей порядочности, честности, часто ставил в пример!..

Ипатий соскочил на колени перед Лизой, схватил ее кисть, прижал к щеке.

— Я на все согласен, Лиза: и на эту немолодую руку, и на этот страшный обман — только вспомните, Лиза, прошу вас, вспомните, вспомните, вспомните!.. давайте убежим, может быть, все ище паправицца!.. ведь если ни с того ни с сего, ни с сего ни с того может быть так, то значить можйт быть и обратно!.. Витето можит плыть!..

— Што с вами, Ираклий?! — испугалась Лиза.— Что с вами? Я не понюмая вас!..

Ипатий поднялся.

Зыбь, словно!.. нет, словно какая-то зыбь!.. да, все вокруг

точно подернулось зыбью, искажая!.. словно одна капля и все задрожало, поплыло, извиваясь, изгибаясь, искажаясь; потом еще одна, еще, еще, колибания чаще дрожь, чаще зыбь чаще, зыбью!..

— Прастити, Лисо,— сказал Ипатий.

— Чтой вы, шту во Паладий са фти ва праццапапычыть? Ву прохья, ка буте бребиидетя!

— Прупаститетиту, Найса,— пафтарийппатий.

— Дарр ануй вой-вобия стуй весом и цзвело! Вним про-маймогия фон луби!..

— Ойник! Ойник! Кеткхаа галиса дваку несляк овь мари-сип?! Чва? — заппругилья Ливонихия.

— Надгтоничал, скофинс зданисит!.. — вогпарасту йонисавья.

— Ойник, ойнью! Гидгакая лифна донючил! — форсикнъ ивастью.

— Фясна длестро нагиродан; квани шул си я бочис, нон хашери — ис — фон трабимий. Шантифонострофинилья.

— Данафтраклят!.. Данафтряклят!.. Свутада!!! — баскил о про, вытмкуил параджал.

Ипатий выскочил, помчался вниз.

Не сразу заметил, что двигаться с каждым шагом, с каждой ступенькой все труднее и труднее. Воздух вокруг (воздух ли?) уплотнялся, густел, затвердевал. Отчетливо чувствуя, как спотыкается сердце, как зрение теряет былую зоркость, как лоб покрывается испариной и седеет упавшая на глаза прядь волос, Ипатий сантиметр за сантиметром, из последних сил преодолевал отделявшее его от дверей подъезда жестокое пространство. В углу, возле почтовых ящиков, застыла с приподнятой метлой дворничиха; в наклонных лучах неподвижно висела пыль. Еще шажок. Еще. Медная ручка в ладони, так тяжело, так долго, и все на себя, на себя, полувекковое открывание двери!..

Оказавшись во дворе, он сделал несколько шагов и остановился; опершись на заведенную за спину палку, забывая об усталости, вновь принялся разглядывать окно в третьем этаже. Окно комнаты, где в один из таких же, как и сейчас, ярких весенних дней счастье для него было так возможно. Ипатий Ипполитович хорошо помнил, что был тогда четверг и звали ее Лиза. Остальное с годами блекло, стиралось, но по укрепившейся привычке он каждую весну, в назначенный день, появлялся здесь и не менее получаса ходил, смотрел, потирая пальцами лоб, а на обратном пути покупал бутылку недорогого вина. Зачем? Он и сам не знал. Может быть, для того, чтобы иметь что-то вроде праздника — день своего рождения он давно забыл, а на Новый год никогда не мог досидеть до двенадцати, засыпал.

Пора было идти, но Ипатий Ипполитович задержался еще на несколько минут: сердце подсказывало ему, что эта весна для него последняя.



Максимилиан Волошин
1919
Рокотобин

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН — НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932) — поэт, художник, критик, переводчик, мыслитель — одна из наиболее ярких и своеобразных творческих индивидуальностей, принадлежавших к плеяде русских символистов. Широко известен Волошин как художник-пейзажист, создавший многочисленными акварелями своего рода симфонию на темы Восточного Крыма. Критические очерки и статьи Волошина говорят о нем, как о проницательном и отзывчивом знатоке и ценителе искусства своего времени. Но наибольшего признания у современников Волошин добился как поэт. Едва ли не все, оценивавшие поэтические свершения Волошина предреволюционной поры, говорили о его утонченном мастерстве, безукоризненном вкусе, артистизме, культурной оснащенности, живописной выразительности и красочности.

Мировая война и революция существенно изменили тональность его поэтической палитры и тематику стихотворений: на первый план в творчестве Волошина выступает современность во всем ее трагизме и историческом величии.

До сих пор в поэтическом наследии Волошина наименее известной частью оставались его стихотворения, посвященные событиям революции и гражданской войны¹. Между тем именно в этих произведениях его поэтический голос обретает наибольшую мощь и выразительность. «Вернувшись весной 1917 года в Крым, — писал Волошин в автобиографии (1925), — я уже больше никогда не покидаю его: ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую, и все волны гражданской войны и смены правительств проходят над моей головой. Стих остается для меня единственной возможностью выражения мыслей о свершившемся, но в 1917 году я не смог написать ни одного стихотворения: дар речи мне возвращается только после Октября...»

В исторических событиях, происходивших у него на глазах, Волошин видел высший, провиденциальный смысл: гибель старой России он воспринимал как непереносимое условие возрождения новой, еще неизвестной родины («России нет — она себя сожгла. Но Славия воссветится из пепла!»). И поэтому он с твердой убежденностью писал своему другу А. М. Пешковскому в 1918 г.: «Не знаю,

примешь ли ты мой оптимизм: в смысле устройства земных дел я не вижу их улучшения в ближайшее время, но все происходящее мне кажется очень плодотворным в смысле исторического опыта: Россия так долго была лишена его многовековой государственной опекой, что ей необходимо наверстать упущенное. А оптимизм и оправдание действительности я считаю первым и единственным долгом по отношению к миру». Своего оптимизма Волошин не утрачивал и тогда, когда за эпохальными переменами и четкими политическими противостояниями видел разгул слепой разрушительной стихии, и тогда, когда осознавал, какими страшными испытаниями и последствиями оплачена эта «русская водоворот».

Взор Волошина прикован прежде всего к трагическим сторонам совершающегося. Поэт исполнен сострадания к гибнущим — безвинно осужденным жертвам кровавой и скоропалительной неразберихи «русской усобицы» (стихотворение «Бойня»). «...Здесь мы испытали все прелести гражданской войны со всем ее разнообразием,— пишет он в 1920 г.— Жестокости расправ с обеих сторон превосходят всякое вероятие и совершаются походя, как самая обычная вещь». События, факты, имена в стихотворениях Волошина — подлинные. Так, герой стихотворения «Большевик» — это Михаил Федорович Барсов, действительно работавший грузчиком в феодосийском порту, ставший первым советским комендантом Феодосии и расстрелянный белыми 28 марта 1919 г.

Не выдуман поэтом и персонаж, обрисованный в стихотворении «Матрос»: «взвихренная Русь» в переломную эпоху в изобилии выбрасывала на поверхность подобных «вершителей истории». Их подлинная суть, таившаяся под временными и наспех прилаженными маскарадными облачениями из лозунгов и политических доктрин, разоблачена Волошиным в эпиграфе, предпосланном одной из беловых рукописей стихотворения и, безусловно, документально достоверном (пoмeтa под эпиграфом: «Из разговора в 1919 году»): «Я своей супруге туалетов на десять тысяч сделал, потому что, когда революция кончится, нельзя же ей будет так показаться: мы ведь теперь новую буржуазию образовываем».

В 1919 г. Волошин писал своему двоюродному брату Я. А. Глову: «Какое страшное время, и какое счастье, что мы до него дожили». Эти слова могут во многом прояснить тональность мироощущения Волошина в переломные для России годы и раскрыть суть его нравственной позиции, сказавшейся в стихах о гражданской войне.

Замысел поэмы «Россия» возник в конце 1918 года. Волошин писал: «Мне надо еще очень многое сделать в той полосе, которая раскрылась для меня в этом году: еще надо много формулировать в русской истории. Мне намечаются, как ближайшие темы: Петр, Александр I...» В «творческой тетради» Волошина появляются первые наброски о «Петре-большевике» и об интеллигенции.

14 февраля 1924 г. Волошин сообщал В. В. Вересаеву: «Я за это время кончил свою поэму «Россия» (450 стихов), над которой работал 2 месяца, целыми днями, несмотря на холод и нетопленный дом. В ней все, что думалось о Петербургской России (с Петра до наших дней) и в виде лирических мотивов было даже отрывочно высказано раньше в небольших стихотворениях». Позже в заявлении в ЦЕКУБУ¹

¹ ЦЕКУБУ — Центральная комиссия улучшения быта ученых, созданная в 1921 г.

Волошин определил поэму так: «русское прошлое, выявленное современностью».

Несмотря на опасения поэта, поэму удалось напечатать в 1925 г. в альманахе «Недра», выходявшем под редакцией Н. С. Ангарского,— правда, с рядом купюр. «Провести ее стоило нам труда»,— писал Волошину сотрудник редакции «Недр» П. Н. Зайцев.

Отзывы критики были достаточно жесткими. В ленинградской «Красной газете»: «Поэма Волошина печатается впервые, и очень жаль, что вообще печатается. Ничего, кроме вреда, она принести не может». Тогда же в «Известиях» поэму назвали «холодными, чуждыми слепками»; в «Рабочем журнале», признавая, что «это вещь, прекрасно написанная, подлинно художественная в отдельных своих частях», отмечали в ней «сильный аромат сменовеховства, пильняковщины в стихах» и сомневались в ее «нужности и сборнику «Недра» и вообще любому изданию Советской России». «Есть в стихах Волошина не безликий и ясно слышимый «дух»,— заканчивал свой тенденциозный отзыв критик... (Эти, а также устные отзывы о поэме сильно обескуражили Ангарского, и он отказался от мысли издать стихи Волошина отдельной книгой)...

Разумеется, не все так думали, но иные мнения уже было непросто провести в печать.

К. И. Чуковский в письме к Волошину в 1924 г., подробно разбирая рукопись «России», заключал: «Не сомневаюсь, что эта поэма будет когда-нибудь известна каждому грамотному. Она хорошо врезывается в ум. В ней каждая строчка — формула». В наши дни, публикуя фрагменты из поэмы в антологии «Русская муза XX века» («Огонек», 1987, № 4), Е. Евтушенко, по сути, повторил: «Ряд его определений из поэмы «Россия»... может послужить философскими пособиями в изучении отечественной истории».

Поэма звучит исключительно актуально и в наши дни, в конце 80-х. В период исторического перелома самое время внимательно прислушаться к словам Волошина об исторической повторяемости и преемственности, о тягостном наследии веков рабства и деспотического произвола — наследии, которое не могло не сказаться на национальном самосознании и подсознании. «Россия» Волошина менее всего отвечает притязаниям новоявленных лжеславянофилов, готовых видеть в историческом прошлом лишь твердые и здоровые устои, сплошное благолепие и процветание. Образ родины у поэта крайне противоречив и строится из контрастов: высота и величие соседствуют с косностью и уродством, духовная красота и сила Пушкина, Герцена и Соловьева сплошь и рядом подавляются вездесущими смердяковыми и азефами. Свой горький суд над историей поэт вершит отнюдь не с осуждением или безразличием постороннего, он чувствует себя к ней причастным, готов нести за нее ответственность.

Еще в 1915 г., во время войны, будучи вдали от родины, он писал в одном из писем: «Судьба России лежит пеплом на всех мыслях. Думаю, молюсь». В другом письме, от 15 ноября 1919 г., читаем слова: «Внутренняя жизнь — это непрекращающаяся молитва о России». Веря, что «молитва — это заряд воли, который немедленно передается тому, за кого молимся», Волошин в последние годы жизни действительно постоянно и сострадательно думал о далеких и близких. И поэма «Россия» — это проникновенное, горячее слово о судьбе Родины.

Максимилиан ВОЛОШИН

Матрос

(1918)

Широколиц, скуласт, угрюм,
Голос осиплый, тяжкодум,
В кармане — браунинг и напильник,
Взгляд мутный, злой, как у дворняг,
Фуражка с лентой «Варяг»,
Сдвинутая на затылок.
Татуированный дракон
Под синей форменной рубашкой,
Браслеты, в перстне кабашон,
И красный бант с алмазной пряжкой.

Из цикла «УСОБИЦА»

При Керенском, как прочий флот,
Он был правительству оплот,
И Баткин был его оратор,
Его герой — Колчак. Когда ж
Весь черноморский экипаж
Сорвал приезжий агитатор,
Он стал большевиком, и сам
На мушку брал, да ставил к стенке,
Топил, устраивал застенки,
Ходил к Кавказским берегам
С «Пронзительным» и с «Фидониси»,
Ругал царя, грозил Алисе,
Входя на миноноске в порт,

Кидал небрежно через борт:
«Ну как? Буржуи ваши живы?»
Устроить был всегда непрочь
Варфоломеевскую ночь,
Громил дома, ища поживы,
Грабил награбленное, пил,
Швыряя керенки без счета,
И вместе с Саблиным топил
Последние остатки флота.

Так целый год прошел в бреду.
Теперь, вернувшись в Севастополь,
Он носит Красную Звезду
И, глядя в даль на пыльный тополь,
На Инкерманский известняк,
На мертвый флот, на красный флаг,
На илистые водоросли
Судов, лежащих на боку,
Угрюмо цедит земляку:
«Возьмем Париж... весь мир... а после
Передадимся Колчаку».

Коктебель. 14 июня 1919.

Большевик

(1918)

Памяти Барсова

Зверь зверем. С крученкой во рту.
За поясом два пистолета.
Был председателем «Совета»,
А раньше грузчиком в порту.

Когда матросы предлагали
Устроить к завтрашнему дню
Буржуев общую резню
И в город пушки направляли —

Всем обращавшимся к нему
Он заявлял спокойно волю:
— «Буржуй здесь мой, и никому
Чужим их резать не позволю».

Гроза прошла на этот раз:
В нем было чувство человечье —
Как стадо он буржуев пас:
Хранил, но стриг руно овечье.

Когда же вражеская рать
Сдавила юг в германских кольцах,
Он убежал. Потом опять
Вернулся в Крым при добровольцах.

Был арестован. Целый год
Сидел в тюрьме без обвиненья
И наскоро «внесен в расход»
За два часа до отступленья.

Коктебель. 25 августа 1919.

Бойня

(Феодосия, декабрь 1920)

Отчего, встречаясь, бледнеют люди
и не смеют друг другу глядеть в глаза?
Отчего у девушек в белых повязках
Восковые лица и круги у глаз?

Отчего под вечер пустеет город?
Для кого солдаты оцепляют путь?

Зачем с таким лязгом распахивают ворота?
Сегодня сколько? полтора? сто?

Куда их гонят вдоль черных улиц,
Ослепших окон, глухих дверей?
Как рвет и крутит восточный ветер,
И жжет и режет и бьет плетью!

Отчего за чумной по дороге к свалкам
Брошен скомканный кружевной платок?
Зачем уронен клочок бумаги?
Перчатка, нательный крестик, чулок?

Чье имя написано карандашом на камне?
Что нацарапано гвоздем на стене?
Чей голос грубо оборвал команду?
Почему так сразу стихли шаги?

Что хлестнуло во мраке так резко и четко?
Что делали торопливо и молча потом?
Зачем уходя затаили песню?
Кто стонал так долго, а после стих?
Чье ухо вслушивалось в шорох ночи?
Кто бежал, оставляя кровавый след?
Кто стучался и бился в ворота и ставни?
Раскрылась ли чья-нибудь дверь перед ним?

Отчего перед рассветом к исходу ночи
Причитает ветер за карантинном:
— «Носят ведрами спелые грозды,
Валят ягоды в глубокий ров.

Ах, не грозды носят — юношей гонят
К черному точилу, давят вино,
Пулеметом дробят их кости и кольем
Протыкают яму до самого дна.

Уж до края полно давило кровью,
Зачервленели терновник и полынь кругом.
Прохватит морозом свежие грозды,
Зажелтеет плоть, заиндевеют волоса».

Кто у часовни Ильи-Пророка
На рассвете плачет, закрывая лицо?
Кого отгоняют прикладами солдаты:
— «Не реви — собакам собачья смерть!»

А она не уходит, а все плачет и плачет
И отвечает солдату, глядя в глаза:
— «Разве я плачу о тех, кто умер?
Плачу о тех, кому долго жить...»

Коктебель. 18 июля 1921.

Революция

Она мне грезилась в фригийском колпаке,
С багровым знаменем, пылающим в руке,
Среди взметенных толп, поющих Марсельезу,
Иль потрясающей на гребне баррикад
Косматым факелом под воющий набат,
Зовущий к пороху, свободе и железу.
В те дни я был влюблен в стеклянный отсвет глаз,
Вперенных в зарево кровавых окоемов,
В зарницы гневные, в раскаты дальних громов
И в жест трагический, и в хмель красивых фраз.
Тогда мне нравились подмостки гильотины
И вызов, брошенный гогочущей толпе,
И падающие с вершины исполины,
И карлик бронзовый на завитом столпе.

1924.

РОССИЯ

Поэма

1.
С Руси тянуло выстуженным ветром.
Над Карадагом сбились груды туч.
На берег опрокидывались волны
Нечастые и тяжкие. Во сне
Как тяжело больной вздыхало море,
Ворочаясь со стоном. Этой ночью
Со дна души вздувалось, нагрубало
Мучительно-бесформенное чувство —
Безмерное и смутное:

Россия...

Как будто бы во мне самом легла
Бескрайняя и тусклая равнина
Белесою лоснящаяся тьмой,
Остуженная жгучими ветрами.
В молчании вился морозный прах...
Ни выстрелов, ни зарев, ни пожаров.
Мерцали солью топи Сиваша,
Да камыши шуршали на Кубани,
Да стыл Кронштадт... Украина и Дон,
Урал, Сибирь и Польша — все молчало.
Лишь горький снег могилы заметал...
Но было так неизъяснимо томно,
Что старая всей пережитой кровью,
Усталая от ужаса душа
Все вынесла бы — только не молчанье.

2.

Я нес в себе — багровый, как гнойник,
Горячечный и триумфальный город,
Построенный на трупах, на костях
«Всея Руси» во мраке финских топей,
Со шпилями церквей и кораблей,
С застенками подводных казематов,
С водой стоячей, вправленной в гранит,
С дворцами цвета пламени и мяса,
С белесоватым мороком ночей,
С алтарным камнем финских чернобогов,
Растоптанным копытами коня,
И с озаренным лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра.

В болотной мгле клубились ключья марев,
Российских дел неизжитые сны:

Царь, пьяным делом, вздернувши на дыбу,
Допрашивает Стрешнева: «Скажи —
Твой сын я али нет?», а Стрешнев с дыбы:
«А черт ты знает, чей ты... много нас
У матушки-царицы переспало...»

В конклаве всешутейшего собора
На медведях, на свиньях, на козлах,
Здрав полы духовных облачений,
Царь, в чине протодьякона, ведет
По Петербургу машкерную одурь.

В кунсткамере хранится голова,
Как монстра, заспиртованного в банке,
Красавицы Марии Гамильтон...

В застенке Трубецкого рavelина
Пытает царь царевича и кровь
Засеченного льет по кнутовищу...

Стрелец в Москве у плахи говорит:
«Посторонись-ка, царь, — мое здесь место».
Народ уж знает свычан царей
И свой удел в строительстве империй.

Кровавый пар столбом стоит над Русью,
Топор Петра российский ломит бор
И вдаль ведет проспекты страшных просек,
Покамест сам великий дровосек
Не валится, удушенный рукою —
Водянки, иль предательства?.. Как знать!..
Но вздутая, таинственная маска
С лица усопшего хранит следы
Не то петли, а может быть подушки.

Зажатое в державном кулаке
Зверье Петра кидается на волю:
Царица из солдатских портомой,
Волк Меншиков, стервятник Ягужинский,
Лиса Толстой, кунница Остерман —
Клыками рвут российское наследство.

Петр написал коснеющей рукой:
«Отдайте все...» Судьба же дописала:
«...распутным бабам с хахалями их».

Елисавета с хохотом, без гнева
Развязному курьеру говорит:
«Не лапай, дуралей! Не про тебя-де
Печь топится»... А печи в те поры
Топились часто, истово и жарко
У цесаревен и императриц.
Российский двор стирает все различья
Блудилища, дворца и кабака.
Царицы коронуются на царство
По похоти гвардейских жеребцов.
Пять женщин распухают телесами
На целый век в длину и в ширину.
Россия задыхается под грудой
Распаренных грудей и животов.
Ее гноят в острогах и в походах
По Ладогам, да по Рогервикам,
Голландскому и прусскому манеру
Туземцев учат шкипер да капрал,
Голштинский лоск сержант наводит палкой,
Курляндский конюх тычет сапогом,
Тупейный мастер завивает души,
Народ цивилизуют под плетью
И обучают грамоте в застенке.

А в Петербурге крепость и дворец
Меняются жильцами, и кибитка
Кого-то мчит в Березов и в Пелым...

3.

Минует век. И мрачная фигура
Встает над Русью: форменный мундир,
Бескровные щетинистые губы,
Мясистый нос, солдатский узкий лоб.
И взгляд неизреченного бесстыдства
Пустых очей из-под припухших век.
У ног ее до самых бурых далей
Нагих равнин — казарменный фасад
И каланча: ни зверя, ни растенья...
Земля судилась и осуждена:
Все грешники записаны в солдаты.
Всяк холм понизился и стал, как плац.
А над землей солдатскою шинелью
Провис до крыш разбухший небосвод.
Таким он был написан Джорджем Доу —
Земли российской первый коммунист —
Граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Он вырос в смраде гатчинских казарм,
Его избрал, взрастил и всхолил Павел.
«Дружку любезному» вставлял клистир
Державный мистик тою же рукою,
Что иступила посох Кузьмича
И сокрушила волю Бонапарта.
Его посев взлелеял Николай,
Десятки лет удавьиными глазами
Медузивший засеченную Русь.

Раздерганный и полоумный Павел
Собой парадный открывает ряд
Штампованных солдатских автоматов,
Расписанных по прусским образцам
(Знак: «Made in Germany»; клеймо: Романов).
Царь козыряет, делает развод,
Глаза пред фронтом пялит растопыркою
И пишет на полях: «Быть по сему».

А между тем от голода, от мора,
От поражений, как и от побед,
Россию прет и вширь и вдаль — безмерно;
Ее сознание уходит в рост,
На мускулы, на поддержанье массы,
На крепкий тяж подпружных обручей.
Пять виселиц на Кройверкской куртине
Рифмуют на Семеновском плацу,
Волы в Тифлис волочат «Грибоеду»,
Отправленного на смерть в Тегеран;
Гроб Пушкина ссылают под конвоем
На розвальнях в опальный монастырь;
Над трупом Лермонтова царь: «Собаке —
Собачья смерть» — придворным говорит;
Промозглым утром бледный Достоевский
Горит свечой, всходя на эшафот...
И все тесней, все гуще этот список...

Закон самодержавия таков:

Чем царь добрей, тем больше льется крови.
А всех добрей был Николай Второй,
Зиявший непристойной пустотою
В сосредоточьи гения Петра.
Санкт-Петербург был скроен исполином,
Размах столицы стал не по плечу
Тому, кто стер блистательное имя.
Как медиум, опорожнив сосуд
Своей души, притягивает нежить, —
И пляшет стол, и шелкает стена —
Так хлынула вся бестолочь России
В пустой сквозняк последнего царя:
Желвак От-Цу, Ходынка и Цусима,
Филипп, Папюс, Гапонов ход, Азеф...
Тень Александра Третьего из гроба
Заезжий вызывает некромант;
Царице примеряют от бесплодия
В Сарове чудотворные штаны.
Она, как немка, честно верит в мощи,
В юродивых и в преданный народ...
И вот со дна самой народной гущи —
Из тех же недр, откуда Пугачев —
Рыжебородый с оморшным взглядом —

Идет Распутин в государев дом,
Чтоб честь двора, и церкви, и царицы
В грязь затоптать мужицким сапогом
И до низов ославить власть цареву.
И все хмельней, все круче чертогон...
В Юсуповском дворце, на Мойке — Старец
С отравленным пирожным в животе,
Простреленный, грозит убийце пальцем:
«Феликс, Феликс, царице все скажу...»

Раздутая войною до отказа,
Россия расседается, и год
Солдатчина гуляет на просторе...
И где-то на Урале, среди лесов,
Латышские солдаты и мадьяры
Расстреливают царскую семью
В сумятице поспешных отступлений:
Царевич на руках царя, одна
Из женщин мечется, подушкой прикрываясь,
Царица выпрямилась у стены...
Потом их жгут и зарывают пепел.
Все кончено. Петровский замкнут круг.

4.
Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и правам вопреки,
За сотни лет, к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опричь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле.
Не то мясник, а может быть ваятель —
Не в мраморе, а в мясе высекал
Он топором живую Галатею,
Кромсал ножом и шваркал лоскуты.
Строителю необходимо сручье:
Дворянство было первым Р.К.П.—
Опричниною, гвардией, жандармом,
И парником для ранних овощей.
Но, наскоро его стесавши, невод
Закинул Петр в морскую глубину.
Спустя сто лет иными рыбаками
На невский берег был вытаскен улов.
В Петрову мрежь попался разночинец,
Оторванный от родовых корней,
Отстоянный в архивах канцелярий —
Ручной Дантон, домашний Робеспьер,—
Бесценный клад для революций сверху.
Но просвещенных принцев испугал
Неутолимый разум гильотины.
Монархия извергла из себя
Дворянский цвет при Александре Первом,
А семя разночинцев при Втором.
Не в первый раз без толка расточали
Правители созревшие плоды:
Боярский сын, долбивший при Тишайшем
Вокабулы и вирши,— при Петре
Служил царю армейским интендантом.
Отправленный в Голландию Петром
Учиться навигации, вернувшись
Попал не в тон галантностям цариц.
Екатерининский вольтерианец
Свой праздный век в деревне пробрюзжал.
Ученики французских эмигрантов,
Детьми освобождавшие Париж,
Кончали жизнь на каторге в Сибири...
Так шиворот-навыворот текла
Из рода в род разладица правлений.
Но ныне рознь таила смысл иной:
Отвергнутый царями разночинец
Унес в себе рабочий пыл Петра
И утаенный пламень революций:
Книголюбивый новиковский дух,
Горячку и озноб Виссариона.

От их корней пошел интеллигент.
Его мы помним слабым и гонимым,
В измятой шляпе, в сношенном пальто,
Сутулым, бледным, с рваною бородкой,
Страдающей улыбкой и в пенсне,
Прекраснодушным, честным, мягкотелым,
Оттиснутым, как точный негатив
По профилю самодержавья: шишка,

Где у того кулак, где штык — дыра,
На месте утвержденья — отрицанье,
Иден, чувства — все наоборот,
Все «под углом гражданского протеста».
Он верил в божие небытие,
В прогресс и в конституцию, в науку,
Он утверждал (свидетель — Соловьев),
Что «человек рожден от обезьяны,
А потому — нет большия любви,
Как положить свою за ближних душу».

Он был с рожденья отдан под надзор,
Посажен в крепость, заперт в Шлиссельбурге,
Судим, ссылаем, вешан и казним,
На каторге — по Ленам да по Карам...
Почти сто лет он проносил в себе —
В сухой мякине — искру Прометея,
Собой вскормил и выносил огонь.

Но — пасынок, изгой самодержавья
И кровь кровей, и кость его костей —
Он вместе с ним в циклоне революций
Размыкан был, растоптан и сожжен...
Судьбы его печальней нет в России.
И нам — вспоенным бурей этих лет —
Век не избыть в себе его обиды:
Гомункула, возвращенного Петром
Из плесени в реторте Петербурга.

5.
Все имена сменились на Руси.
(Политика — расклейка этикеток,
Назначенных, чтоб утаить состав),
Но выверты мышления все те же:
Мы говорим: «Коммуна на земле
Немыслима вне роста капитала,
Индустрии и классовой борьбы,
Поэтому не Запад, а Россия
Начнет собою мировой пожар».

До Мартобря (его предвидел Гоголь!)
В России не было ни буржуа,
Ни классового пролетариата...
Была земля, купцы, да голытьба,
Чиновники, дворяне, да крестьяне...
Да выли ветры, да орал сохой
Поля доисторический Микула...
Один поверил в то, что он буржуй,
Другой себя сознал, как пролетарий,
И началась кровавая игра...

На все нужна в России только вера:
Мы верили в двуперстие, в царя,
И в сон, и в чох, в распластанных лягушек,
В матерьялизм и в Интернационал.
Позитивист ощупывал руками
Не вещество, а тень своей мечты;
Мы бредили, переломав машины,
Об электрификации; среди
Стрельбы и голода — о социальном рае
И ели человечью колбасу.
Политика была для нас раденьем,
Наука — духоборчеством, марксизм —
Догматикой, партийность — аскетизмом.
Вся наша революция была —
Комком религиозной истерии:
В течение пятидесяти лет
Мы созерцали бедствия рабочих
На Западе с такою остротой,
Что приняли стигматы их распятий.
Все наши достижения в том, что мы
В бреду и в корчах создали вакцину
От социальных революций: Запад
Переживет их вновь, и не одну,
Но выживет, не расточив культуры.

Есть дух Истории — безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли,
Что направлял топор и мысль Петра,
Что вынудил мужицкую Россию
За три столетья сделать перегон
От берегов Ливонских до Аляски.
И тот же дух ведет большевиков
Исконными российскими путями.

Грядущее — извечный сон корней.
Во время революций водоверти
Со дна времен взмывают древний ил
И новизны рыгают стариною.

Мы не вольны в наследии отцов,
И вопреки бичам идеологий
Колеса вязнут в старой колее:
Неверы очищают православье
Гоненьями и вскрытием мощей.
Большевики отстраивают зданья
На цоколях разбитого Кремля,
Социалисты разлагают рати,
Чтоб год спустя опять собрать в кулак.
И белые, и красные Россию
Плечом к плечу взрывают, как волы,—
В одном ярме сохой междоусобья,
И вновь Москва сшивает лоскуты
Удельных царств, чтоб утвердить единство.
Истории потребен сгусток воли:
Партийность и программы — безразличны.

6.
В России революция была
Исконнейшим из прав самодержавья.
(Как ныне — в свой черед — утверждено
Самодержавье правом революций).

Крижанич жаловался до Петра:
«Великое народное несчастье
Есть неумеренность во власти: мы
Ни в чем не знаем меры да середины,
Все по краям да пропастям блуждаем,
И нет нигде такого безнарядья,
И власти нету более крутой»...

Мы углубили рознь противоречий
За двести лет, что прожили с Петра.
При добродушии русского народа,
При сказочном терпении мужика,—
Никто не делал более кровавой
И страшной революции, чем мы.
При всем упорстве Сергиевой веры
И Серафимовых молитв,— никто
С такой хулой не потрошил святыни,
Так страшно не кощунствовал, как мы.
При русских грамотах на благородство,
Как Пушкин, Тютчев, Герцен, Соловьев,—
Мы шли путем не их, а Смердякова —
Через Азефа, через Брестский мир.
В России нет сыновнего преемства,
И нет ответственности за отцов.
Мы нерадивы, мы нечистоплотны,

Невежественны и ущемлены.
На дне души мы презираем Запад,
Но мы оттуда в поисках богов
Выкрадываем Гегелей и Марксов,
Чтоб, взгромоздив на варварский Олимп,
Курить в их честь стираксою и серой
И головы рубить родным богам,
А год спустя — заморского болвана
Тащить к реке, привязанным к хвосту.

Зато в нас есть бродило духа — совесть
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских
И Иоанна Грозного... В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности,— рядом
С любым из европейцев — человек.

У нас в душе некошеные степи.
Вся наша непашь буйно заросла
Разрыв-травой, быльем да своевоьем.
Размахом мысли, дерзостью ума,
Паденьями и взлетами — Бакунин
Наш истый лик отобразил вполне.
В анархии — все творчество России:
Европа шла культурой огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огнию нужны машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя,—
Стальной нарез и маточник орудий.
Отсюда — тяж советских обручей
И тугоплавкость колб самодержавья.
Бакунину потребен Николай,
Как Петр — стрельцу, как Аввакуму — Никон.
Поэтому так непомерна Русь
И в своеволии, и в самодержавьи.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.

7.
И этой ночью с напряженных плеч
Глухого Киммерийского вулкана
Я вижу изневоленную Русь
В волокнах расходящегося дыма,
Просвеченную заревом лампад —
Молитвами горящих о России...
И чувствую безмерную вину
Всея Руси — пред всеми и пред каждым.

Коктебель. 6 февраля 1924.

Примечания

- Стрешнев Тихон — боярин из окружения Нарышкиных.
Гамильтон Мария Даниловна — фрейлина, любовница Петра, казненная им в 1719 г.
Пять виселиц — казнь декабристов 13 июля 1826 г.
Семеновский плац — по-видимому, имеется в виду возмущение Семеновского лейб-гвардии полка в 1820 г.
От-Цу, Отсу — город в Японии, где 23 апреля 1891 г. на Николая, тогда наследника престола, было совершено покушение.
Филипп — француз из Лиона, знахарь.
Папюс — французский оккультист. В 1905 г., в Царском Селе, вызывал дух Александра III.
«Тишайший» — царь Алексей Михайлович (1629—1676).
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — религиозный философ, поэт.
Меншиков Александр Данилович, Ягужинский Павел Иванович, Толстой Петр Андреевич, Остерман Андрей Иванович — государственные деятели, сподвижники Петра.
«Пять женщин». Имеется в виду правление Екатерины I (1725—1727), Анны Иоанновны (1730—1740), Анны Леопольдовны (1740—1741), Елизаветы Петровны (1741—1761), Екатерины II (1762—1796).
Рогервик — бухта в западной части Финского залива на Эстляндском побережье; в 1723 г. Петр заложил здесь крепость и порт.
Граф Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — генерал от артиллерии, временщик при дворах Павла I и Александра I, организа-

тор первых поселений, в которых жизнь крестьян строилась по армейскому образцу. Казарменный «коммунизм» Аракчеева имел в глазах Волошина черты сходства с «военным коммунизмом».

«Державный мистик» — Александр I.

Федор Кузьмич — таинственная личность, жившая в Сибири (умер в 1864-м), в котором подозревали Александра I, будто бы не умершего в 1825 г., а «удалившегося от мира» по обету.

«Мартобря 86 числа» датирована одна из записей в «Записках сумасшедшего» Н. Гоголя.

«Ели человечью колбасу». О случаях каннибализма во время голода 1921—1922 гг. (в Крыму, на Украине, в Поволжье) писали газеты.

Крижанич Юрий (ок. 1618—1683) — писатель, ученый, общественный деятель, хорват по национальности. В России жил в 1659—1676 гг.

Сергий Радонежский (ок. 1321—1391) — русский церковный и политический деятель, основатель Троицкого монастыря.

Серафим Саровский (1759—1833) — иеромонах Саровской пустыни (в Тамбовской губернии).

Брестский мир Волошин считал актом предательства по отношению к союзникам России в войне с Германией.

Стиракс — ароматическая смола.

*Вступительная статья,
подготовка текста, публикация
и комментарий З. ДАВЫДОВА, В. КУПЧЕНКО
и А. ЛАВРОВА.*

О ДУШЕ И ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ

— Дайте слово! — к вам обращаюсь я, Зарубин Владимир, рабочий — сборщик корпусов металлических конструкций. Люблю поэзию и буду говорить о ней, не страшась возможных упреков. Рискую поднять голову «выше сапога». Молчать больше не могу, ибо поэзия является важнейшим инструментом духовного воспитания человечества. Когда мы говорим о сегодняшнем снижении духовного уровня, из-за чего с нами происходят многие беды, то, вероятно, надо прежде всего говорить о том, какова духовная пища. В данном случае — поэзия. Духовность, в нашем, современном понимании этой человеческой сущности, стала исчезать из поэзии.

Читаю я крик А. Еременко из вашей «20-й комнаты», речи на пленуме правления Союза писателей в «Литературной газете» и не понимаю, что происходит. Тендряков натолкнул на мысль: происходит покушение на миражи. Обвиняется некто в духовном ограблении нашего народа. И никто не скажет, что этот Некто и Нечто есть я сам — поэт, пророк. Евтушенко пикируется с Грибачевым в «Огоньке». Мираж приобретает очертания, но нечеткие. В лице лауреата Сталинских премий, который, в свою очередь, миражирует «молодое поколение», вступает с ним в схватку, продолжая кричать: «Нет, мальчики!» «А был ли мальчик?» — спрашивает кто-то. Резонно. Но мальчик был. Он всегда есть. Еременко ведь не говорит, кто конкретно его держал двенадцать лет около литературы, «не пущая». Молодой поэт, обзывая себя гением (не явно, конечно!), тоже создает «миражи». Но как можно бороться с миражами?! Миражи возникают из ничего и пропадают в никуда. Как с ними бороться? Кто они, эти миражи? Надо сказать, что это те, кто числят себя поэтами, но таковыми не являются.

Наши культурные работники ужасно заботятся о нравственности молодежи, стараясь «не дать» ей развратиться. Тогда Вергилий нужно просто изъять из библиотек.

Попробую изложить свою версию того, каким образом наша высоконравственная советская поэзия способствовала падению нравов, а в более широком понимании, многих довела до полного опустошения в духовном плане. Заранее хочу оговориться, что Фрейд я не читал и, наверно, не придется — уже некогда.

Падение нравственности и духовное обнищание наступают тогда, когда народ отвращается от своих поэтов и перестает их читать. Наибольшая склонность к стихам, к поэзии вообще появляется у человека в юном возрасте. Все начинается с любви. Любовная лирика Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, не говоря о Есенине, — великолепна и находится на должном уровне по «высоте» и «чистоте». Но мы — второе поколение нашего духовного общества (первым, в своем измерении, я считаю всех, кто «до войны») — не имели возможности их читать. Есенин стал популярен, то есть доступен, в середине пятидесятых. До этого нас питали Смеляковым, Щипачевым. «Красивая девочка Лида...», если не ошибаюсь, и «Любовь — не вздохи на скамейке...». Симонов писал не для юных. Нам нужно было живое, современное. Я не думаю, что не было проникновенных, откровенных поэтов. Они, наверное, были, но они имели право опубликовать только эталонные чувства к «красивой девочке Лиде», из которой был создан мираж. Прекрасная Дама исчезла из русской советской поэзии, появился вульгарный образ передовой комсомолки, тоскующей о перевы-

полняющем нормы заводском пареньке с учебником диамата под мышкой. Эти образы подавались нам вплоть до пресловутого спора между «физиками» и «лириками». Сам этот спор был вызван утечкой поэзии из поэзии. В споре победили «физики», а среди поэтов наиболее талантливая троица, недавно помещенная на обложке журнала «Огонек» (Окуджаву я очень уважаю — он четвертый «лишний», особая «статья»). Победили Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Это надо признать всем. И до сих пор их книжек не отыщешь ни в магазинах, ни в библиотеках. Это очень талантливые поэты. Очень! В чем же дело! Это же пророки! Они отказались от своего предназначения. Среди поэтов они победили благодаря «физикам». Эти последние тоже нуждались в Слове, которое, как известно, вначале было у бога, а по сути само являлось богом. Нельзя жить без бога — без поэтического Слова. «Физики», похлопывая их по плечам, увели их в свои академгородки...

Всеобщая грамотность только тогда дает духовные всходы, когда человек сам это Слово в голове прокручивает, а не тогда, когда его прокричит через микрофон Муслим Магомаев. Ведь важно не только то, что сказано, но и кем это сказано — феномен Высоцкого и Окуджавы. Эти два поэта прямо в душу входят, один сиплый, другой хриплый и — полное очарование.

Исчезла Прекрасная Дама. В стихи вхаживает случайная женщина. И что удивительно: у Высоцкого и у Окуджавы эти Дамы есть. Они не равновелики — да и не надо одинаковых! — но они есть. Я почему-то уверен, что на одних «хулиганских» стихах Высоцкий не ворвался бы в нашу душу и не засел бы в ней навек, до нашей смерти. Эта его неимоверная тоска о большой любви и есть поэзия. Тишайший Окуджава тоже создал Образ Женщины высочайший. До слез. Но, может, я просто сентиментален. У остальных поэтов ее нет. Значит, нет любви. Если Дамы нет, кого любить? А любви нет, откуда взяться поэзии? А поэзии нет, какие чувства будут волновать душу читателя? Прагматизм. И это при больших талантах, при большой одаренности. И теперь они считают, кто и сколько премий получил! Да плевать я хотел на ваши премии. Народ вас прокормит. Получайте! Если вы только об этом и беспокоитесь, пророки.

Я не знаю, нужна ли нам хорошо развитая экономика, если у нас не будет любви. Но поэты радеют за производительность труда рабочего класса. Я, рабочий, хочу сказать вам, что если перестану вообще читать стихи, то работать я не буду, т. е. найду способ снизить производительность до нуля. Вот тогда вы запоете. Но будет уже поздно. Песенка будет спета. Среди десятка тысяч работников предприятия, где инженеров и служащих намного больше, чем рабочих, причем это «намного больше» имеет высшее образование, — я по пальцам могу пересчитать всех, кто читает, интересуется и знает по фамилии трех-четырех современных поэтов, за исключением лиц, все время позирующих камерам. Еременко в той шумливой статье грозился назвать десяток непрекрасных талантов. Где же таланты-то? Или редактор «Юности» опять зажал? Или их нет. Ну да, меня могут упрекнуть, что я не понимаю современной ассоциативной или метафорической поэзии. А чего я ее понимать должен? Больно надо. Она меня понимать должна.

В заключение хотелось бы еще сказать о «молодых» поэтах. Таких не бывает: молодых и старых. Над всеми довлеет прошлое. Молодые видели угнетение душ старых и невольно усваивали привычку к начальной мимикрии. Мы из ничего не растем — из прошлого и скорее всего из недавнего. Молодыми называются те, кто еще не полностью усвоил приемы приспособленчества — из него выпирает его голая правда и сглаживается неосознанным рабским чувством перед мэтром каким-нибудь. Когда молодой насобачивался писать, «ловко» скрывая свое состояние души, он переходил в разряд признанных. Теперь может случиться иное: молодежь попрет со своей голой правдой, доведенной до бешенства, забыв о главном: поэт — пророк вечного добра. За вами Слово, товарищи Поэты! Атомные реакторы ломать мы не станем, но давайте попробуем растить Душу, которая будет управлять этим реактором. Душа все-таки надежнее, чем любой компьютер.

Владимир ЗАРУБИН,
г. Феодосия.

От редакции

Публикуя это отнюдь не бесспорное письмо, мы приглашаем вас принять участие в читательском диалоге о поэзии, о «Душе и Прекрасной Даме».

Владимир ВОЙНОВИЧ:

«Я ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ЖИЛ НАДЕЖДОЙ...»



Литературный критик Бенедикт Сарнов побывал недавно в ФРГ, где по приглашению Кельнского университета читал лекции о советской литературе. Там он встретился с Владимиром Войновичем, который вот уже восемь лет как живет в маленьком немецком городке Штокдорфе, неподалеку от Мюнхена.

Владимир Войнович дебютировал в начале 60-х годов повестью «Мы здесь живем», опубликованной Твардовским в «Новом мире». Она была хорошо встречена читателями и критикой, и автор повести вскоре занял видное место в советской литературе тех лет. За первой книгой последовали другие: повести «Хочу быть честным» и «Два товарища», рассказы, повесть «Степень доверия» (о Вере Фигнер), публиковавшаяся в Политиздате в серии «Пламенные революционеры».

Но главная книга Войновича — роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» в те годы не могла быть у нас напечатана. Роман был опубликован на Западе. А некоторое время спустя там же, на Западе, оказался и автор «Чонкина». Скоро книги Войновича вернутся к советскому читателю. А пока предлагаем вашему вниманию запись беседы Бенедикта Сарнова с Владимиром Войновичем.

БЕНЕДИКТ САРНОВ. В позапрошлом году я был в Чехословакии и разговорился там с одной восемнадцатилетней жительницей Праги. В разговоре выяснилось, что она понятия не имела о том, что происходило на ее родине в 1968 году, хотя в то время к Чехословакии было приковано внимание всего мира. Не скрою, мне это показалось невероятным. Но, слегка поостыв, я подумал: а откуда, собственно, ей знать о событиях восемнадцатилетней давности, когда ей только-только стукнуло восемнадцать? Конечно, если бы на эту тему печатались какие-то статьи, очерки, книги, ситуация была бы иной. Но печать (очевидно, не только наша, но и чешская) в так называемые застойные времена предпочитала не касаться таких щекотливых тем.

С тех пор как вы покинули Родину, прошло почти восемь лет. Это значит, что в ту пору, когда вы были известным советским писателем, нынешние читатели «Юности» еще не ходили в школу. Немудрено, если они про вас ничего не знают. Поэтому начнем с самого начала: как вышло, что советский писатель Владимир Войнович стал эмигрантом?

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ. Ну, эмигрантом я могу назвать себя только с некоторой натяжкой. Эмигрантом обычно называют человека, который переселяется в другую страну по своей воле. Со мной это было не совсем так. Во времена, которые теперь называются застойными, меня за границу выпихивали примерно семь лет, а по другому счету — двенадцать.

— Я догадываюсь, откуда этот хронологический разнобой. Вы, вероятно, хотите сказать, что уже двенадцать лет назад начались те, выражаясь деликатно, неприятности, которые в конце концов вынудили вас уехать?

— Строго говоря, они начались еще раньше. Я разделяю оказываемое на меня давление на две стадии. Первая — с осени 1968 года по 1974-й, когда я был еще членом Союза писателей. И вторая стадия — с февраля 1974-го, когда меня исключили из СП, и до конца 1980-го, когда я покинул Советский Союз.

— Как я уже говорил, читателям нашим не только факты эти неизвестны, но даже обстановку тех лет, я думаю, трудно себе представить. Поэтому расскажите подробнее. Что было на первой стадии?

— На первой стадии было вот что. В 1968 году я попал в черный список так называемых «подписантов». В этот список были внесены все писатели, подписывавшие письма в защиту кого-либо. Тогда одним писателям поставили на вид, другим объявили выговор, а мне — строгий выговор. Но это было еще не все. Всех «подписантов» по крайней мере на время перестали печатать. А против меня почему-то были приняты еще более суровые меры. Меня не только не печатали, но прежние, уже напечатанные мои вещи (к тому времени одна книжка и несколько журнальных публикаций) изымались из библиотек. Были расторгнуты мои договоры с несколькими киностудиями и запрещены уже готовые и не вполне готовые киносценарии. У меня были две пьесы, написанные по моим собственным повестям, опубликованным раньше в «Новом мире»: «Хочу быть честным» и «Два товарища». Пьесы эти шли приблизительно в пятидесяти профессиональных театрах Советского Союза и в бесчисленном количестве народных театров. В одной только Москве «Два товарища» с неизменными аншлагами шли в Театре Советской Армии и в Театре имени Маяковского. А «Хочу быть честным» — в Театре имени Станиславского и в театре МГУ. Эти пьесы тоже были запрещены повсеместно.

— Как вам объясняли причину этих запретов?

— Мне объясняли очень просто. Говорили, что пьесы приносят мне много денег, а я своим поведением таких заработков не заслужил. Режиссерам, актерам и публике объясняли несколько иначе.

— Интересно! А как объясняли им?

— По-разному. В зависимости от географии. В Москве, например, труппе Центрального театра Советской Армии какой-то лектор сообщил, что я уличен в контрабанде: вывозил за границу бриллианты. Хотя за границу я не ездил, а о бриллиантах и сейчас имею весьма смутное представление. Подальше от Москвы объяснения были другие. Например, в Новосибирске разгром театра «Красный факел» начался после большой — два подвала — статьи Анатолия Иванова «На что тратите таланты?». Талантами автор называл актеров, а повесть «Два товарища», по которой была написана пьеса, называл идейно вредной, антисоциалистической и порнографической. (Интересно, как такая повесть могла пройти сквозь нашу бдительную тогдашнюю цензуру!) Но еще больший разгром был учинен в Смоленске. Там, как мне рассказывали, была разогнана чуть ли не вся труппа,

включая главного режиссера, режиссера-постановщика и исполнителей главных ролей. Я слышал, что критик, с похвалой отозвавшийся о спектакле, в конце концов вынужден был спастись от гнева смоленских властей в Калуге. То есть он туда переехал.

— Но потом, насколько я помню, все эти страсти утихомирились?

— Да. Но не успела затихнуть эта буря, как началась другая. В 60-х годах я писал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». На эту вещь у меня был договор с журналом «Новый мир», где предполагаемая публикация романа несколько раз объявлялась, и с киностудией «Мосфильм», для которой я написал сценарий. Первую часть романа я давал читать разным людям, и она, как тогда говорили, попала в «самиздат». То есть стала ходить по рукам. В 1969 году эта первая часть моего незаконченного романа каким-то образом попала в эмигрантский журнал «Грани» и была там опубликована. Разумеется, без моего ведома. Моим недоброжелателям это оказалось на руку. Мои пьесы, только-только кое-где воскресшие, были вновь запрещены. Мое имя вычеркивалось отовсюду. Даже песня «Четырнадцать минут до старта», написанная на мои слова О. Фельцманом, стала исполняться без слов. Мое материальное положение было ужасным. Без преувеличения. Я не мог прокормить не только семью, но и себя самого. Мне не давали никакой, даже самой «черной» литературной работы. Даже внутренних рецензий, которые в прежние трудные времена иногда меня выручали. Тогдашняя секретарь МГК по идеологии А. П. Шапошникова, очень не любившая все искусства, обещала уморить меня голодом и через разных людей постоянно передавала угрозу: «Скажите Войновичу, мы знаем, что он зарабатывает деньги под чужими фамилиями. Но мы и до этого доберемся».

— Все это, конечно, невесело. Но я думаю, что одни только материальные тяготы все же не вынудили бы вас уехать?

— Конечно. Но были не только материальные тяготы. После публикации первой части началась вакханалия в Союзе писателей. Меня больше года изматывали настоящими допросами с пристрастием и угрозами. От меня требовали публичного покаяния и признания, что я написал не часть романа, а законченную (законченность была нужна для законченного обвинения) антисоветскую и, что еще хуже (так говорили секретари СП), антинародную повесть. Я в этом не признавался (не признаюсь и сейчас). Меня вызывали и со мною беседовали разные секретари поврозь (С. Наровчатов, В. Ильин, Л. Карелин, А. Рекемчук) и все вместе. Меня пытались взять то лестью, то запугиванием, то расставляли разные ловушки. Вот, например, такую. Однажды пригласил меня к себе В. Ильин: «Приходите, надо кое о чем поговорить». Я понял, что поговорить с ним одним, как раньше, не застал у него в кабинете много народу. Я думал, они здесь случайно, но оказалось, что они все пришли меня прорабатывать, к чему я, конечно, не был готов. Мне была представлена комиссия, которой было поручено, как мне объяснили, выяснить, как и при каких обстоятельствах моя рукопись попала за границу. Я спросил: как комиссия выполнила поставленную перед нею задачу? В ответ услышал от председателя, что я, задавая вопросы, веду себя слишком нагло. Я должен не задавать вопросы, а отвечать на них. Дальше председатель сказал (цитирую дословно): «Как рукопись попала за границу — неважно. Для выяснения таких вопросов у нас есть специальная организация, и она с этим справится. Но если бы эта рукопись даже и не попала за границу, а была только написана и лежала в столе, если бы она была даже не написана, а лишь задумана, я и тогда просил бы компетентные органы наказать автора самым суровым образом».

После этого меня стал допрашивать член «комиссии» М. Брагин: «Я до сих пор о Войновиче никогда не слышал, и что он писал раньше, не знаю. Но я хочу выяснить...»

И стал задавать разные вопросы.

Когда я ответил на первый вопрос, он сказал: «Это ложь!»

Я предупредил его и всех, кто при этом присутствовал, что разговора в подобном тоне терпеть не буду. Брагин сначала успокоился, но после моего ответа на второй вопрос стал топтать ногами и кричать: «Это ложь! Это наглая ложь!»

После этого я ушел, хлопнув (буквально) дверью.

В протоколе заседания было записано: «Войнович искусственно создал конфликтную ситуацию и, воспользовавшись

ею, ушел. Только отсутствие кворума помешало секретариату исключить Войновича из Союза писателей».

Между прочим, о том, что это было заседание секретариата, я узнал только из протокола.

— Значит, в тот раз вас все-таки не исключили?

— Ни в тот раз, ни на следующем заседании секретариата. Следующее заседание состоялось в декабре 1970 года. Незадолго до этого, в ноябре, я написал журналу «Грани» протест, который был опубликован в «Литературной газете». Протест этот, правда, был напечатан с добавлениями, автором которых был В. Ильин. Так вот, следующий секретариат, учитывая мой протест, постановил «ограничиться» строгим выговором с последним предупреждением. При этом мое сочинение опять называлось законченным, антисоветским, антинародным и еще «так называемым произведением».

Я давно обо всем этом не вспоминал, а сейчас, как говорится, «нахлынуло», и трудно удержаться. Но, чтобы не пересказывать вам всю свою биографию, скажу, что это было только начало моих неприятностей. После моего исключения из СП (в 1974 году) моя жизнь стала попросту невыносимой. Меня лишали всякой работы, а следовательно, и куска хлеба. И одновременно меня же, живущего своим трудом с одиннадцати лет, обвиняли в тунеядстве. С того же времени началось и выпихивание меня из страны. Мне намекали (иногда слишком красноречиво), чтобы я «убирался, а то хуже будет». Я сопротивлялся до 1980 года, когда положение стало совсем уж беспросветным. Но и тогда я не эмигрировал. Я выехал на год в Германию по приглашению Баварской академии изящных искусств. А через полгода указом Л. Брежнева был лишен советского гражданства «за действия несовместимые», хотя никаких действий я вообще не совершал. Я был тогда слишком подавлен, чтобы заниматься какой-либо деятельностью.

— Я понимаю, что отъезд из родной страны на чужбину, да еще с сознанием, что, быть может, никогда не удастся вернуться назад, — это психологический шок чудовищной силы. А для писателя в особенности. Как скоро вам удалось оправиться от этого шока? Не в смысле привыкания к новым условиям существования, а применительно к вашей литературной работе?

— Приживался я с большим трудом. Первые три года почти ничего не писал, все это время ушло на адаптацию. Потом пришел в себя и стал писать много. За последние четыре года написал сотни мелких рассказов, статей, фельетонов, две пьесы («Трибунал» и «Фиктивный брак») и большой роман «Москва 2042». Это роман сатирический, роман-предупреждение о том, что будет, если нынешняя перестройка не удастся. Впрочем, начал я его писать, когда никакой перестройкой еще даже и не пахло.

Надо иметь в виду, что я сатирик. Сатирик отличается от писателей, работающих в иных жанрах, тем, что он концентрирует свое внимание на теневых сторонах жизни и негативных тенденциях. Он больше других заостряет существующие проблемы и даже доходит до крайностей. Без этого никакой сатиры быть не может.

— На вопрос, который я сейчас вам задам, можно ответить односложно. Но, принимая во внимание особый интерес, который мы все испытываем к этой теме, хотелось бы, чтобы вы не ограничивались коротким ответом. Как вы относитесь к переменам, происходящим сейчас в нашей стране?

— Положительно и с большой надеждой. Для меня эти перемены не были совсем неожиданными. Оказавшись на Западе, я много раз говорил публично, что после ухода с исторической сцены Брежнева и его команды в Советском Союзе неизбежно наступят серьезные перемены. И вот они наступили. Я встречаю многих своих соотечественников, которые говорят, что никаких гарантий необратимости этих перемен нет и начавшийся процесс можно остановить в любую минуту. А я в это не верю. Попытки остановить предпринимаются и будут предприниматься, но успеха не достигнуто. Гарантий нет, но процесс уже необратимый. К чему он приведет, неизвестно. Для того, чтобы он привел к положительным результатам, должен быть максимально использован творческий потенциал всего общества. Сторонники перестройки не должны сидеть сложа руки и не должны отталкивать от процесса тех, кто хочет ему способствовать, но оказался, вроде меня, вдали от родины.

Я говорю это не для того, чтобы кому-то понравиться, и не для достижения личных выгод. Если говорить о материальной стороне дела, то я лично и здесь живу неплохо. Но мне больно за нашу страну, за наш многострадальный народ. Я стремлюсь к оздоровлению советского общества и буду

стремиться к этому до конца своей жизни, где бы я ни находился.

Может быть, это не очень скромно, но я уверен, что мои книги могут и должны способствовать этому процессу. Тот барьер, который сейчас стоит между моими книгами и советскими читателями, — искусственный, да и не совсем глухой. У меня достаточно свидетельств того, что мои книги и сейчас доходят до многих читателей. Скажу еще более нескромно: я никогда не сомневался и сейчас не сомневаюсь, что мои книги рано или поздно будут опубликованы в Советском Союзе. Иначе я бы их и не писал. Но было бы лучше для дела (а не только для моего тщеславия), если бы они были включены в «культурный оборот» сейчас, когда они могут способствовать происходящему процессу, а не когда-то, когда они станут лишь одним из памятников отошедшей эпохи.

— Я думаю, что это произойдет не в отдаленном будущем, а в самое ближайшее время. Недавно Эльдар Рязанов объявил публично (в газете «Московские новости»), что намеревается ставить фильм по вашему роману «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Насколько мне известно, журнал «Юность» планирует опубликовать этот роман в самом начале будущего года. Думаю, вы возражать не будете?

— Я буду очень рад. Прежде всего, потому что «Юность» — один из самых популярных и любимых читателем советских журналов. А кроме того, я ведь начинал как автор «Юности». Ровно тридцать лет тому назад, в 1958 году, в «Юности» были напечатаны мои стихи. Как я теперь понимаю, довольно беспомощные. Но тогда это была для меня большая радость. И мне будет очень приятно, если мой «Чонкин» появится в том самом журнале, на страницах которого я начинал свой путь в литературе.

— Многие наши писатели и критики не раз высказывались в том смысле, что эмиграция — гибель для литератора, что вдали от родины писатель не может создать ничего ценного. Такие голоса раздаются даже сейчас. Вот, например, не так давно критик Олег Михайлов свою статью, предваряющую публикацию «Защиты Лукина» В. Набокова в журнале «Москва», так прямо и назвал: «Разрушение дара». Снова, уже в который раз, нам пытаются доказать, что эмиграция неизбежно обрекает художника на бесплодие. А между тем Ходасевич в эмиграции создал лучшую свою книгу — «Европейская ночь». Бунин в эмиграции написал «Жизнь Арсеньева». Я уж не говорю о том же Набокове, который родился как писатель в эмиграции. Хотелось бы знать, какова ваша точка зрения на эту проблему?

— У писателя за границей трудности специфические. Но не материальные. Трудность в ощущении отрыва от родного читателя. Трудная психологическая атмосфера. С одной стороны, доносятся злорадные надежды, что ты уже выдохся, что ты уже ничего не напишешь, что ты уже сидишь под мостом с протянутой рукой. (Скажу в скобках, что до жизни под мостом ни один из моих коллег еще не докатился.) Но и со стороны здешней публики недоверие.

Принятая повсеместно точка зрения, что писатель в отрыве от родины неизбежно иссякает и гложет, совершенно неправильна. Здесь она тоже очень распространена. Уже в первые дни на Западе меня спрашивали: «А что вы здесь написали?» Я говорил: «Ничего». Спрашивавшие сочувственно кивали головами: «Ну вот, видите...» Я говорил: «Но я же здесь всего только месяц (два, три)...»

При таком отношении чувствуешь себя как актер, который вышел на сцену, а публика заранее зеваает в предвкушении скуки. Но писатель должен преодолеть и это.

Вообще писателю мешает все: слишком плохие условия жизни и слишком хорошие, бедность и богатство, безвестность и слава. Все это — испытания, через которые одни проходят, другие нет. Эмиграция — тоже испытание, через которое трудно, но возможно пройти. В этом случае эмиграция, как и любые другие обстоятельства жизни писателя, может не обеднить, а обогатить его творчество. Однажды, еще в начале моей жизни на Западе, мне был задан такой вопрос: как я собираюсь жить в отрыве от родины — главного источника моего вдохновения. Я сказал: «Основной источник моего вдохновения — моя собственная жизнь, а она будет со мной до самой моей смерти. Сто процентов гарантии».

Конечно, жить вдали от родины, от привычных условий, от родных и друзей трудно. Трудно смириться с тем, что этот отрыв — навсегда. Я все эти годы жил надеждой, что этот барьер будет сломан. Увы, для меня до сих пор это только надежда. Правда, она растет.

17 мая 1988 г.

Критика

Давайте спокойно поговорим о «спорной» поэзии, выслушаем разные точки зрения, поспорим наконец с П. Гореловым, который прошлым летом обозвал ее «очередной глупостью», а теперь, потратив целый год на раздумья, сообщил: «Меня часто спрашивают, почему я не хочу выступать с серьезным разбором этой молодой «ветки» современного версификаторства... Отвечу: чтобы не вдумываться в очевидную глупость... Я просто квалифицировал: очевидная глупость...» (журнал «Москва» № 6, 1988 г.). Да, на таком уровне доказательств и критического мышления выступать и в самом деле не стоит.

Вместе с тем интерес к «Испытательному стенду», о чем свидетельствуют наши встречи с читателями и наша почта, весьма велик. Сегодня мы предоставляем слово молодым критикам К. Степаняну и М. Пророкову.

Карен СТЕПАНЯН

ГАРМОНИЯ ИЛИ ХАОС?

Первое чувство, испытанное мной в начале работы над этой статьей, — радость. Годами мы спорили об экспериментальной литературе зарубежных стран, анализировали ее тенденции, выясняли истоки и намечали перспективы... А рядом жила и развивалась наша собственная экспериментальная литература, которой просто не могло у нас не быть, ведь есть закономерности в развитии общественной жизни и литературного процесса, и их отменить нельзя; она требовала к себе внимания, будучи в чем-то схожей с зарубежными образцами, а в чем-то весьма отличной. Сейчас наконец-то появилась возможность читать ее не только в рукописях и вести о ней профессиональный разговор на газетных и журнальных страницах.

Раньше всех такой возможностью воспользовались, впрочем, решительные противники этой поэзии. «Эклектика», «сумбурная мешанина стиля», «бессвязно-отрывочное конструирование стихоподобных структур», «разрушение красоты», «пошлость», «стихоподобный паноптикум». Соорудив такую башенку из ругательных пассажей, Ст. Золотцев («Литературная Россия», 13 февраля 1987 г.) не потрудился заложить в ее основание ни одного мало-мальски серьезного аргумента, кроме одного: для обличаемых им поэтов «слово не живая плоть... а нечто вроде цифры на табло компьютера — нажал на кнопку, вспыхнула цифра... Но поэзия сложней любых ЭВМ». Отношение этих поэтов к слову действительно составляет серьезную проблему, но Ст. Золотцев, побив «метаметафористов» своей **простой** метафорой с компьютером и добавив для верности еще нечто об «аллюзиях антинационального толка», счел задачу выполненной.

Другой критик, В. Васильев («Наш современник» № 8, 1986 г.), видимо, полагает, что церемониться со всей этой поэзией и ее авторами вообще не надо: «в области философии — субъективный идеализм... в истории — энергетический биологизм... в политике — космополитизм... в этике — гедонизм в форме неограниченного эгоизма; в эстетике — снобизм, декаданс, «салонная культура»; в общем и целом все это — «литература», возникшая на почве социального нигилизма, групповых интересов и отщепенства».

Читая такие раздраженные, полные огульных отрицаний и даже политических обвинений статьи, никак не мог согласиться с тем, что подобный уровень разговора способствует интересам дела.

В то же время выступления самих представителей нового направления — А. Еременко, В. Салимона, В. Коркия — в «Юности» и в «Литературной газете», где достаточно убедительно разоблачались консервативные порядки в нашем литературном деле и отстаивалось право на новаторство и эксперимент, не вызывали у меня возражений.

Но при всем при том, никак не могу отнести себя к поклонникам самой этой авангардной поэзии; соглашаясь с литературными установками ее авторов, не могу принять большинство результатов, к которым они приходят (в своих рассуждениях буду в основном опираться — за небольшим исключением — на те произведения, которые были представлены на «испытательных стендах» «Юности» в № 4 за 1987 год и в № 1 этого года). Признаю и допускаю любое право на эксперимент, но не могу назвать поэзией такие строки:

**Горизонтальная страна.
Определительные мимо.
Здесь вечно несоизмеримы
диагональ
и сторона.**

(А. Еременко)

или же такие, из стихотворения «Стеклянные башни» А. Парщикова, опубликованного в «Литературной газете»:

**с утра они шли по улице в беспорядке
стеклянные башни похожие на связанные
баранки...
подвешенные к пустоте...**

Такие стихи могут эмоционально переживаться только в том случае, если тебе предварительно раскроют «секрет» — о чем именно идет речь. Конечно, любое восприятие подлинной поэзии требует интеллектуальных усилий, и те, кто приводит в пример «понятного всем» Пушкина, тоже далеко не все в его стихах понимают. Но усилия сродни разгадке шарад и ребусов лежат за допустимыми пределами.

Если я прочту эти строки (и все стихотворение) несколько раз, то, может быть, и расшифрую все скрытые тут значения (хотя и не уверен, что правильно). Ну а потом мне надо будет прочесть его еще раз, уже чтобы насладиться им как поэтическим созданием? С высшей математикой сравнивают эту поэзию некоторые из ее авторов: нельзя лишать такую математику права на существование, хотя большинству людей достаточно таблицы умножения. Но тогда, выходит, большинство людей должно оставаться вне действительно современной, выражающей сегодняшнее состояние человечества поэзии, обходясь лишь стихами тех поэтов, кто не является столь «передовым» и, значит, пишет попроще?

Экспериментальная поэзия — всегда свидетельство и результат некоего кризиса: кризиса в литературе как отражения общественного кризиса. По-разному называют себя те поэты, о которых здесь идет речь, — «дети скучных лет России» (Н. Искренко), «граждане ночи» (И. Жданов). Ясно одно: корни их в том времени, которое мы теперь именуем годами застоя.

Ст. Золотцев упрекает поэтов-эксперименталистов в нежелании «постичь хотя бы азы гармонии стиха», демонстрируя тем самым собственное нежелание понять, что речь идет о сознательном отказе от **прежней** гармонии. Отказе вследствие девальвации этой гармонии в окружающем мире. Но всякое разрушение **прежней** гармонии **человеком** есть — в первоначале, в замысле, в желании хотя бы — создание, утверждение новой.

Да, именно поиск новой гармонии, нового единства мира, основанного на вновь открываемой, не замечавшейся прежде общности совершенно не схожих предметов и явлений (цветок — рана, море — свалка велосипедных рулей и т. п.), а тем самым — возвращение слову смысла, пусть неожиданного, — такова стратегическая цель экспериментальной поэзии, как утверждают ее теоретики (М. Эпштейн) или теоретики-практики (Н. Искренко). Но ведь подлинная гармония — не в каком бы то ни было наборе общих признаков двух предметов или предмета, явления и человека: хаос, состоящий из сходных предметов, продолжает оставаться хаосом. Всякая гармония — это именно порядок, а значит, иерархия.

«Но никакой такой иерархии нет и быть не может, — ответят мне. — Мир абсурден, именно это мы и обнаружим, всматриваясь в глубину бытия. Да и сам ход истории в течение всего XX века показал: мир движется к хаосу, хаос сидит внутри человека и постепенно подчиняет себе все, единство мира возможно установить только на уровне материальной общности или сходства представлений человека о том или ином предмете, явлении. Обнаружение скрытых прежде примеров подобного единства обновляет наше видение мира и составляет подлинное новаторство современной поэзии».

Однако эта находка, это открытие, будучи однажды найде-

но, открыто, может в дальнейшем только тиражироваться — более или менее талантливо: можно сопоставлять волны с велосипедными рулями, головки чеснока со скульптурными головками, арбузный сок — с зарей, вола — с римской когортой и т. п., — но никакого **движения** в этом больше не будет. Между тем именно движения, прорыва к каким-то новым истинам ждут от экспериментальной поэзии наиболее сочувствующие, вдумчивые и терпеливые ее почитатели.

Это отлично показала подборка читательских писем на первый «Испытательный стенд», опубликованная в № 10 «Юности» прошлого года. За вычетом восторженных и ругательных крайностей наиболее часто повторяющееся в этих письмах слово — «поиск». Читатели поддерживают поэтов главным образом за начатый ими смелый и активный поиск «смысла жизни и любви» (как несколько восторженно, но в принципе верно выразилась Ольга Семенова из Читы), поиск нового миропонимания. То состояние, в котором находится экспериментальная поэзия сейчас, — нынешняя стадия ее развития, — одобряется этими читателями как обещание открытий, необходимых для нашей духовной жизни в ближайшем будущем.

Итак, движение невозможно и в то же время необходимо. Здесь нет никакой трагической неразрешимости, если вспомнить простую истину: рождение новой гармонии начинается не с выстраивания новой иерархии, а с появления новой идеи.

Основным началом, преобразующим хаос в гармонию, наши мудрые предки, древние греки, считали Любовь. Любовь ко всему сущему, позволяющую увидеть стройную организацию целого, Природы, где все связано со всем и каждый с каждым — цепью взаимной зависимости и взаимной необходимости, а в идеале — взаимного сочувствия.

Возможно ли подобное в наше время? Думаю, что не только возможно, но и необходимо.

Очень важно, что в своих поисках экспериментальная поэзия делает первый шаг к этому — в тех случаях, когда от констатации внешних признаков сходства переходит к обнаружению духовной общности. Вот пример такого взаимодействия с самым, казалось бы, неодухотворенным объектом — камнем:

**...хлябь разверзлась,
и камни вскочили на ноги, чтоб
мне в зрачки заглянуть
и шепнуть кости моей: улови,
даже если не через живое,
приращенье любви.**

(А. Парщиков. «Медный купорос»)

К сожалению, многим создателям нынешней авангардной поэзии не хватает силы духа, чтобы ощутить и понять чувства других людей, других живых существ и предметов, принципы, на которых основано духовное единство мира. Отсюда — упор на собственные ощущения, которые становятся самоценными. «Кто там за дверьми, брат? Нет... Это я. Но все же ощущение братства. Ну как же, я и я — конечно, мы самые родные друг другу» (П. Кожевников, «Аттестат», сборник «Круг»). В результате стихотворение (или рассказ, как в данном случае) существует само по себе, а читатель сам по себе: происходит как бы игнорирование людей с **иным** внутренним миром и духовным опытом.

В № 7 «Юности» за прошлый год поэт В. Коркия опубликовал обширный (123 позиции) список обвинений и упреков, высказанных в адрес экспериментальной поэзии со страниц периодики за последние годы, предлагая всем последующим критикам уже не утруждать себя, а просто называть соответствующий номер. Список получился забавный, многие обвинения, помещенные в ряд, сами обнаруживают свою смехотворную пустоту. Многие, но не все. По совету В. Коркия, назову два номера: тридцать два и тридцать три. Речь идет об отсутствии «обостренной совестливости» и «ответственности перед читателем».

Подчеркиваю: говорю в данном случае о людях бесспорно талантливых, с которых многое требуется именно потому, что им многое дано (стремящиеся примазаться к моде халтурщики вообще, естественно, не в счет). Вот стихотворение И. Жданова «Ты, как силой прилива...». Яркое, впечатывающееся в душу начало:

**Ты, как силой прилива, из мертвых глубин
извлекающей рыбу,**

речью пойман своей, помещен в карантин,
совместивший паренье и дыбу.

Точный и емкий образ того драматического конфликта, который ежечасно приходится переживать самому И. Жданову и другим по-настоящему талантливым поэтам этого направления (да и не только им, и даже не только поэтам — вот что важно! вот что значит настоящий поэтический образ!). Но затем начинается нагромождение тем, смысловая мешанина, под конец автор и вовсе запутывается в собственной технике:

Оттого ли, что сталь прорастает ножом
и стеной обороны,
завернувшись внахлест двуязычным ужом,
словно плач похоронный,
ты, как рану, цветок вынимаешь из пут
недосчитанных кем-то минут.

С чем оставлен читатель, поначалу поверивший автору и пошедший за ним?

Крупнейший теоретик стиха Р. Якобсон писал, что и во времена Хлебникова, и во все другие времена в русской поэзии приток нового материала, свежих элементов языка был необходим для того, «чтобы иррациональные поэтические построения вновь радовали, вновь пугали, вновь задевали за живое» (из статьи «Новейшая русская поэзия»). Но именно к новому ощущению и пониманию жизни, к «новой радости» экспериментальная поэзия пробиться пока не может.

Согласен: бывают времена, малопригодные для творчества «новой радости» (большей частью они не совпадают с тяжелыми временами в общепринятом смысле слова). Когда «ложь изреченная есть мысль» (В. Коркия), когда жизнь являет собой «диалог резонера с шутком», а язык, первооснова духа, сведен к своду правил «Бархударова, Крючкова и компании», можно и возмутиться: «Разве это нам свыше дано!» (С. Гандлевский).

Но это — обывательское возмущение. Поэт всегда противостоит разрушительным тенденциям времени, и чем тяжелее условия поединка, тем почетнее победа. Надо узнать и утвердить то, что действительно дано нам свыше. Для нашего времени и с учетом тех условий, в которых формиро-

вались поэты данного поколения, это действительно, может быть, подвиг, сродни прометеевскому. Отказываться ли нам от него?

Стремление же переставить местами метафизические «верх» и «низ» («И в небо вкопанный стою и взглядом в землю прорастаю». — В. Коркия), растабуировать все и всяческие высокие понятия и идеалы — тоже понятное и плодотворное стремление в эпоху всеобщего лицемерного воздвижения ложных кумиров и повальной «табуизации». Но, начиная такую работу, надо представлять себе, во имя чего это делаешь, к чему хотел бы вывести читателя. Иначе, вырвавшись на свободу и начав сопоставлять все со всем, дух окончательно теряет балансы и ориентиры, становится в полном смысле слова неприкаянным.

Все, что до сих пор сделано экспериментальной поэзией — семантическое, образно-стилевое, звуковое новаторство, «метаметафоризм», «новая ирония» — будет оправдано и приобретет художественное качество только тогда, когда (и если) в творческом сознании авторов возобладает основная путеводная идея этой поэзии. Если эта идея — всеобщее единство предметов, явлений и человека в мире — поможет стряхнуть всю шелуху суетности, **игры** и, «пробив настоящее» (В. Хлебников), выведет экспериментальную (ныне) поэзию к тому мироощущению, что неизбежно восторжествует в скором времени. Это будет, повторяю, мироощущение того взаимного сочувствия людей и всего живого, которое только и сможет сохранить жизнь на Земле.

Но, возвращаясь к сегодняшним дням, скажу: каждому явлению в литературном процессе надо дать возможность максимально проявиться — только тогда оно сможет выявить все свои возможности и занять то место в истории культуры, которое заслуживает не по субъективной самооценке или оценке противников (столь же субъективной), а по своему реальному вкладу в духовный прогресс народа.

Я убежден, что необходимо продолжение изданий сборников типа «Круга» (только отбирать туда надо произведения действительно новаторские), почаще публиковать в «Юности» «Испытательные стенды», буду рад встретить в печати стихи А. Еременко, Ю. Арабова, Н. Искренко, И. Жданова и их единомышленников. Честность и талантливость большинства из них у меня сомнений не вызывают, а честный талант всегда услышит, почувствует боль и духовную жажду современников и необходимость откликнуться на нее.

Михаил ПРОРОКОВ

ГАРМОНИЯ, КАК ЭТО НИ СМЕШНО...

Не хочется придирается к словам. Не умея прямо ответить на поставленный вопрос, иные начинают выкручиваться: «Что вы имели в виду под тем-то? Как вы понимаете то-то? И вообще давайте сначала договоримся о терминах».

Это выглядит подчас довольно-таки бестактно. И все-таки давайте сначала договоримся о терминах. Когда К. Степанян с радостью сообщает читателям о существовании «нашей экспериментальной литературы», я никак не могу разделить его чувств: я не знаю, что такое «экспериментальная литература» (наша или не наша). Я также не могу отнести (или не отнести) себя к поклонникам «самой этой авангардной поэзии»: я не знаю, что такое «сама эта авангардная». Для меня это вопрос. И мне кажется, что сначала нужно в этом как-то разобраться, а потом уже причислять или не причислять себя к ее поклонникам.

Но чтобы начать разбираться, нужно иметь какой-то свой вариант ответа. Я готов его предложить: «экспериментальная литература» — это та литература, которая остается в черновиках. Та, которая выносятся на суд читателя — это уже не экспериментальная, а обычная, т. е. хорошая или плохая. В свою очередь, «авангардная поэзия» — та, которая идет впереди всей остальной поэзии, но не просто идет впереди: впереди шли в свое время и Белый, и Блок, и Хлебников, и Маяковский, особенно ранний, но мы же их всех не записываем в авангардисты. А вот просто футуристы

и друзья Маяковского по ЛЕФу, во многом бывшие его эпигонами, как-то ближе для нас ассоциируются с авангардом. Стало быть, этого критерия недостаточно.

Дело в том, что «авангард» в буквальном переводе означает «передовой отряд», и «авангардная поэзия» — это та, которая идет впереди с боями, эпатируя общественное мнение, не просто преодолевая, но во многом провоцируя противодействие, идет под аплодисменты приверженцев и раздраженное шиканье благовоспитанных поклонников традиции. Не так важно, что пишет авангардист, — важнее, как он себя ведет.

И тем не менее определенная разновидность литературы все же объективно создает у критики и у читателей впечатление некоей незавершенности (скорее, может быть, общекультурной, чем технической), недостаточной этической и эстетической ответственности автора за свое творение (см. №№ 32 и 33 «списка Коркия», цитируемые К. Степаняном). Форма ее раздражает, а содержание оставляет ощущение неудовлетворенности. Другими словами, разрушение прежней гармонии не «приводит к созданию и утверждению новой», а даже ведет как бы к торжеству некоего антигармонического начала.

Но есть ли смысл обвинять в этом всех «новых московских» (и не только, разумеется, московских) поэтов? Нет, конечно. Полемическое отношение к классической традиции не коснулось многих дебютантов 80-х; не коснулось оно и некоторых участников «стенда» в 4-м номере «Юности» за 1987 год: «Давно ль мы умудрились променять простосердечье, женскую любовь на эти пять похабных рифм: свекровь, кровь, бровь, морковь и вновь. И вновь поэт включает за полночь настольный свет, по комнате описывает круг. Тошнехонько и нужен верный друг. Таким была бы проза. Дай-то бог. На весь поселок брешет кабыздох. Поэт глядит в холодное окно. Гармония, как это ни смешно, есть **цель его, точнее, идеал**» (подчеркнуто мною. — М. П.). Это Сергей Гандлевский. Да, тот самый, который считает, что в русской поэзии существует обычай «с отвращением бить зеркала

ла», и сомневается в том, что «Бархударов, Крючков и компания» — это то, что нам дано свыше. Но недоверие ко всеведению школьных учебников еще не есть сотрясение основ русской национальной литературы. Да и сами русские поэты смирным нравом никогда не отличались.

В стихах Гандлевского и в стихах других членов группы «Московское время» (куда входят еще А. Сопровский, Г. Дашевский, В. Санчук и Д. Веденяпин) преобладают сдержанность, спокойная сосредоточенность. В них отсутствуют заведомые нарушения ритмической и метрической схемы стиха, резкие интонационные и смысловые контрасты.

Это во многом относится и к Евгению Бунимовичу. Хотя он поэт несколько иного склада — не столь замкнутый, не столь удаленный от суеты, более склонный к прямому декларативному высказыванию. Он, по словам А. Аронова, «работает как раз со штампом, с привычной, слежавшейся фразеологией». «Его слово, — продолжает критик, — при нас учится слышать самое себя. И результаты не столько обрадовать способны, сколько обнадежить. У него есть естественный, подсмотренный, а не разыгранный жест. Стихотворение держится не захлебывающейся собственной правотой, но достойной подлинностью». Следующие стихи Бунимовича, на мой взгляд, хорошо иллюстрируют эту емкую мысль:

**Замерзли Патриаршие пруды.
Броня крепка — и брат идет на брата.
В сгущенье окружающей среды
взрывается учебная граната.**

**Готовятся потешные полки,
и пламя возгорается из искры...
Броня крепка, и танки наши быстры,
и что вас ждет, мои ученики...**

Можно ли не видеть, что стихи «метафориста» Жданова не придуманы, не «бессвязно сконструированы», а извлечены на свет тонкой поэтической интуицией?

Сложность Жданова — дань (за редким исключением) не моде или неумению сказать просто. Это дань тому косноязычию хаоса, из которого он черпает образы и, преодолевая который, доносит их до нас в их первозданном обличье. Он не чуждается простоты и ясности, и порою они даются ему.

В поэзии же Алексея Парщикова, мне кажется, более важна не природа образов, а природа связующих их отношений, не предмет, а функция предмета. Поэтическая строка перестает быть единичной, неповторимой, тяготеет к формуле:

**Корабль меньше сабли, сабля больше города,
все меньше, чем я,— куда там Свифт!
Кукольный полк. Трехчастный шаг. Отведи от них руку —
сражение спит.
Мир делится на человека, а умножается на остальное...**

Я бы здесь говорил не о гармонии, но и не о дисгармонии, а об алгебре. Можно, конечно, и о «ребусе», но «ребус» этот чересчур прост: каждый знак-символ имеет здесь определенную сумму значений, из которой можно уже выбирать наугад, не боясь ошибиться.

Посмотрим теперь на так называемую «ироническую поэзию». Это явление не столь простое, как это может показаться на первый взгляд. Нельзя, например, не согласиться с И. Роднянской (статья «Назад, к Орфею!», «Новый мир» № 3) в том, что «у молодого романтического поэта оказываются порой как бы два лица, трудно совместимые в одном «словесном портрете»: мечтательное и язвительное». Возражения вызывает лишь то, что вслед за этим критик ссылается на один «остров «черной романтики» в качестве носителей «язвительного лица» как И. Иртеньева и В. Степанцова, так и Ю. Арабова и А. Еременко. Делать этого, по-видимому, не стоит.

Что касается Александра Еременко, то в его стихах можно встретить и «чистый» метафоризм («электрический воздух завязан пустыми узлами»), и «чистую» иронию («Я мастер по ремонту крокодилов. Окончил соответствующий вуз»), но его метафора не переходит на уровень ждановско-парщиковской «метаморфозы», а его ирония не совмещается с серьезностью, не служит средством ее защиты. «Сгорая, спирт похож на пионерку, которая волнуется, когда перед костром, сгорая от стыда, завязывает галстук на примерку» — есть ли серьезность в этой иронии? Если есть, то какая? Может быть, «ироническая метафора» или «метафорическая ирония», но здесь напрочь отсутствует совмещение

двух планов — иронического, «язвительного» и лирически-серьезного, «мечтательного», романтического. Из романтического арсенала Еременко вообще берет только «бурю и натиск», бунт и протест, выраженные прямо, не нуждающиеся в иронической усмешке. «Люблю этих мыслей железобетон и эту глобальную архитектуру, которую можно лишь спяну или сдуру принять за ракету или за трон» — стоит ли придавать значение «фирменного знака» иронии этому «люблю», поставленному там, где легко читается «ненавижу»?

**В ней только животный болезненный страх
гнездится в гранитной химере размаха,
где, словно титана распахнутый пах,
дымится ущелье отвесного мрака.**

Еременко органично сочетает в себе все основные черты «новой поэзии». Но при этом мало подходит на роль «общего знаменателя». Да и нужен ли новому поколению такой знаменатель? Да, Бунимович писал: «Разве есть поэт, кроме Еремы...» Но они ведь и сами люди уже давно взрослые и не лишены дара речи. И нужна ли такая роль — роль выразителя общих мнений и чаяний — самому Еременко? Он уже ориентирован на полемику, на неприятие, для него это естественная среда обитания.

Возвращаясь к теме лица и маски, следует вспомнить еще об одном варианте их соотношения. Поэты-концептуалисты (Всеволод Некрасов, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн) обращают прицел иронии и на то, что говорится, и на того, кто говорит, и на самое иронию. Если все эти заряды «выстреливают» одновременно, то впечатление получается порою едва ли не жутковатое. У Д. Пригова:

**Вот таракан взмолился к Бао Даю:
За что я здесь невинный погибаю?
За что здесь Пригов как злодей?
И отвечает Бао Дай:
Так это я его внизу поставил,
А он меня вверху здесь поместил
Меж нами — молнии и сотрясения сил,
И гибнет все, а что живет — настанет
и ему свой конец.**

К этим стихам, пожалуй, вполне приложимы слова К. Степаняна о духе, который, «вырвавшись на свободу и начав сопоставлять все со всем», окончательно теряет балансы и ориентиры, «становится в полном смысле слова неприкаянным». Но вряд ли критик метил этими словами в концептуалистов, которых, к слову, никак не назовешь ни «новыми», ни «тридцатилетними». И как могут они (эти слова) претендовать на общезначимость, если даже среди «ириков» положение дел с «балансами» и «ориентирами», равно как и со «свободой» и «неприкаянностью», не менее, если не более, разнообразно, чем во всем спектре индивидуальностей какого-нибудь другого поэтического поколения?

Ситуация в поэзии по сравнению с относительно-таки спокойной картиной предыдущих десятилетий стала значительно более сложной и противоречивой. Гармонический принцип, «принцип тождества» утрачивает главенствующее положение. Во многом это естественный процесс литературного развития, в чем-то следствие политических изменений в нашем обществе, позволивших выйти на поверхность тому, что таилось под спудом не всегда даже в силу несоответствия «устоям» и «нормам», зачастую речь шла лишь о несогласии с примитивно понимаемой традицией. В результате этого в одно «поколение», в один пласт «дебютантов 80-х» оказались спрессованы люди, самые разные по возрасту, по жизненному опыту, по принципам поэтического творчества. Расслоение их легко предсказать, оно практически неизбежно: увеличится число публикаций, появятся сборники, и стройная картина «направлений» и «групп» смешается, из группы останется хорошо если один ее представитель, одно направление родит три или пять новых, другое не родит ничего. Может быть, не стоит торопиться с разговорами об общем стиле и свойственных всем без исключения свойствах? Может быть, пока предоставить слово самим поэтам? Дать им возможность публиковаться в группе единомышленников, а не в эклектической «сборной солянке», позволить самим составить первые коллективные сборники?

И тогда можно будет снова вернуться к разговору о хаосе и гармонии.

Юрий ВЛАСОВ: «СПРУТ, КОТОРЫЙ ОПЛЕЛ НАШ СПОРТ»



Это было в октябре 1964 года в Токио во время Олимпийских игр. Юрий Власов потерпел поражение от Леонида Жаботинского и уступил ему золотую медаль. Автору этих строк довелось там быть, и событие это свершилось на его глазах. А в Москве в это время состоялся Пленум ЦК КПСС, и японские газеты писали, что рухнули два самых сильных человека России — Хрущев и Власов.

Само собой, не для сравнения вспоминаю оба этих события, но вот каким в ту пору было имя выдающегося спортсмена. И вот сегодня я сижу в его квартире (прежде мы не были знакомы), пью прекрасно заваренный, сдобренный медом чай, и мы обсуждаем, насколько процесс демократизации, происходящий в нашем обществе, коснулся спорта.

Мой собеседник категоричен:

— С конца 40-х годов действует сталинское постановление, которое жестко перевело спорт на профессиональные рельсы: оплата спортсменам, деньги за рекорды... С того времени спорт, собственно, и начал свое движение к современному состоянию.

— Что вы имеете в виду под современным состоянием?

— Для начала давайте условимся о терминологии. Тот спорт, о котором главным образом пойдет речь и который сегодня только и существует, назовем большим спортом (если до конца честно, то профессиональным, но, как говорится, не станем дразнить гусей). Спорт, каким он зарождался изначально и каким должен был бы оставаться, в основном — народный спорт. И еще детский спорт — особая статья и особо важная. Так вот. Сегодня есть только большой спорт. Он начисто вытеснил (или поглотил?) спорт народный, полностью подчинил себе детский спорт. И к тому же функционирует не лучшим образом сам по себе, гния и разлагаясь внутри. То, что у нас якобы всеохватный народный спорт, 50—70 миллионов занимающихся, — все это дутые цифры. Идет, извините за резкое слово, огромная туфта, подлог, на деле никто здоровьем народа, его спортивным совершенствованием не занимается. Мы сейчас пишем и говорим, что у нас слабые, разболтанные, физически ничтожные люди. Разве это не так в действительности? Посмотрите на них на пляже, в бане... Стыдно и жутковато! На стадионе вы их просто не увидите.

— Легко говорить с ваших олимпийских высот...

— Ничего подобного! Уровень мастера спорта в принципе доступен любому человеку, если он, конечно, не ущербен физически. Под это норма и рассчитывается. Первый разряд или мастер — это вообще уже мощный человек, а дальнейшее движение зависит от одаренности, предрасположенности. Раз уж зашел разговор обо мне... У меня есть определенная предрасположенность...

— Вы проследиваете это в своих поколениях?

— А как же! У меня мать очень сильной была. Она в шестьдесят лет небрежно поднимала 50—60 килограммов. Причем сохраняла женскую красоту и привлекательность. Нужно генетически иметь определенные мышцы. Дала природа или не дала... Но самая главная одаренность — внутренняя, во взаимодействии ваших органов, то есть способ-

ность переваривать всю систему нагрузок, химически перерабатывать продукты распада. Тогда вы сможете очень быстро, буквально в считанные часы восстанавливаться. Отсюда лежит дорога к высшим достижениям. Сила зависит от времени тренировки. А вы выигрываете время, идете впереди всех. Время для вас как бы прессуется. Поэтому, например, мне удалось за пять лет добиться таких результатов, для каких в обычных условиях понадобилось бы двадцать пять лет. По-настоящему я начал заниматься штангой в 1954 году, а через три года уже побил всесоюзные рекорды. Но, повторяю, все это уже из области большого спорта (по нашей терминологии). А для спорта народного вполне достаточно нормы первого разряда или мастера. Но где, в каком зале, на каком стадионе, в каком бассейне обыкновенный, нормальный человек может этого достичь? Все поглотил спрут — так называемый большой спорт...

— Но вы тоже когда-то принадлежали к нему...

— Прозрение наступило очень скоро.

— В Токио?

— Раньше. С начала 60-х годов, когда вообще никто не смел об этом заикаться, я говорил: «Нам не нужен такой профессиональный спорт»... Помню, когда я принес свои первые рассказы Льву Кассилу — он считался патриархом нашей спортивной литературы, — то услышал: «Вам все равно никто не поверит». В обществе тогда очень крепко жило розовое и, стало быть, превратное представление о большом спорте.

— Только тогда?

— Тогда — особенно. Я расскажу, как развивались события, а вы судите сами. Это было в 1963 году. В ЦСКА проходило общее партийное собрание. Я выступил на нем против существующей системы организации большого спорта. Предложил всем чемпионам и рекордсменам клуба сделать совместное заявление в Центральный Комитет партии о том, что нынешний большой спорт — это, по сути, западная модель. С ее жестокостью, разлагающим воздействием на человека, со всеми издержками профессионализма. И что в таком виде это не имеет ничего общего с подлинно демократичным, народным спортом, которым большой спорт прикрывается. Собрание единогласно осудило меня за антипартийную вылазку. Встал вопрос, могу ли я вообще после этого оставаться... не в клубе, нет! — в партии...

— Так учат строптивых.

— Наверное, я плохой ученик. Потому что вскоре я выступил на совещании спортивного и комсомольского актива в ЦК ВЛКСМ. Говорил о том же. Тогдашний комсомольский вождь С. Павлов после моего выступления вообще закрыл совещание.

— Испугался?

— Ему лучше знать. А в 1965 году я выступил на пленуме ЦК комсомола. Не только против большого спорта, но и в защиту атлетизма, который к тому времени стал подвергаться жесточайшим гонениям, и прежде всего со стороны комсомольского руководства. После этого почти двадцать лет я много писал, но мало что удавалось напечатать. Но все равно, я горд тем, что начал первым писать и говорить об

этом. Потом стало приходить осознание. Уже с годами. С накоплением опыта. Особенно много дала полугодовая работа в качестве государственного чиновника — председателя Федерации тяжелой атлетики.

— Сейчас вы сложили эти полномочия.

— К великой радости всех, кому стоял поперек дороги. Да и к собственной тоже. Большой спорт стал большой индустрией. Системой, которая все больше стала замыкаться в себе, отгораживаться от внешнего мира. Он стал преднамеренно выводиться из сферы критики и круга интересов общества. Это было очень легко сделать, ибо общественность мало осведомлена о его жизни, а вот видимость этой осведомленности существовала. Как же?! Вы на трибунах, вы смотрите телевизор, вы делите триумф победителей, вас переполняет национальная гордость. А большому спорту это и нужно — увести вас в сторону, не дать заглянуть за кулисы. И он стал паразитировать, по сути, на народном здоровье, поглощая все, что действительно должно бы принадлежать народу, — и радость собственной победы и собственного участия в открытом и честном состязании, и радость ощущения собственного здорового и сильного тела, и средства, предназначенные на это... Людей, допущенных или приобщенных к большому спорту, это устраивает. Спортсменов — потому, что им платят за это определенные деньги. Функционеров от спорта — потому, что они не просто кормятся — безбедно живут за чемпионским столом. Идет жесточайшая отбраковка, человек рассматривается как всего лишь материал для добычи рекорда. Слабогрудые, астеники — все, кому действительно нужна физическая тренировка, безжалостно выкидываются: у них нет перспективы. А какой след это оставляет в душах людей, особенно подростков, какую травму наносит, быть может, на всю жизнь, — кого это волнует?

— И что же, вы один видели это, а больше никто?

— Этого не видит только слепой! Я имею в виду тех, кто допущен к большому спорту. Но стоит только поднять даже не голос — глаза, в которых вопрос или недоумение, или, хуже того, недовольство, — и ты будешь растоптан или смят. Способов для этого тьма. Та же стипендия. Один может получить вдвое больше другого. И зависит это не только от результата, но и от отношения руководства. Могут быть два перспективных спортсмена в той же штанге. Один получает все, другой — ничего. Найдется лицемерное объяснение: у нас, мол, только одна стипендия. По существу, это расправа: спортсмен был не согласен с тренером, или с кем-то из руководства, или с организацией сборов. Кстати, о сборах. Это два-три месяца бесплатной, предельно улучшенной жизни на юге... Больше того, вне сборов вы даже не сможете тренироваться по-настоящему: нужна обстановка, общий тонус. Это раньше можно было работать трактористом и выступать на соревнованиях. И показывать результаты. Теперь такого нет и быть не может. А рекорды? Еще один механизм экономического воздействия. Твердой таксы нет, а вилка огромная. Можете получить в сотнях, а можете в тысячах. Если, допустим, побит американский рекорд, он стоит дороже. Или многолетний. За превышение на полкилограмма — одна сумма, на два килограмма — другая. Вроде бы логично, дифференциация, но на деле — полный произвол и средство сведения счетов или подчинения. А поездки за границу?! У вас всего несколько лет спортивной жизни, а вас два года подряд не берут на международные соревнования. Берут другого, и вы знаете, кого и за что. И вся та сила, которую вы затратили, чтобы стать классным спортсменом, уходит впустую. Она не принесет вам ни ожидаемой славы, ни таких нужных вам средств. Но зато, если вы попали в обойму... За десять дней можно заработать как за 2—3 месяца (даже без рекордов). Привезли стереосистему, сдали в комиссионку — и вы в порядке. Это самый ничтожный пример. Но даже и не это самое отталкивающее. Что ждет большого спортсмена в будущем, вы знаете? Это там, на проклятом, как мы любим говорить, Западе, профессионал знает, во имя чего он гробит себя, ради чего рискует. Даже став инвалидом в результате перенапряжения, он, как правило, успевает заработать столько, что ему хватит магазинчик открыть, или бар, или массажную. Он или сразу рискует, или медленно копит деньги. У нас же — гроши! Когда он относит последний приз или оставленную для себя стереосистему, то остается в полном смысле ни с чем. Причем это применимо к высшей касте, так сказать, к элитной группе спортсменов. А что говорить о тех, кто занимает непризовые места... А они, между прочим, несут нагрузки не меньшие,

если даже не большие, чем первые номера.

— Но это все не про вас.

— Я вообще нетипичный случай. Может быть, потому мне несладко живется в спортивном мире. Дело в том, что литература всегда была для меня главным содержанием жизни, моим, если хотите, назначением. Во всяком случае, я сам так считал всегда. Я готовился к этой работе, я звал эту жизнь... А возьмите обычного спортсмена. Был — и нету! Пустота. Так важно не измельчать, не превратиться в подонка, а надо работать, видеть перспективу, надо уважение к себе сохранить. Если нет уважения вокруг, нет уже всеобщего поклонения, кто-то же должен уважать тебя, хоть ты сам! Даже обычный бытовой уклад жизни — испытание. В большом спорте ты был хозяином своего времени, целый день твой, только тренировки. А тут... Ты, казалось бы, заплатил огромный выкуп за право жить, как хочешь. Но не получается. А жизнь тебя все школит, школит... Многие не выдерживают, спиваются... Ты ревнуешь, завидуешь. Теперь уже всем — и тем, кто остался там, в большом спорте, и тем, кто нормально живет в обычной рядовой жизни. А как с таким грузом?..

— Выходит, тупик?

— В существующей системе — да. Потому-то ее и надо менять.

— За чем же, как говорится, дело?

— За самой малостью! Если бы то, что я называю в данном случае системой, была некая инженерная конструкция, пусть даже из сверхпрочного материала, особых проблем бы не было. Пригласить газорезчика... да в крайнем случае взорвать. Но система — это прежде всего люди. За многие годы сформировался гигантский чиновно-бюрократический аппарат — от госкомитета до самого низового районного звена. Аппарат, который поначалу должен был обслуживать спорт, а сегодня с помощью спорта обслуживает себя. Думаете, он легко сдаст свои позиции? Ведь теперь и ему достается все то, что добывает себе спортсмен. С той лишь разницей, что спортсмену дается это ценой нечеловеческих усилий, ценой потери здоровья, ценой унижений, а чиновнику от спорта — положением, которое он занимает. Поэтому аппарат заинтересован не только в том, чтобы все оставалось, как есть; он стремится усугубить сложившуюся в большом спорте ситуацию, ибо это сулит ему еще большие личные выгоды. К тому же стоят у руководства большим спортом на любом уровне люди часто некомпетентные.

— Вернее, это компетентность иного рода, больше отвечающая задачам и целям аппарата. Если, скажем, чисто спортивные цели подменены престижными, политическими, коммерческими, личными и так далее, соответственно подобрались и специалисты.

— Можно и так. А спортсмену, собственно, кто нужен? Тренер и один-два организатора. Весь аппарат! Но вы посмотрите, сколько кормится возле спорта туеядцев! Истинному специалисту среди них уже почти невозможно ужиться. Есть очень серьезный фактор, объективно работающий на эту систему. Большая текучесть спортивных кадров. Спортсмен приходит в большой спорт всего на несколько лет — это объективно. Ему не до окопной аппаратной войны. Ему надо работать. Таким образом, внизу все текуче, а наверху — неизменно. Получается тот самый парадокс, о котором я говорил: верх обслуживается низом, то есть бюрократия с помощью спорта обслуживает самое себя. Какой, скажите, молодой спортсмен, еще не сложившийся человек, пойдет на риск обострения? Да он еще не в состоянии во всем разобраться в свои-то 15—18 лет. А к тому времени, когда может прийти осознание, он либо уже выброшен из большого спорта и уже никто, либо настолько впитал психологию и мораль этой системы, что протестовать просто не захочет. Он уже прикидывает: куплю холодильник, машину, дачу, поменяю квартиру... А там звание, орден...

— Трудно сказать, каким нагрузкам подвергается спортсмен больше — физическим или моральным.

— Больше моральным. Потому что физические нагрузки приходят и уходят: потренировался — отдохнул — снова потренировался. Организм к тому же молодой, отходчивый. А вот моральный пресс давит постоянно. Надо! Надо! Иначе не будет того, не получишь этого... Удивляться ли, когда слышишь от рекордсмена: «Стану я за 300 рублей пупок рвать!?!» А чиновнику нужен именно такой, который будет рваться, хватать. Тогда будут рекорды. А раз так, то и ему, чиновнику, кое-что перепадет.

— Да... От народного спорта такие куски пирога, пожалуй, не урвать.

— Конечно. Почему у нас стали запрещать культуризм? Потому что он им невыгоден. А слова какие!.. Западная пропаганда, культ силы, жестокости... На деле же все просто: из культуризма нечего выжать. Как и из любого другого подлинно массового, народного спорта. Да, словами у нас умеют манипулировать... Когда я поднял голос за утверждение принципов красоты, то есть за пропаганду доступной всем системы упражнений, чего только не услышал... Оказалось, что я проповедник чуждой, буржуазной идеологии, открываю ей широкую дорогу, разоружаю наш народ. И все — аппарат. На всех, повторяю, уровнях. Они сидят десятилетиями — некоторых знаю еще с 50-х годов — и успешно душат эти виды спорта. Так практически ничего не изменилось по сей день. Мы и сейчас не можем напечатать в «Советском спорте» материалы по атлетической гимнастике, не позволяют «сверху». Иногда в журналах проскакивают какие-то комплексы упражнений, но украдкой, полутайно. Постоянной пропаганды нет. Нет даже информации, где, какие открываются залы. Сломать это невозможно...

— Юрий Петрович, вот вы ратуете за массовость, народность, за общедоступность спорта, а мне представляется, что тяги, любви к спорту, к физическому совершенству в наших людях, мягко говоря, маловато. Это как бы не является нашей национальной чертой.

— Вы глубоко заблуждаетесь. Прежде всего потому, что это не национальная, это общечеловеческая черта. Она есть у всех. Особенно, конечно, у молодежи. Это чувство органически присуще человеку, его не надо даже воспитывать. Другое дело, после 25—30 лет оно начинает гаснуть. И вот тут-то очень важно его поддержать. Пропаганда ведется, по телевидению в последнее время в особенности, но где тренироваться? А как бы надо? Чтобы, образно говоря, на каждом шагу, как раньше продавалась водка, как можно купить сигареты, вас встречал бы спорт. Не зрелище — ваш спорт! Нужно помнить: за вас природа работает от силы до 30 лет. Разрушение организма уже идет, но пока медленно, скрыто. Затем начинается упадок. После 45 лет — распад. Сурово, но правда. Значит, вы должны постоянно тренировать себя. Трудный это хлеб — молодость. И хлеб этот нужно растить и растить. Всю жизнь.

— Человеку, по-моему, просто необходимо ежедневно совершать хотя бы один поступок, которым он мог бы гордиться, пусть наедине с собой, для собственного самоуважения. Чем раньше поутру он его совершит, тем лучше будет себя чувствовать весь остальной день. Таким поступком может быть опять же тренировка, преодоление, ощущение пусть маленькй, но победы.

— Вы абсолютно правы! А для всего для этого нужно только одно. Спорт, спорт и спорт. То, чего начисто лишает людей здравствующая ныне система спорта.

— Так ли уж начисто?

— Считаете, сгущаю краски? Если бы это было так... Система, выстроенная, направляемая и укрепляемая аппаратом, активно развивает отнюдь не лучшие тенденции, пришедшие в большой спорт. Я имею в виду стимуляторы, а проще говоря — допинги. При нормальном, естественном развитии спорта наиболее сильные, талантливые постоянно поднимают потолок достижений. За ними начинают тянуться остальные, приводя в действие все новые возможности организма. Мы до конца не знаем этих границ, и потому спорт все время был в движении, в развитии, начиная с древнейших времен, и ему, во всяком случае в обозримом будущем, застой не грозит. Но истинно спортивные цели подменялись другими, не буду повторяться. Появились мощные экономические стимуляторы. А человеческое тело физиологически не готово к такому рывку. Но хочется, хочется... К тому же тебя не удерживают, наоборот, подгоняют (это делает система, аппарат). Как выдержать такую гонку? С помощью химических препаратов. Благодаря им, например, стало возможно тренироваться штангисту — страшно сказать! — два раза в день. Но ведь это не в природе человека. Препараты питают сердечную мышцу, ускоряют восстановительные и обменные процессы. Никакой одышки, вы мощно справляетесь с гигантским перенапряжением. Подключают допинг не постоянно — лишь в период самых больших нагрузок, но организм-то у вас один! А нервное напряжение? От него зависит весь облик спортсмена, его психическая устойчивость. Что ж, и на этот случай есть соответствующий препарат.

— Не ждет ли нас в конце концов горькая расплата?

— Это в основном витаминные препараты, своего рода топливо. Опасность подстерегает другая, я бы назвал ее

косвенной. Незаметно, как бы исподволь растут режимы, работа в которых становится опасной для жизни. Та же штанга. Кто, кроме самого спортсмена-тяжелоатлета, знает, что это такое? Какой кабинетный начальник может представить, что такое рекорд? Когда тебя как расплавленным металлом заливает. Всего! И мозг, и кости, и суставы. Достаточно чуть расслабиться — и позвонок полетит к черту! Сломалась схема движения — прощай, здоровье, а может, и жизнь... Поверьте, я не сгущаю, все это я пропустил через себя. Видел своими глазами. Допустил спортсмен ошибку — и вышла кость из сустава. Да просто не всегда удается увернуться от штанги! Я глубоко уверен, что наступит время, когда штанга будет мстить людям тяжелейшими травмами, вплоть до смерти. Если пойдут рекорды под и за 300 килограммов. Это время уже вот-вот подступает. А приближают его, вернее даже, делают его приход незаметным и обманчиво безопасным все те же стимуляторы. Спортсмен убеждается с их помощью: могу. И задает себе логичный вопрос: значит, смогу и больше? А система так и подхлестывает его, так и гонит... Посмотрите, как все извратилось. Здоровье оборачивается травматизмом, инвалидностью, а то и риском для жизни. Спорт — это уже не спор сильных, а борьба химических препаратов: у кого они лучше, тот и победитель. Рано или поздно, я знаю, люди скажут, они и сейчас уже говорят: зачем это все нужно? Но неужели для того, чтобы прийти к безусловному осознанию, необходимо накопить немалый и горький опыт? Мы включились в какую-то безумную, дикую гонку. Зачем? Во имя чего? Кого мы обманываем? Разве же могут действительно радовать победы, добытые такой ценой? Я понимаю: все зашло слишком далеко, уговорами и проповедями этот процесс не остановить. Но если мы когда-то не побоялись быть первыми в процессах куда более сложных и ответственных — я имею в виду социальные, исторические процессы, — неужели нам не достало бы смелости стать революционерами и здесь? Предположу фантастическое: мы открыто — и на самом деле! — отказываемся от допингования в спорте. Пусть будет меньше золотых медалей, меньше мировых рекордов (уверен, и это временно, наверстаем), но мы действительно могли бы совершить революцию в нынешнем большом спорте. Во имя его чистоты, на благо людей. Но мечты, мечты... На тот аппарат, что оплел сегодня наш спорт, я смотрю без оптимизма.

— В мае в Ашхабаде состоялся Всесоюзный фестиваль спортивных фильмов. Вы были председателем жюри. Впечатлений, которые вы вынесли, — в какой степени они согласуются со всем, что я от вас услышал?

— В беседе как-то не очень уместно цитировать документы, но здесь, я думаю, можно сделать исключение. Вот такой документ:

«ОБРАЩЕНИЕ

участников и гостей XI Всесоюзного фестиваля спортивных фильмов.

Мы, участники и гости XI Всесоюзного фестиваля спортивных фильмов, кинематографисты, журналисты, руководители спортивных и киноорганизаций, обращаемся к вам, спортсмены СССР, члены сборных команд страны, олимпийцы, выступить с призывом к спортсменам всего мира отказаться от применения всех видов допинга в спорте, привлечения детей к тренировкам и соревнованиям в большом спорте.

Мы предлагаем установить возрастные ограничения для выступления в спорте высших достижений. Эти акции позволят достичь на деле олимпийских идеалов Пьера де Кубертена — О спорт! Ты — человечность! О спорт! Ты — вдохновение! О спорт! Ты — мир!

Принято 19 мая 1988 г. на заключительном собрании участников и гостей фестиваля».

Все, что я говорил, говорю и буду говорить, как видите, ничуть не противоречит содержанию этого документа и, к сожалению, не устарело.

— А где теперь это Обращение?

— У вас в руках. И еще в редакциях ряда газет и на телевидении. Я дал вам его сегодня, 9 июня. Уже три недели, как оно существует. Но все молчат. Возможно, когда выйдет этот номер журнала, кто-то смелый его обнародует, но пока что гласность на наше Обращение не распространилась. Как вы думаете, почему?

— Может быть, вы слишком много хотите от Госкомспорта? Так сразу и перековаться? Обращение жесткое.

— Оно, извините, принималось в конце фестиваля. Когда четко определилась его линия, когда позиция жюри была

заявлена открыто и недвусмысленно. Назову только два фильма из тех, что стали лидерами фестиваля. Это «Тринадцатый», о чемпионе мира по шахматам Каспарове, и «Непрофессионал», об уникальном человеке по фамилии Комиссаренко, способном бегать по двадцать четыре часа без остановки. В обеих картинах говорится правда о порочной, прогнившей системе организации спорта в нашей стране, и обе они первоначально не были включены в программу смотра! Нам удалось добиться этого чуть не в канун открытия фестиваля... А реакция на Обращение при таком отношении к «Тринадцатому» и «Непрофессионалу» со стороны Госкомспорта — явление закономерное, и, стало быть, чему удивляться?..

— А в целом фестиваль?

— В целом не бывает. Это как средняя температура по больнице. «В целом»... Фестиваль очень точно отразил нынешнее состояние нашей жизни и общества, соотношение сил и их взаимодействие. Многие фильмы с равным успехом могли войти в программу любого из десяти предыдущих киносмотров — такие они гладкие, замкнутые в себе, словно ничего в жизни сегодня не происходит. Так они вползли и в программу этого фестиваля. Как вползают в нашу жизнь сегодня люди и дела из вчерашнего дня. Но были и другие фильмы! В них боль, в них правда. Они нужны как воздух. Необходимо, чтобы правду о сохраняющейся системе Госкомспорта знали все, кто хочет приобщаться к большому спорту, но не видит его изнутри. Молчать об этом — все равно что не остановить руку ребенка, который тянется к пламени свечи. Ладно! Допустим, застой. Я, правда, не очень принимаю это определение, но не в том суть. Было. Но сегодня? Разве что-то изменилось в спортивном деле? Появились хоть какие-то ростки демократизма, гласности, оздоровления? Если не стало хуже... Стоило мне заикнуться о нетерпимом положении в детском спорте, как на меня обрушилась буквально лавина. А кто из тех, что приняли меня в штыки, не знает правды? Все знают! Знают, что мы эксплуатируем детей, втягивая их в большой спорт. И калечим физически и духовно, ибо на них сразу обрушивается все то, о чем мы с вами говорили. Но знаете, что было после того, как я выступил в прошлом году в Останкине? Через неделю был президиум федерации. Меня осудили резко, грубо. С политическими ярлыками. Выступили, что называется, единым блоком, стали кричать, что детей забирают из секций, что я нанес ущерб стране... Как же! Они сами считают и вбивают в головы детям, что их победы — это величайшее завоевание социализма и вообще всей человеческой культуры. А тут — я...

— Наивно, наверное, было рассчитывать на другую реакцию...

— Хоть я поначалу и растерялся, но, честно говоря, на другую реакцию и не рассчитывал. Думаете, тогда, в Токио, я проиграл Жаботинскому? Формально — да. В действительности же я проиграл в столкновении с системой. Жаботинский был всего лишь ее олицетворением, символом, чего он не поймет и по сей день. И вот сегодня точно такая же реакция, по форме еще более ожесточенная, чем четверть века назад. Детский спорт — это в самом деле альфа и омега бытия большого спорта. И потому, что спорт вообще помолодел, и потому, что спортивный век становится все короче. А детский спорт, каков он сегодня, по сути, лишает детей детства. Я уж не говорю об отдаленных его последствиях (расстроенное здоровье, ущербная психика и прочее). Какой мир остается не познанным ими в детстве, когда человек особенно восприимчив! Литература, искусство, музыка... К чему и с каким духовным и нравственным багажом они приходят в зрелую жизнь?

— Мрачный прогноз...

— Если все оставить, как есть. Но я оптимист. Потому что вижу выход из тупика. Важно, чтобы его захотели увидеть и другие.

— И в чем же он, по-вашему?

— Чтобы большой спорт не пожирал спорт народный, их нужно отделить друг от друга. Оставаясь в рамках одной системы, они все равно будут антагонистами, и поражение народного спорта неизбежно. Большой спорт — это действительно спорт профессиональный. Так пусть он таковым и будет! Он уже стал элементом нашей культуры, накопил огромные знания о возможностях человека, обогатил наши эстетические представления. Анаболики, допинги и прочая дрянь — вопрос иной, принципиальный, но не организационный. В большом спорте должно произойти очищение аппарата. Не просто сокращение, именно очищение. Нравственное.

Думаю, возможно и это. При обязательном условии: демократизация и гласность. Опять же сошлюсь на личный опыт. Мне удалось провести в Федерации выборы ведущего тренера. Это было в Архангельске, на чемпионате страны. Открыто, гласно участвовали ребята. Это уже не кабинетное номенклатурное назначение. Это сразу расчистило дорогу. Пришел другой человек — авторитетный, способный руководить командой. А в Ижевске мы провели выборы вице-президента международной федерации. Чего-то я все же успел добиться. Но такое должно стать системой. Для оздоровления большого спорта гласность — главное лекарство. Нужен профсоюз спортсменов-профессионалов. Сейчас они бесправны. Нынешний аппарат этого не хочет: уходит власть из их рук. Необходим иной закон о пенсиях, справедливо компенсирующий труд спортсмена. Словом, нужны правовые гарантии, чтобы человек не чувствовал себя зависимым от того или иного чиновника. Демагоги могут возразить: тогда, мол, большой спорт захиреет, если мы оторвем его от «народных масс». Во-первых, он все равно оторван, а во-вторых, всегда будут люди, которые захотят испытать себя на предельных режимах. Пусть одни ради славы, другие из-за денег, третьи еще по каким-то причинам. На то она и профессия.

— Вы думаете, большой спорт сможет себя полностью окупить?

— Во всяком случае, экономика заставит его вертеться, а не глядеть постоянно в государственный карман. Я не исключаю и какую-то дотацию, поскольку у большого спорта не только личные интересы, но и определенные государственные и политические задачи.

— Итак, с большим спортом мы, как говорится, все решили...

— Как в этом случае сложится судьба спорта народного? Уверяю вас, претолчно! Кончится вранье, показуха, исчезнет дутая цифирь. Это будет подлинная демократизация спорта! То есть приближение его к народу. Народ должен быть здоров. А здоровье прежде всего охраняет спорт.

— А как вы видите это финансово и организационно?

— Хотя бы на той же кооперативной основе. Например, в атлетической гимнастике можно зарабатывать очень неплохие деньги. Устроили концерт. Ребята выступали с комплексом упражнений. Знаете, как красиво! Перелив мускулов, пластика... За неделю мы заработали в Москве 234 тысячи рублей. Вот вам и деньги для спорта. Много форм существует, надо только захотеть. Те, кто желает тренироваться, пусть приходят в зал, платят три — пять рублей в месяц. В день такой зал может пропустить до 700 человек. И никакое спортлото не нужно. Любые виды спорта можно сделать зрелищными.

— Юрий Петрович, а не слишком мы уповаем на кооперативы? Чуть что — кооператив выручит. Едва ли не лекарство от всех болезней. Есть же и социальная политика. В том же спорте. Сами говорите: спорт для народа. А выходит, за его же деньги?

— Не вижу противоречия. Социальная политика остается. Государство должно обеспечить людям... как бы это сказать... определенный здравоохранительный минимум. Школьный спорт, студенческий, заводской... Все это на средства государства, из его социальных фондов, из фондов предприятий. А что сверх того — на кооперативных началах. Просто всего должно быть много — площадок, кортов, бассейнов. Мы должны «купаться» в спорте. Не хочешь, а пойдешь. И здесь без кооперативности не обойтись. Да и не нужно обходиться. А разве в медицине не уживаются рядом бесплатная и платная врачебная помощь? И ничего в этом дурного нет, и пусть развивается дальше. А спорт? Чем же он хуже? Допустим, атлетическая гимнастика испытывает трудности с помещением. Мы получаем подвалы, оборудуем их. Понятно, купить или построить не можем, но взять в аренду — почему бы и нет? Мы можем целиком окупить расходы и принести еще даже прибыль. Для той же медицинской или спортивной социальной программы.

— Картина, которую вы нарисовали, и правда, вселяет большие надежды.

— Ныне школы, да и вся страна (одно с другим связано неразрывно) переживают глубокий кризис; в физическом воспитании дальнейшее падение уже невозможно, дальше — вырождение. Мы начали очищать себя нравственно. Нам необходимо очистить себя и физически. Только так можно создать подлинно здоровое общество.

Беседу вел Павел ДЕМИДОВ

Всеволод МАРЬЯН

ДОЛЬШЕ БЫТЬ ИЛИ ДОЛЬШЕ ЖИТЬ?

Специальный корреспондент «Юности» участвует в испытании препарата, продлевающего молодость.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: Москва. Ордена Ленина Институт химической физики Академии наук СССР. Центральная клиника больницы академии.

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Наджарян Тигран Леонович — зав. лабораторией количественной геронтологии института и зав. отделением анестезиологии и реанимации Центральной клинической больницы Академии наук СССР. Родился в Бейруте. Семья оказалась в столице Ливана до революции, спасаясь от турецкой резни. Возвратиться на родину, в Советскую Армению, удалось лишь после Великой Отечественной войны. Окончил лечебный факультет Ереванского государственного мединститута. Работал сельским врачом, районным хирургом. Учился в ординатуре, а затем в аспирантуре 1-го Московского мединститута имени И. М. Сеченова. Защитив кандидатскую диссертацию по специальности «анестезиология», был назначен старшим научным сотрудником клиники факультетской хирургии института. Член КПСС с 1962 года. В 1968 году создал одно из первых в стране отделений анестезиологии и реанимации в Центральной клинической больнице Академии наук СССР. В 1976-м по предложению академика Н. М. Эмануэля организовал и возглавил первую и пока единственную в Москве лабораторию количественной геронтологии в Институте химфизики АН СССР.

Мамаев Валерий Борисович — заместитель заведующего лабораторией. Родился в 1942 году в Куйбышеве. Наукой увлекся в детстве. Будучи еще школьником, решив посвятить себя изучению и одолению старости, поступил на лечебный факультет 1-го Московского мединститута. Одновременно посещал лекции по математике, химии, физике в Московском университете. Осознав необходимость более глубокого, фундаментального познания этих наук для будущей работы по избранной специальности, перешел с четвертого курса мединститута в МГУ, на химический факультет. По окончании учебы в течение ряда лет работал под руководством академика Н. М. Эмануэля в секторе кинетики химических и биологических процессов института химфизики. С образованием лаборатории Т. Л. Наджаряна начал вплотную заниматься проблемами медицинской геронтологии. Автор 35 научных работ.

ЗНАКОМСТВО. Состоялось сегодня, в понедельник. Утром. Оказалось, в клинику к Наджаряну тороплюсь не только я. Параллельно со мной в лифте поднималась бригада «Скорой» с больным на каталке. У известного ученого возникла под утро нестерпимая зубная боль. Поспешил к стоматологу. А следовало бы — к кардиологу. Обширнейший инфаркт миокарда. Коварный недуг. Имеет свойство

возникать внезапно, с самыми невероятными симптомами. Под личиной острого аппендицита, язвы желудка и даже, оказывается, зубной боли.

Больной доставлен к Наджаряну в отделение реанимации уже на грани клинической смерти.

— Пожалуйста, успокойтесь. Поверьте, Тигран Леонович выведет его, — едва ли не заверяет отчаивающихся родственников дежурный врач. — Никто здесь еще не умирал, когда наркоз дает он сам.

Это за пятнадцать-то лет заведования реанимацией? Даже не верится. Не потому ли члены Президиума Академии наук СССР почтительно встают при появлении своего президента и... Наджаряна? Сам доктор позже признается мне: «Когда я встречаю своих подопечных в академии, так и хочется подойти и погладить каждого по головке. Они как дети мне родные».

Я ждал его — старого, солидного, седого или уж, во всяком случае, седеющего. А подошел ко мне стройный, с иссиня-черной, без единой нити серебра, густой шевелюрой и глубокими ясными глазами... молодой человек.

— Простите, но я ожидал встретить здесь Наджаряна. Мы с ним условились...

— А я и есть... он.

— Как?!

— А вы не удивляйтесь. Может быть, из-за такой вот внешности и назначили меня руководить геронтологической лабораторией...

Говоря это, улыбается. Широко, открыто. Что ж, и в самом деле, где-нибудь на Западе лучшей рекламы преуспевающей (или стремящейся быть таковой) геронтологии и не пожелали бы. Насколько мне известно, доктору Наджаряну скоро уже пятьдесят. А выглядит он так, словно за его плечами и вовсе не было голодного детства, трудных послевоенных лет примерной учебы и нескончаемых по сей день бессонных ночей у постели тяжелобольных людей в течение четверти века. Феномен?

— Нет, — считает он. — Еще до войны американцем Маккеем было высказано предположение о том, что ограниченное, малокалорийное питание с раннего возраста способно привести к увеличению продолжительности жизни. Экспериментируя таким образом на крысах, ученый продлевал им жизнь вдвое. И впоследствии заявил, что аналогичное влияние возможно и на людей.

Как известно, исторические катаклизмы, печальная судьба многих народов и без того не раз подвергали подобным «экспериментам» детей человеческих. В числе поколений, которым пришлось голодать в детстве по причинам, зависящим только от взрослых, было и мое. Кроме этого печального фактора, положительную с точки зрения геронтологии роль на развитие моего организма, возможно, сыграли немножечко гены: мои предки — армяне — труженики, исторически отличались крепким здоровьем и выносливостью. И немножечко — образ жизни, который я изначально веду: отрицательно отношусь к курению, сдержанно — к алкоголю. Много двигаюсь. Но, признаться, я не питаю особых иллюзий на свой счет. Начало процесса старения возникает как раз в пределах 35—50 лет. Так что лично у меня пока нет оснований рассчитывать на долгожительство.

— А как же с идеей Маккея? Почему человечество не благодетельствовало себя ее воплощением?

— Механический перевод его методики на людей был бы связан практически с принудительным сокращением питания детей. И как следствие замедлением их развития. А будучи ослабленными, они оказались бы подвергнуты опасности различных заболеваний более, чем их полноценно питающиеся ровесники. И, собственно, риску погибнуть, так и не став долгожителями. Как видите, идея Маккея представилась неосуществимой по вполне гуманным соображениям.

— Простите, не успел спросить вас, в каком состоянии сейчас больной, поступивший к вам сегодня, при мне.

— После проведенных в отделении реанимационных манипуляций нам удалось вывести его из состояния клинической смерти. Будет жить. Но признаюсь вам, каждый раз я с гру-

стью думаю о том, какие светлые головы мы так часто рискуем потерять навсегда из-за своей беспомощности перед неумолимым старением других органов. Если б знали вы, какую ясность мысли, какой глубокий и пронизательный ум сохраняют многие до последних минут жизни! И сколько могли бы принести еще пользы человечеству, не став немощными телом.

— Не эти ли мысли обратили вас — анестезиолога и реаниматолога к геронтологии?

— И эти тоже. Имея тысячи наблюдений за больными, я все больше склоняюсь к убеждению в том, что необходимо без промедления действовать, чтобы отодвинуть наступление старости у людей, в особенности талантливых.

ИДЕЯ. Он объясняет ее просто и ясно:

— Посудите сами. Современному человеку нужно примерно 25—30 лет учиться и совершенствоваться, чтобы оказаться на уровне знаний, информации, профессионального опыта своего времени. Если взять, скажем, современного руководителя, требуется еще по меньшей мере 5—7 лет для того, чтобы он овладел всеми необходимыми для плодотворной работы организаторскими и другими качествами и навыками. Таким образом, получается, что полноценный руководитель формируется в наши дни, по существу, к пятидесяти годам. Когда процессы старения в организме человека уже неуклонно развиваются. И получается, что для наиболее активной, полезной и эффективной деятельности остается всего лишь 10—15 лет жизни. Старое тело зачастую уносит в могилу совсем еще молодую голову. Способную обогатить, улучшить нашу с вами жизнь.

— Насколько я понимаю, геронтология примерно этим и озадачена издавна. Глобальной ее задачей было и остается продление века человеческого. В Киеве ученые института геронтологии на протяжении многих лет разрабатывают, в частности, идею одного из своих руководителей, члена-корреспондента АН УССР В. В. Фролькиса, — «Старение не только угасание, но и приспособление». Они исследуют возможности адаптации организма к старению. И путем восполнения недостатка витаминов, других необходимых веществ, дефицит которых возникает к старости, по-своему содействуют продлению жизни. В чем же принципиальная разница между их и вашим подходами?

Как только я задал этот вопрос, в разговор неожиданно вступил сидящий у окна и, казалось, углубленный в чтение зарубежного медицинского проспекта мужчина. Высокий, рано поседевший, с внимательным взглядом серых глаз.

— Мамаев Валерий Борисович. Позвольте мне. Ни в коей мере не принижая значимости глобального стремления геронтологии продлить человеческую жизнь на столетия, отдавая дань уважения задаче, которую поставили перед собой и решают наши киевские коллеги, мы позволили себе взглянуть на проблему несколько по-иному.

Учитывая особенности нашего времени, его динамизм, напряженность, скоротечность и те факторы, о которых говорил Тигран Леонович, мы хотим вмешаться в этот процесс уже сегодня, сейчас. И ставим перед собой цель — продлить не саму по себе жизнь человека, а ее активную часть. Иначе говоря, добиться того, чтобы процессы старения возникали в организме не в 35—50, а в 60—80 лет. То есть, по существу, продлить человеку его молодость.

Обратите внимание на последнее сообщение Всемирной организации здравоохранения. Число людей на Земле, переступивших порог старости, приближается к полумиллиарду. Заметьте, 25 лет назад их было 200 миллионов. Так хорошо это или плохо? Смею спросить вас.

Хорошо. Потому что всякий нормальный человек искренне желает, чтобы люди жили как можно дольше. Но не настолько, чтобы испытывать полное удовлетворение. Ибо, к сожалению, практически все в этом возрасте оказываются пораженными различными недугами. И в значительной степени вынуждены вместо активной, полноценной жизни, довольствоваться зачастую лишь ее созерцанием. В перерывах между все учащающимися заболеваниями и общим недомоганием.

В отличие от традиционной геронтологии, рассматривающей старение как непрерывный процесс, протекающий монотонно в течение всей человеческой жизни, школа академика Н. М. Эмануэля, к которой мы принадлежим, придерживается иной концепции. Изучая состояние полимеров, ученые вывели у них признаки старения, в чем-то очень схожие с теми, которые протекают в живых организмах. Возьмем обычную поливиниловую пленку. Наступает срок, и она теряет свою гибкость, мутнеет, на ней образуются различные трещины. Для нее это и есть черты старости. У человека, на наш взгляд, аналогичными признаками являются болезни. Изучив огромный клинический материал, мы приходим к выводу, что частота заболеваний, например, системы кровообращения у людей примерно соответствует уровню их смертности. И ведущие болезни, в первую очередь сердечно-сосудистые, онкологические, как раз и являются болезнями старения. То есть старость реализуется через заболевания. Отправной точкой, из которой мы исходим, является то, что люди умирают не от старости, а от болезней: от инфаркта миокарда, инсульта и рака. И именно болезни в совокупности составляют патологию старения. Нами разработана целая батарея тестов, с помощью которых компьютерное устройство может определить и измерить в организме патологию старения. То есть через выявление и анализ комплекса признаков мы научились прогнозировать наступление различных стадий заболеваний и даже вычислять, сколько человеку осталось жить. Это позволяет вовремя воздействовать на негативные процессы в организме и нейтрализовать их.

— А располагаем ли мы соответствующими возможностями?

— Среди различных направлений поиска наиболее перспективным нам представляется применение антиоксидантов — веществ, препятствующих вредным окислительным процессам в организме. Кстати, они вырабатываются естественным образом также и в нас самих. В частности, кислород. Этот, как принято считать, «абсолютно безвредный», более того, «ничем не заменимый, живительный газ», в действительности же агрессивный, способный разрушать любые биологические структуры, обезвреживается лишь сложной системой антиоксидантной защиты в живом организме. Думаю, что именно недостаток антиоксидантов в организме и уменьшает его защитные свойства. А в результате возникают основные заболевания старения. Многочисленные эксперименты на животных показали, что эти вещества способны не только значительно увеличивать продолжение жизни, но и оказать положительное воздействие на ряд патологических процессов, способствующих старению. Например, уменьшают вероятность появления рака. А при его наличии — тормозят дальнейшее развитие заболевания. Положительно воздействуют и при инфаркте, искусственно вызываемом у животных.

Все это дает основание предполагать, что увеличение продолжительности жизни под воздействием антиоксидантов происходит за счет усиления защитных свойств организма. То есть повышения его жизнеспособности.

— Еще в 1957 году Н. М. Эмануэлем была выдвинута гипотеза о том, что в природе, во многих, в том числе и живых, системах протекает большое количество побочных процессов. Имеет ли это отношение к вашим сегодняшним проблемам?

— Самое непосредственное. Как только эти процессы были выявлены, встал вопрос о необходимости их нейтрализации. И среди различных способов такого воздействия широкое распространение получило использование антиоксидантов. А из них особое внимание специалистов привлек дибунол. Вещество с высокой антиокислительной активностью, обусловленной его способностью прерывать нежелательные химические реакции. Не случайно оно успешно применялось и продолжает применяться как консервант. В виде добавления к различным пищевым изделиям для продления срока их хранения.

Дибунол — издавна существующий препарат. Способ его

производства достаточно прост и дешев. Он долго хранится. И вдруг медики стали замечать, что дибунол положительно влияет, в частности, на систему кровообращения у человека. Повышает эластичность сосудов. Устойчивость миокарда к стрессовым нагрузкам. Является антиканцерогеном, обладает противоопухолевым действием. Антиоксиданты, и в частности дибунол, начали успешно применять при лечении инфаркта миокарда, рака мочевого пузыря, язвы желудка, различных ожогах и даже пародонтоза.

Все это, вместе взятое, укрепляет в нас веру в то, что антиоксиданты могут служить высокоэффективными геропротекторами — веществами, замедляющими старение. Это предположение полностью подтвердилось в экспериментах на животных. А веские основания для их рекомендации человеку в таком качестве дают уже имеющиеся результаты успешного лечения ими различных заболеваний.

— Что же тогда вас задерживает?

— Существующая практика внедрения медицинских препаратов. Сначала они должны пройти испытания на животных. Затем клинические испытания. Если на подтверждение эффективности их применения при отдельных заболеваниях уходит 5—7 лет, то геропротектором препарат признают официально, видимо, не раньше чем через 25 лет.

— А вы говорили — «сегодня, сейчас». Неужто нельзя ускорить ход событий, важность которых для человечества столь очевидна?

— Пробуем ускорить... — вновь вступает в беседу Наджарян. — И уже кое-что вроде получается.

ВОПЛОЩЕНИЕ. Приходилось читать, слышать о том, что врач испытал на себе противохолерный препарат. Многие ученые-подвижники — анатомы, физиологи, хирурги, микробиологи подчас с риском для жизни опробовали, зачастую именно таким образом созданные ими вакцины, лекарства, спасая человечество от опасных недугов. Но быть очевидцем...

— Коллектив лаборатории единодушно решил испытать нашу методику продления активной жизни путем предупреждения и профилактики основных заболеваний старения на добровольцах. Их у нас набралось семнадцать человек.

— Кто же они?

— В основном мужчины. От 35 до 45 лет. То есть в тех возрастных параметрах, когда человек может быть еще практически здоровым, но уже реально рискует занемочь основными болезнями старения.

— Как же вы нашли их, своих добровольцев?

— Мы их вовсе и не искали. Решили стать добровольцами сами.

— А риск? Присутствует?

— Какой же эксперимент без риска? Но здесь он минимальный.

— Сами-то вы уверены в благополучном исходе?

— Как же иначе?

— А что, если я попрошу вас включить в число добровольцев и меня?

— Вы шутите?

...Я все-таки уговорил их. И сразу после этого в кабинет вошла высокая, миловидная женщина и представилась.

Врач-геронтолог Пиковская Галина Николаевна. Как выяснилось позже, Наджаряну и Мамаеву понадобился целый год, чтобы обратить в свою веру и увлечь ее, молодого ординатора больницы, в геронтологию. Подробнейшим образом расспросив о состоянии здоровья и самочувствии, тщательно осмотрев, Галина Николаевна нетипичным для медиков крупным, красивым почерком заполнила на меня «историю болезни» в виде компьютерной перфокарты. И, предупредив: «Чтобы включить в испытание, необходимо вас полностью обследовать», — предложила явиться в клинику на следующее утро, не позавтракав.

Пройдя комплекс обследований, оказавшихся на уровне тех, которым периодически подвергаются космонавты, я получил из рук Тиграна Леоновича пакетик капсул, напоминающих золотистые виноградины сорта «дамские пальчи-

ки». Мне предписывалось принимать их по определенной исследователями схеме в течение месяца...

Что же я ощутил буквально с первых же дней этого добровольного эксперимента над собой? Вдруг почувствовал — худею. И очень сильно. Но насколько? Бегу взвешиваться. С весами, что ли, неладно? Стрелка замерла на прежней цифре, как и до начала приема антиоксидантов.

— Нет, нет, весы в полном порядке! — в ответ на мои сомнения заверяет дежурная медсестра. Но тогда откуда это ощущение уменьшающейся тяжести собственного тела? Неужто воздействие препарата? Выясняю: как у других «подопытных»? Испытывают то же самое. Так же бегали взвешиваться. С результатом, аналогичным моему. Никто не сбросил ни грамма. Значит, действительно эффект дибунола? Наступает необыкновенная легкость. Если покопаться в «памяти организма», возвращается ощущение его таким, какое было лет эдак 15—20 назад. Что же дальше-то будет? А дальше обнаруживаю в себе еще более невероятное: фиксируемый за последние годы предел моей трудоспособности за сутки начинает молниеносно возрастать. В голове творится какое-то чудо. Светлеет будто. Все более свежая и ясная голова. Улучшается зрение...

Вынужденно завершая этот репортаж, если не сказать, прерывая его, подтверждаю свои ощущения наиболее впечатляющим и конкретным для меня фактом. В последние годы на написание подобных материалов у меня уходило как минимум часов 10—12. И еще на два-три дня оставалось состояние нервного переутомления. А сейчас, заканчивая, гляжу на будильник — 2.05. Начал в 24. 20. Такие вот чудеса...

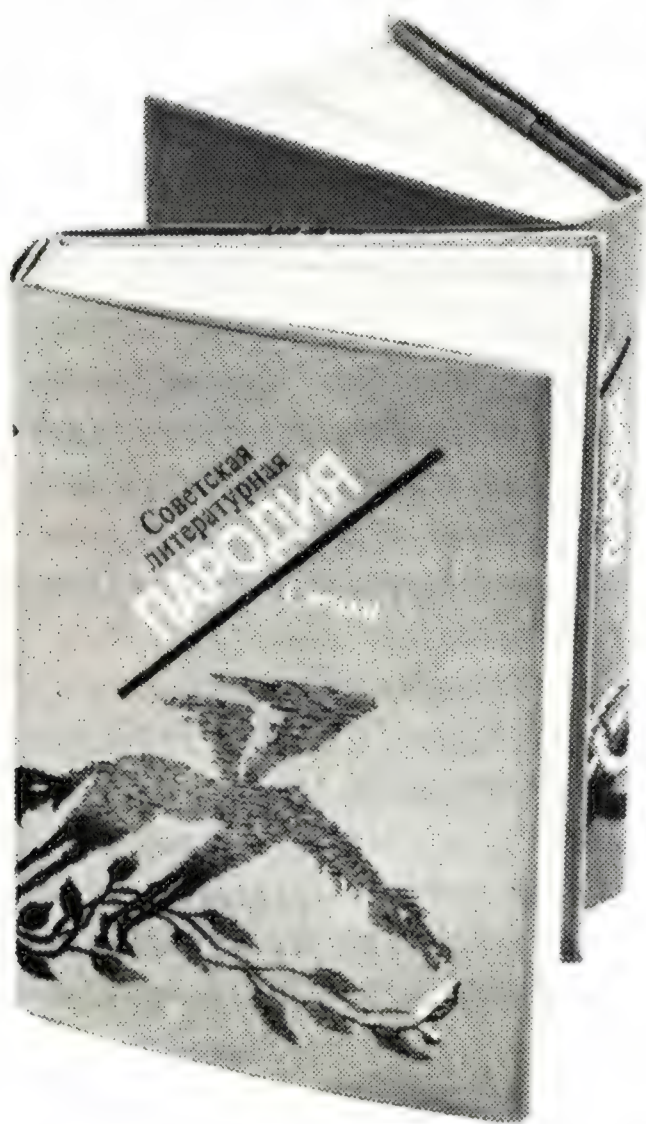
Но почему же тогда прерываю рассказ, уверен, спросите вы. Ведь эксперимент был намечен в три этапа, а пройден пока только один. Неизвестное, «ни в коем случае» не называемое автору начальство наложило категорический запрет на продолжение испытания геронтологического воздействия препарата на человека. Ни одной капсулы дибунола не стало более ни у Наджаряна, ни у Мамаева. Исследование как бы пошло вспять, шагнуло назад — за плотно закрытые двери лаборатории института химфизики. Вернется ли оно в обозримом будущем к людям, поначалу хотя бы к таким, как мы, добровольцам? Академическая тайна. А не пора ли и вовсе избавиться от подобных тайн, отдаляющих от нас счастливые озарения науки?

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА. Будучи несколько лет назад в США, Т. Л. Наджарян был внезапно атакован приглашениями местных предприимчивых людей остаться в Америке. Ему предлагалось все: миллионы, лаборатории, клиники, любое оборудование... Когда же советский ученый ответил, что не может оставить свою страну прежде всего потому, что является коммунистом, после краткого замешательства сообщили горячо желанному гостю, что и у них существует компартия и если господину никак не обойтись без нее, то что ж...

И получается: дабы заполучить талантливого, сулящего принести уже сегодня огромную пользу исследователя, капиталисты готовы пойти на что угодно, вплоть до «рекомендации» его во враждебную партию. А в своем Отечестве, случается, он лишен подчас не только элементарных условий для научной работы, но и права еще при жизни сделать ее результаты достоянием своих сограждан. А ведь в этом смысле описанное, к сожалению, далеко не уникально.

ПОПРАВКА

В № 8 в подписи под фотографией на с. 39 первую фамилию следует читать: «Э. С. Гурвич».



Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Мужичок с ноготок

Анна АХМАТОВА

Как забуду! В студеную пору
Вышла из лесу в сильный мороз.
Поднимался медлительно в гору
Упонтельный хвороста воз.

И плавнее летающей птицы
Лошадь вел под уздцы мужичок.
Выше локтя на нем рукавицы,
Полушубок на нем с ноготок.

Задыхаясь, я крикнула: — Шутка!
Ты откуда? Ответь! Я дрожу! —
И сказал мне спокойно малютка:
— Папа рубит, а я подвожу!

Владимир ЛИФШИЦ

Шамовка

Ярослав СМЕЛЯКОВ

В ресторанах родной земли
На втором году пятилетки —
Вилки, ложки, судак-орли,
Накрахмаленные салфетки.

Возражений особых нет.
Судака я запью нарзаном.
Но шамовку минувших лет
Забывать нипочем нельзя нам!

В юмористической литературе произошло заметное событие — вышел в свет двухтомник «Советская литературная пародия». Как и вся продукция издательства «Книга», он сделан на высоком полиграфическом уровне, с блеском оформлен художником В. Корольковым.

«Эта книга представляет собой первую попытку дать читателю антологию русской литературной пародии советского периода, — пишет во вступлении составитель Б. Сарнов. — Само собой, она не может претендовать даже на относительную полноту». Позволим себе плюрализм мнений и не согласимся с составителем — как раз на относительную полноту она претендовать может. И все же обидно, что в ней абсолютно не представлены такие активно действующие в наши дни пародисты, как В. Влади́н, М. Казовский, С. Лившин, и многие другие. Но, думается, это дело поправимое. Возможно, издательство «Книга» захочет на второе издание — дополненное и исправленное. Исправлять тоже есть что — ошибки в именах, неточное авторство и др. Однако это не снижает ценности оригинального издания, в котором представлены подлинные жемчужины жанра. Поскольку из-за смехотворно маленького тиража книга труднодоступна широкому слою, «Зеленый портфель» знакомит своих читателей с некоторыми материалами антологии.

Мы сажались за стол, черны,
И движением рук усталым
В рот пропихивали блины,
Что припахивали металлом.

Нам заказывал бригадир —
Вот о чем я сейчас толкую —
Не какой-нибудь там пломбир,
Не телятину никакую.

Но в немыслимой той дали
Представлялась нам почему-то
Повкусней судака-орли
Каша, рыжая от мазута.

Леонид ФИЛАТОВ

Из цикла «Таганка-75»

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Может, это прозвучит
Резко,
Может, это прозвучит
Дерзко,
Но в театры я хожу
Редко,
А Таганку не люблю
С детства.

Вспоминается такой
Казус,
Вспоминается такой
Случай...
Подхожу я как-то раз
К кассе,
Эдак скромно, как простой
Слуцкий.

Говорю, преодолев
Робость, —
А народищу кругом —
Пропась! —
Мол, поскольку это я,
Роберт,
То нельзя ли получить
Пропуск?..

А кассир у них точь-в-точь
Робот,
Смотрит так, что прямо дрожь
Сводит:
— Ну и что с того, что ты —
Роберт?
Тут до черта вас таких
Ходит.

Вот же, думаю себе,
Дурни!
А в толпе уже — глухой
Ропот!
Да сейчас любой олень
В тундре
Объяснит вам, кто такой
Роберт!

В мире нет еще такой
Стройки,
В мире нет еще такой
Плавки,
Чтоб я ей не посвятил
Строчки,
Чтоб я ей не посвятил
Главки.

Можно Лермонтова знать
Плохо,
Можно Фета пролистать
Вкратце.
Можно вовсе не читать
Блока,
Но всему же есть предел,
Братцы!..

Я хочу опять войти
В моду,
Я за ваш театр горой
Встану.
Если надо, я набью
Морду
Даже другу
Бабаджаняну!

Я приду к нему, войду
Гордо,
Подойду к нему, скажу
Прямо:
«Я пришел набить тебе
Морду
За себя и за того
Парня!»
Это только я на вид
Бравый,
А внутри я ого-го! —
Гневный,
Это только я на вид
Правый,
А внутри я глубоко
Левый.

...Но меня, чтоб я не стал
Драться,
Проводили до дверей
Группой...
Я Таганку не люблю,
Братцы,
Нехороший там народ,
Грубый.

Вопль Крика

Исаак БАБЕЛЬ

Был страшный холод во время де-никинского наступления. Наш доблестный батальон красных бойцов за пролетарскую революцию стоял в имении князя Голицына-Волконского. В роскошной гостиной барского особняка сидели мы на корточках и смотрели прямо в глотку роскошному камину с инкрустациями. Весело там потрескивали ножки дубового стола, но нам не было весело, потому что только вчера вечером мы сгорели последний ореховый шкаф из карельской березы и гореть уже нечем.

И сидел наш начальник, товарищ Беня Крик, крепко задумавшись. И спросил я у него:

— Обо что вы думаете?

И он мне отвечал:

— Не мешай, я думаю об половую проблему.

И так как я знал, что он ужасно образованный, то я засунул себе свои губы обратно в рот и ничего с него не стал спрашивать.

И тогда поднялся товарищ Беня Крик, красный боец за пролетарскую революцию, который, между прочим, бывший марвихер с Тираспольской улицы, но мы об этом уже не будем говорить, потому что он расстрелян, смерть жулику, за липовые свои мандаты, и тогда поднялся, говорю я, товарищ Беня Крик, и вынул своей верной шашки, и начал рубать половицу за половицей с того пола, на котором мы сидели, и швырять их в печку на чем свет стоит.

И вспыхнула печка на всю гостиную, как революция на всю Россию.

Так мы с товарищем Бенею Криком во время страшного холода, когда нечем было топить, освещали половую проблему.

Зиновий ПАПЕРНЫЙ

Лекция для школьников в Третьяковской галерее

Как показали наши историки, Иван Грозный был вспыльчив, но отходчив, что мы видим на примере картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Тема семьи и воспитания лежит в основе этого полотна. Глядя на картину, мы сразу догадываемся, что Иван Грозный, несмотря на государственные дела, лично занимался воспитанием своего сына. Догадываемся мы и о том, что сын его Ваня плохо слушался отца, был недостаточно дисциплинированным

и собранным. Отсутствие школьного коллектива также сыграло свою отрицательную роль. Ваня определенно отбил от рук. И вот Иван Грозный, с посохом в руках, берется, может быть с излишней поспешностью, за перевоспитание сына. Художник сочувствует этому родительскому порыву Ивана Грозного и в то же время как бы выносит на наше обсуждение вопрос: не чересчур ли поспешно решают некоторые папаша педагогические вопросы, что приводит к довольно серьезным и досадным промахам.

Сергей СМИРНОВ

Кавалерный бунт

Семен БАБАЕВСКИЙ

Грузовик заплакал тормозами. Молодой архитектор Иван Книга спрыгнул на дорогу. Перед ним лежало его родное село Журавли-в-небе.

Плавню извивалась в живописных берегах полноводная молочная река. По холмам раскинулись богатые плантации тыквы, брюквы и клюквы. Дымили домны металлургического завода, построенного колхозниками из отходов животноводства. Пылило стадо выведенных здесь нейлоновых овец. Белело мраморными колоннами здание нового коровника.

«Чудит отец! — неприязненно подумал Иван. — В стиле позднего барокко строит. Отстал! Автокормилки завел, а в селе ни одного высотного здания. Теплоцентрали и то нет. В хатах живут, как при дедах. Позор! Ну ничего, перестроим!»

*

Мотоцикл захныкал тормозами. Самодовольно блестя золотой звездой, председатель колхоза Иван Книга-старший распоясавшейся походкой прошел по персидскому ковру в свой кабинет, отделанный карельской березой.

— Ну, сыну, здорово! С прибытием! — враждебно сказал он.

Они яростно сжали друг друга, мстительно слушая треск ломаемых ребер. Потом покурили, чувствуя какую-то неловкость.

— Перестраивать Журавли-в-небе не дам! — сказал отец голосом, полным культа своей личности. — Через мой труп!

— Перестроим через труп! — отрезал Иван.

Председатель схватил массивное золотое пресс-папье, но Иван уже шел по селу упрямым колючим шагом. И Иван Книга-старший отстало смотрел ему вслед, вспоминая свою автобиографию.

Когда-то любил он выпить лишнее и каждую ночь захаживал к вдовушкам. А потом опомнился и решил поднимать колхоз.

— Человек солидный! — говорили колхозники на собрании. — Небось не к девкам, к вдовушкам ходит. Пушай будет председателем.

Хитрый и умный мужик был Иван Книга. Всех обошел. Быстро засеял поля ранней клюквой и поздней брюквой и тотчас же положил в банк миллион. А потом сказал: «Ни пуха ни пера!» — и купил на все деньги уток. И колхоз моментально поднялся, словно на утиных крыльях, мгновенно заогател с буйной силой. А сам Иван Книга сразу стал делегатом и кандидатом.

*

У берега реки «Победа» всхлинула тормозами. Из кабины вышла шофер Ксюша, очень красивая и исключительно стройная в брюках на резинке и кофточке, скрывающей ее белые плечи. Из воды на берег выбралась гидротехник Настюша, исключительно красивая и очень стройная в синем купальнике, обнажающем ее острые озябшие плечи.

Молодой Иван Книга поднял на руки Настюшу и понес ее в камыши. Но потом передумал, бережно положил ее на землю и, решительно взяв Ксюшу, уже окончательно унес ее в камыши.

На другой день он женился все-таки на Настюше. На свадьбе ломались столы, ломались ложки и вилки, ломала руки Ксюша. И всю первую брачную ночь напролет Иван и Настюша чертили проект реконструкции Журавлей-в-небе.

*

Во дворе буйно шумели колхозники. На веранде дома висели чертежи и муляжи, диаграммы и панорамы. Обсуждался проект реконструкции Журавлей-в-небе.

— Вот тут, за гумном, будет Дворец бракосочетания, — показывал младший Иван Книга.

— А хвилармония где? — спрашивала доярка Дуся. — Ты мне покажь хвилармонию!

Свинарка тетя Фрося радостно всплескивала руками:

— Бабоньки!.. Бабоньки!.. Бабавочки!.. — кричала она. — Ить это какая ж жизнь будет? Куды там!

А за забором, в стороне от жизни угрюмо и несамокритично стоял председатель Иван Книга-старший.

На другой день Иван Книга-младший уехал в Москву победоносно защищать проект. А председатель Иван Книга-старший ехал на мотоцикле, осматривая передовые поля и пересматривая отсталые взгляды.

«Чего ж расстраиваться, когда надо перестраиваться? — радостно думал он. — Надо настраиваться на то, чтобы застраиваться! Прав Иван! Вот сейчас поверну на телеграф и дам ему депешу».

Застонали тормоза и читатели.

Центр борьбы

Как-то так получилось, что встречаются еще в людях недостатки и в жизни далеко не всегда побеждает справедливость. И Семенов Парамон Петрович решил бороться с этим. Нет, драться с недостойными людьми Парамон Петрович не соби-рался, объективно оценивая свои скромные физические возможности. Он выбрал другой путь — вспомнив прежние, с годами уже упраздненные формы борьбы, Семенов решил строить баррикаду. В мыслях он отчетливо представлял себя стоящим на баррикаде, гордым и бесстрашным, взгляд его устремлен вперед, чуть поверх очков, а рядом со свистом проносятся слова и целые выражения, направленные прямо в него; разбиваются о баррикаду грубые обращения, издевательские колкости, оскорбления, ложь, хамство; а по другую сторону баррикады царят мир и покой, люди там улыбаются, дарят друг другу тюльпаны, поют песни и прославляют вечное торжество справедливости.

Толчком для строительства баррикады послужила встреча с одним из тех людей, с которым Семенов предпочел бы находиться по разные стороны. Эта встреча оказалась последней каплей, переполнившей чашу его терпения.

Баррикаду Парамон Петрович соорудил во дворе из всякого валяющегося там хлама — досок, труб, выброшенного холодильника... Строительство оказалось делом нелегким, но главное — заметным.

На следующий день Семенова неожиданно вызвал начальник.

— Да вы, голубчик, я смотрю, огонь. Чуть что — сразу на баррикаду! И правильно, скажу вам. Никакого благодушия к прогульщикам, лентяям и Веревкину. Особенно к Веревкину. Пусть знает, что все мы от него по другую сторону баррикады.

После разговора с начальником к Парамону Петровичу подошла учрежденческая активистка и сказала:

— Вот вам, товарищ Семенов, список очередников. Всех желающих на нашу сторону баррикады мы удовлетворить не можем, поэтому, кроме основного, составлен дополнительный список — внеочередников. Оба списка утверждены Николаем Николаевичем. Помимо того: Виктор Сергеевич — многодетный отец, у Фукина — печень, Галина Васильевна занимается подпиской. Этих нужно удовлетворить в первую очередь.

По дороге домой Семенова остановила пожилая женщина в косынке.

— Я тут тебе, сынок, салыца принесла домашнего. — Она робко протянула Парамону Петровичу свер-

ток. — Кушай на здоровье. А ты уж, будь добр, пособи моему внуку. Парень-то он больно хороший. Да вот непристроенный. Как окончил институт, так по распределению и работает. А у тебя, говорят, местечко теплое имеется.

— Нет, бабуля, у меня теплого места, нет! У меня баррикада. В центре борьбы с несправедливостью.

— Ой, милок, да зачем же она тебе нужна? Это надо же — в самом центре... Ты вот что, давай бросай к ляду такую жизнь и приезжай к нам в колхоз. У нас там никакой борьбы в помине нет. Встал утречком. Петухи поют. Роса. И — в поле. Поработал. Вечерком поужинал. Чуть поспал. И снова в поле. Спокойно.

— Нет, бабуся, покой не по мне. Покой нам только снится.

Семенов в самом деле лишился покоя. На следующий день к нему подошел сосед, с которым обычно они обменивались лишь кивками.

— Уважаемый...

— Парамон Петрович, — подсказал Семенов.

— Парамон Петрович, это ваше сооружение стоит во дворе?

— Да. А что? Мешает?

— Нет. Мне — нет. Но, понимаете, у меня новая машина, восьмерка, а гаража нет. Люди же сейчас, сами знаете, какие пошли. Так и не спи ночами, гляди, как бы кто чего не спер. Я и подумал, зачем крепости вхолостую стоять. Я за нее машину загоню, пусть там будет.

И тут Семенова прорвало:

— Вы что, не понимаете?! Это же баррикада, центр борьбы!

— Вот я и говорю — за баррикадой машине безопасней.

— Из баррикады личный гараж сделать хотите?!

— А чего ей зря стоять?

— Она мне самому нужна.

— Это для чего же? Машины-то у вас нет.

Семенов разозлился и выпалил:

— Куплю.

— Ну-ну, посмотрим, — скептически процедил сосед.

— Огород сделаю, огурцы посажу, — неожиданно для себя вслух решил Парамон Петрович.

Так Семенов и сделал. Посадил за баррикадой огурцы, а заодно картофель, укроп, чеснок...

Постепенно к баррикаде во дворе привыкли, и проходящие мимо не обращали на нее внимания, принимая за ограду. «Так-то оно лучше будет, — улыбался про себя Семенов. — Пусть никто не догадывается, что это баррикада.хлопот меньше. А осенью продам картошку на рынке. Там, глядишь, и машину куплю».

В НОМЕРЕ

Проза

Сергей ЧЕТВЕРТКОВ. Монета. Рассказ (68).

Поэзия

Василий ГАЛЮДКИН (9), Сергей ЗЯБЛИЦЕВ (30), Петр ВЕГИН (31), Владимир РЕЦЕПТЕР (33), Виктор БОКОВ (34).

Наследие

Варлам ШАЛАМОВ. Колымские рассказы (36). «Разговоры о самом главном...» Переписка Б. Пастернака и В. Шаламова (54).

Максимилиан ВОЛОШИН. Стихотворения и поэма (74).

Публицистика

Инна МАКАРОВА. Благодарение (2). Леонид ИОНИН. Демократия — точная наука (6).

Юрий ЩЕРБАК. Чернобыль. Документальная повесть. Окончание (11).

Критика

Владимир ВОЙНОВИЧ: «Я все эти годы жил надеждой...» (81).

Карен СТЕПАНЯН. Гармония или хаос? (83).

Михаил ПРОРОКОВ. Гармония, как это ни смешно... (85).

Культура и искусство

Р. РАХМАТУЛЛИН, А. САЛЬНИКОВ. Кто едет в жестком вагоне (32).

Наука и техника

Всеволод МАРЬЯН. Дольше быть или дольше жить? (91).

Почта «ЮНОСТИ»

О душе и прекрасной даме (80).

Спорт

Юрий ВЛАСОВ: «Спрут, который оплел наш спорт» (87).

Зеленый портфель

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА. По страницам антологии литературной пародии (94). Геннадий ПОПОВ. Центр борьбы (96).

Оформление обложки А. Сальникова
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор Д. Мазур

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, ул. Горького, д. 32/1

Телефон для справок — 251-31-22

Сдано в набор 14.07.88 г.
Подп. к печ. 30.08.88. А 05405.
Формат 84×60%. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11,68. Усл. кр.-отт. 19,53.
Уч.-изд. л. 17,75. Тираж 3 100 000 экз.
Заказ № 2792.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда» 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

© Издательство ЦК КПСС «Правда», «Юность», 1988 г.

На эту тему...

Сталинизм... репрессии... миллионы безвинно погибших... искалеченные души...

Сейчас публицисты, писатели, историки, кинематографисты, художники начали процесс очищения истории нашей страны во имя того, чтобы это никогда не повторилось.

— Семнадцать лет я был сыном «врага народа». Родился я в 1933-м, а в 37-м родители были арестованы,— говорит скульптор Петр Ефимович Шапиро.— Моя мать была американкой, приехавшей в 1932 году в Страну Советов. Ее обвинили в шпионаже, но через два года выпустили — видимо, счастливая случайность. Отец же просидел в лагерях до 54-го года. Но даже когда все было позади, они все равно боялись говорить на эту тему. Как жалко, что они и многие, многие не дожили до сегодняшнего дня.

П. Е. Шапиро, член Союза художников СССР, начал свою творческую жизнь в 1953 году участием на двух Всесоюзных художественных выставках, представив скульптуры Л. Толстого и Бетховена. Сейчас скульптура Л. Н. Толстого находится в музее его имени, а бюст Бетховена установлен в Бетховенском зале Большого театра. За эти годы скульптором создана обширная галерея портретов. Его работы находятся во многих музеях нашей страны. И вот сейчас на суд читателей скульптор выносит свою новую работу. Она явилась как бы освобождением от давно накопившейся боли.

Татьяна БАДАЛОВА

П. Е. Шапиро.
«Во имя...?!»



Юность. 1988. № 10. 1—96
Индекс 71120
Цена 70 коп.

73

